## И.А. Ильинъ

# О ТЬМѢ и ПРОСВѢТЛЕНІИ

КНИГА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ БУНИНЪ – РЕМИЗОВЪ – ШМЕЛЕВЪ

> МЮ НХЕНЪ 1959

## Иванъ Александровичъ Ильинъ О ТЬМѢ И ПРОСВѢТЛЕНІИ

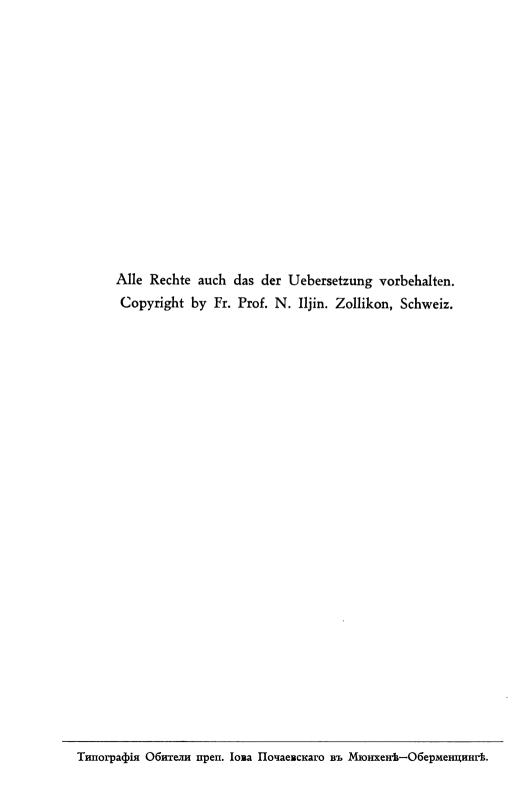


## И.А. Ильинъ

# О ТЬМЪ И ПРОСВЪТЛЕНІИ

КНИГА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ БУНИНЪ — РЕМИЗОВЪ — ШМЕЛЕВЪ

> МЮНХЕНЪ 1959



## СОДЕРЖАНІЕ.

Глава				 траница
1	введеніе. О чтеніи и критикъ	•		. 3
2.	творчество и. а. бунина .			. 29
3.	творчество А. М. Ремизова			. 81
4.	творчество и. с. шмелева			. 135
5.	ПОСЛЪСЛОВІЕ			. 193

### ВВЕДЕНІЕ.

### О ЧТЕНІИ И КРИТИКЬ.



#### О ЧТЕНІИ И КРИТИКЬ.

L

Когда художникъ творитъ свое произведеніе, то онъ втайь нѣ мечтаетъ о «встрѣчѣ». Какъ бы ни былъ онъ замкнутъ, одинокъ или даже гордъ, онъ всегда надѣется на то, что его созданіе будетъ воспринято, что найдутся такіе люди, которые вѣрно увидятъ или услышатъ его «слово» и понесутъ его въ себѣ. И можетъ быть, даже самые одинокіе и замкнутые мастера съ особою нѣжностью, съ особымъ трепетомъ думаютъ объ этой желанной, предстоящей «встрѣчѣ» полнаго «пониманія» и «одобренія»;—и потому, можетъ быть, и замыкаются въ себѣ, что жаждутъ этой «встрѣчи»; и потому, можетъ быть, заранѣе пріучаютъ себя къ мысли о «неизбѣжномъ» одиночествѣ, и не надѣются на ея возможность . . .

Мечтая о художественной встръчь, художникъ правъ. Ибо искусство подобно молитвенному зову, который долженъ быть услышанъ; и любви, которая требуетъ взаимности; и бе> съдь, которая не осуществима безъ вниманія и отвъта. Молящемуся довольно, если ему вняль Господь. Но художникь обращается и къ людямъ. Искусство желаетъ быть услышаннымъ, оно требуетъ любовнаго вниманія, ему необходима встрѣча; и не «все равно, какая» встрвча; — не «какая-нибудь», а худо» жественная, т.е. такая, при которой въ душѣ слушателя и читателя расцвътутъ т в самые цвъты, что цвъли въ душь художника, и запылаеть и засвътить тоть самый огонь, что горъль и свътиль автору; такъ, чтобы художникъ, если бы удалось ему заглянуть въ душу своего слушателя и читателя, — сказаль бы въ радости: «да, я именно это дѣлъ! да, я именно это пѣлъ!» И сталъ бы счастливъ отъ состоявшейся художественной встрфчи.

Такъ обстоитъ во всѣхъ искусствахъ: и въ музыкѣ, и въ пѣніи, и въ живописи, и въ скульптурѣ, и въ архитектурѣ, и въ танцѣ. И, конечно, въ литературѣ.

Въ долгомъ, трудномъ и нерѣдко мучительномъ творческомъ процессѣ писатель выносилъ, увидѣлъ, выбралъ, соединилъ, срагстилъ въ единое цѣлое внѣшніе (чувственные, живописные) и внутренніе (нечувственные, душевные) образы, нашелъ для нихъ единственно вѣрныя слова, записалъ ихъ и оторвался отъ нихъ, отпуская ихъ на вольный міръ въ печатномъ видѣ. Онъ разверянулъ помыслъ своего сердца въ цѣлое образное повѣствованіе,

уложиль эти образы въ живыя, описывающія и вздыхающія слова, и согласился на то, чтобы эти слова были спрятаны за беззвучными, мертвыми буквами, и чтобы сонмы этихъ черныхъ, молчащихъ значковъ, отпечатанныхъ на бумагѣ, были худо жественно довърены читателямъ. Читатели неиз» въстны ему; подавляющаго большинства ихъ онъ никогда въ жизни и не увидитъ. Онъ далъ имъ все, что могъ: цълый міръ своихъ помысловъ и образовъ, зашифрованный въ словахъ и буквахъ... Сумъютъ ли они и какъ они сумъютъ художественно расшифровать его? Онъ не въ состояни побудить ихъ къ этому. развѣ только, если самъ прочтетъ свое произведеніе вслухъ, превращая своихъ читателей въ слушателей и помогая имъ върно подойти къ воспріятію своего произведенія: и с полняя его, т. е. давая записаннымъ словамъ подобающее звуковое, и живописное, и сердечно-чувствующее, и волевое, и послѣдне-глунаполненіе, подобно композитору, играющему свою сонату изъ той же самой глубины души и духа, изъ которой первоначально родилось самое произведение - изъ того же созерцанія, изъ той же боли, изъ той же радости. Читая свое произведение вслухъ, писатель самъ какъ бы поетъ ту пъсню, которая уже найдена и создана имъ; какъ бы вторично рождаеть ее для своихъ слушателей . . . Но сколько же бываетъ счастливцевъ, которымъ удастся внять такому ис-полненію?

И воть, разъ что такое исполнение недоступно, - читатель долженъ с а м ъ расшифровать довъренное ему въ печатномъ видь произведеніе: поэму, повъсть, романь, драму. Онь призванъ самъ ис - полнить, возсоздать, увидъть и постигнуть ихъ; и тымь самымъ — какъ бы принять протянутую ему руку автора, оправдать его доверіе и пройти навстрѣчу ему ту часть художественнаго пути, которую никто за него и вм всто него пройти не можеть. Безъ этого воз-созданія художественнаго созданія тись нельзя. Это вторичное рожденіе слова, образа и глубиннаго замысла каждый читатель долженъ осуществить въ своей душъ самостоятельно и одиноко. Захочеть ли онъ этого? Сумветь ли онъ это сделать? Знаетъ ли онъ, что это совсемъ не такъ лег» ко? Понимаеть ли онь, что чтеніе есть художест веннное творчество, требующее отъ читателя ху-дожественной сосредоточенности, вниманія и върнаго участія всего душевно-духовнаго, многоструннаго «инструмента»? . . .

Дъло совсъмъ не обстоитъ такъ, что художественный процессъ происходитъ единожды въ душъ писателя; а читатель — «просто читаетъ», т. е. бъгаетъ глазами по строчкамъ и страницамъ, и при этомъ представляетъ себъ «что то въ этомъ родъ», а потомъ заявляетъ, получилъ онъ отъ этого удовольствіе («понравилось») или нътъ («не понравилось»)!... Читатель есть с о участникъ творческаго процесса, со-художникъ. Ему довърена поэма, какъ бы замершая на бумагъ: онъ долженъ вызвать ее къ жизни и осуществить ее сполна въ своемъ внутреннемъ, замкнуто-одинокомъ міръ. Отъ него зависитъ, состоится ли вообще «встръча»; это встръчу онъ можеть и погубить. Не слѣдуеть думать, будто вся отвѣтственность падаеть на писателя: ибо у читателя есть своя доля отвѣтственности. Въ музыкѣ это начинають понимать. Въ литературѣ до этого еще не дочувствовались. Если душа современнаго человѣка не слышить Софокла или Шекспира, то это не значить, что Софоклъ и Шекспиръ плохіе художники, а значить, что душа современнаго человѣка стала мелка духомъ и слаба волею и не умѣетъ читать Софокла сердцемъ и созерцать волею вмѣстѣ съ Шекспиромъ. Ч и т а т ь о титанахъ и герояхъ не значить словесно проноситься мимо нихъ, но значить в о зо с о з д а в а т ь и х ъ в ъ с е б ѣ; а для этого необходимо найти въ своей собственной душѣ тотъ матеріалъ чувства, воли, вѝдѣнія и мысли, изъ котораго слагается титаническая и героическая натура.

Это не означаетъ, что читатель призванъ во время чтенія носиться въ пустотахъ своей души по прихоти своего воображенія и по произволу своего чувства, выдумывая «с в о е» п о п о в о д у того, что даетъ авторъ. Есть темпераментные фантазеры, которые «читаютъ» именно такъ; но именно поэтому они, строго говоря, совсъмъ не умъютъ читатъ, – имъ въ сущности нътъ дъла ни до автора, ни до его созданія; они не способны в нимать; они заняты с о б о ю, своимъ дужшевнымъ матеріаломъ, своими внутренними зарядами и разрядами; и писатель «нравится» имъ тъмъ больше, чъмъ меньше онъ мъжшаетъ имъ фантазировать и волноваться по своему...

На самомъ же дѣлѣ читать значить внимать, т. е. «имать», брать внутрь созданное и предложенное авторомъ. Писатель создаетъ, впервые, первоначально; а читатель только воз-создаетъ уже созданное, вторично. Писатель ведетъ и показываетъ; а читатель призванъ итти за нимъ и вѣрно видѣть именно то самое, что старается показать ему писатель. И желанная встрѣча состоится только тогда, если ему это удастся.

Для того, чтобы это удалось, читатель долженъ довърчиво раскрыть и предоставить автору всю свою душу, какъ нъкую скульптурную глину, способную воспринять, воспроизвести и удержать все то, что понадобится художнику. Это не легко, но это необходимо. Это бываетъ особенно трудно, если душевная жизнь читателя сама по себъ тъсна и несвободна, и кромь того не умьеть перестраиваться. Такъ, напримъръ, если читатель не живетъ сердцемъ и презираетъ жизнь чувства, то ему будеть очень трудно или даже невозможно читать Диккенса, Достоевскаго, Шмелева, Кнута Гамсуна. Или, если воображение читателя прикръплено къ повседневному быту и за его предълами не живетъ, не паритъ, не радуется, то онъ можетъ быть сумѣетъ прочитать быто: писателей привычной обстановки – Л. Н. Толстого, Тургенева, Бунина, но сказки «Тысячи и одной ночи», химерическія видьнія Э. Т. А. Гофмана, вихрящаяся нежить Ремизова не дадутся ему въ чтеніи. Йли еще: страстно-волевая натура можетъ упиваться Вальтеромъ Скоттомъ, Шекспиромъ, Шиллеромъ, Ибсеномъ и томиться при чтеніи романовъ Гете или разсказовъ Чехова и Анатоля Франса. Читатель, не способный вызвать въ сезбъ изощренность чувственныхъ ощущеній, свойственную Гюисмансу; или ненасытный фотографическій интересъ къ деталямъ обстановки, характерный для Эмиля Зола; или вкусъ къ экзотическимъ декоративнымъ «панно», столь щедро разставляемымъ у Мережковскаго, — не одолъетъ ихъ произведеній или начнетъчитать ихъ, что называется, «изъ пятаго въ десятое».

У каждаго писателя-художника есть с в о й особый творческій укладь; свой способь задумывать произведеніе, вынаши» вать его и облекать его въ образы (во-ображать свой замысель): с в о я манера видъть, чувствовать, желать и изображать увидънное, почувствованное, желанное; какъ бы свои художественныя очки. И воть, читателю надо завести эти художественныя очки, если онъ хочетъ върно увидъть и пережить, т. е. дъйствительно прочитать произведенія даннаго писателя и вычитать изъ нихъ духовное содержание, можеть быть - цълое богатство. Читать не значить скользить по словамъ и по кое-какъ улавливаемымъ изъ-за нихъ сценамъ. Настоящій читатель живеть вмфстф со своимъ авторомъ, во слѣдъ ему, на селяя свои душевныя пространства его образами и помыслами, и пребывая въ нихъ. Ему удается воспроизвести ихъ лишь постольку, поскольку онъ в врно воспроизводитъ творя ческій актъ самого художника. своему художественному инстинкту, онъ перестраиваетъ свою душу съ первыхъ же главъ, съ первыхъ же страницъ читаемой книги; и перестраиваетъ свою душу именно такъ, какъ того хочетъ данный художникъ. Онъ долженъ быть способенъ и согласенъ на это. Иначе читаемое произведение не откроется ему и художественная встръча не состоится.

Для того, чтобы върно воспринять религіозно-слъпого писателя, у котораго все ограничивается измъреніемъ земной обыдень ности, и ни вещи, ни люди не имъютъ никакого божественнаго смысла, — надо временно согласиться на это духовное оскудь: ніе, чтобы художественно вглядіться и вчувствоваться въ его плоскій міръ. Напротивъ, чтобы върно воспринять художника, исполненнаго религіознаго чувства и полета, надо самому зажить религіознымъ созерцаніемъ и расправить крылья своего духа. Одинъ писатель совсъмъ уходитъ отъ внъшнихъ вещей и явленій природы во внутренній міръ человіческихъ страстей и помысловь; чтобы итти за нимь и уйти въ его міръ, надо погасить въ себъ чувственное воображение и окунуться въ е г о воды. Напротивъ, другой писатель показываетъ жизнь человъческой души только черезъ ея тълесныя проявленія или черезъ ея отражение въ природъ; чтобы воспринять е г о художественную ткань, надо разбудить, можеть быть — разжечь въ себъ чувственное воображение и оріентироваться по зрительнымъ и обонятельнымъ указаніямъ, по движеніямъ тъла, по линіямъ и массамъ. Словомъ, читатель доженъ видъть окомъ автора, слушать его ухомъ, чувствовать его сердцемъ, думать его мыслями; и только это дастъ ему возможность върно перевоплотиться въ его героевъ, возсоздать въ себъ всъ его видънія и образы, и проникнуть въ ихъ послъднюю глубину.

Эта послѣдняя глубина и есть то Главное, что хугдожникъ хотѣлъ выразить въ своемъ произведеніи. Ради этого главнаго «помысла» онъ и создаль свою поэму, повѣсть или драму. Этотъ «помыслъ» посѣтилъ и освѣтиль его душу, какъ нѣкій таинственный лучъ; самый лучъ очевидности меркнеть и исчезаеть, а воспринятый помыслъ уходить въ глубину души и остается въ ней; и оставшись, превращается какъбы въ художественный зарядъ, требующій творческаго вниманія къ себѣ и ищущій себѣ образовъ и словъ. Повинуясь этому требованію, художникъ и создаетъ свое произведеніе, какъбы выращивая его, бережно и отвѣтственно, изъ этого прервоначальнаго «помысла» или «заряда», который мы условимся называть «художествен» нымъ предметомъ».

Итакъ, «художественный предметъ» есть то Главное, изъ котораго выросла и которому служитъ вся поэма, повъсть или драма. Проникнуть къ нему есть задача читателя и художестреннаго критика. Върно воспринять его — значитъ осуществить художественную встръчу съ авторомъ.

Этотъ первоначальный «помыслъ» или художественный «зарядъ» не слъдуетъ представлять себъ въ видъ сознательной мысли, или тъмъ болье въ видъ отвлеченной идеи, посътившей художника. Напротивъ, обычно поэтъ не можетъ ни помыслитъ, ни выговорить своего художественнаго предмета; если онъ «мыслитъ» его, то не умомъ, а особымъ сложнымъ актомъ эстетическаго чутья; если онъ «видитъ» его, то лишь какъ въ смутномъ снъ; онъ можетъ испытывать его воображеніемъ любви, или волевымъ напряженіемъ, или какъ нъкій камень, лежащій на сердиръ, или какъ радостно зовущую даль... Поэтъ можетъ его выразить только тогда, если онъ облечетъ его въ образынь и не обходи мыхъ образовъ—точныя и не обходи мыхъ образовъ—точныя и не обходи мыхъ образовъ и словъ—онъ и ищетъ; эти поиски и составляютъ процессъ его творчества.

Если писателю художнику удается выносить зрѣлый «помыслъ», найти для него точные и необходимые образы и описать ихъ въ точныхъ и необходимыхъ словахъ, — то произведене искусства «удается», оно оказывается художественнымъ или даже — х у д о ж е с т в е н н о - с о в е р ш е н н ы м ъ. Тогада въ немъ в с е н е о б х о д и м о — и образы и стиль рѣчи, и слова, ибо все потребовано изъ глубины самого предмета, все имъ обосновано; тогда въ немъ все художественно, «точно» и эстетически «убъдительно». Это можно выразить такъ: художественный предметъ скрытъ за образами и словами повъсти, какъ нѣкое «солнце», которое цъликомъ присутствуетъ въ нихъ своими лучами; въ каждомъ словъ и въ каждомъ образъ имъется его лучъ, который сіяетъ изъ него и ведетъ къ нему; все имъ насыщено, все о немъ говоритъ, все ему служитъ. Нѣтъ худоя

жественно «мертвыхъ» словъ и «мертвыхъ» образовъ, лишенныхъ луча, не нужныхъ предмету, лишнихъ. И нътъ предмету ныхъ лучей, которые остались бы не раскрытыми въ образахъ и не выговоренными въ словахъ, нътъ въ повъсти проваловъ, пробъловъ, недосмотровъ, несогласованностей, недоговоренностей. Словесная ткань — стала върной «ризой» художественныхъ образовъ; а художественные образы слагаютъ какъ бы върное «тъло» художественные образы слагаютъ какъ бы върное «тъло» художественнаго предмета. Если автору это вполнъ удалось, то онъ создалъ художе ственное, владъющій искусствомъ чтенія, узнаєть это по тому духовному трепету, который охватить его, такъ, какъ еслибы онъ стоялъ передъ великой тайною или передъ чудомъ Божіимъ; а такое произведеніе и есть на самомъ дъль великая тайна и Божіе чудо, явленное въ человъческомъ созданіи.

Такъ сходятся пути художника и читателя. Художникъ идетъ отъ своего предмета къ образу и слову, отъ внутренняго къ внѣшнему, изъ глубины на поверхность; но такъ, что предметъ вливается въ образы и насыщаетъ собою слова; и такъ, что внутреннее вступаетъ во внѣшнее и глубина излучается на поверхность. А читатель идетъ отъ напечатанныхъ словъ къ тѣмъ образамъ, которые въ нихъ описаны и тѣмъ самымъ къ тому предмету, изъ коего они родились, т. е. черезъ внѣшнее къ внутреннему, отъ поверхности къ насыщающей ее глубинѣ. И если эта встрѣча состоится, то искусство справляетъ свой праздникъ.

Для того, чтобы этоть праздникь состоялся, автору необходимо искусство «писать», а читателю необходимо искусство
«читать». Читать — значить: върно и чутко воспринимать ткань
словь (эстетическую матерію), легко и покорно усваивать творческое видъніе художника (его эстетическій акть), точно и лъпко воспринимать описываемые имъ картины внъшняго и внутренняго міра (эстетическіе образы) и съ духовной зоркостью
проникать до того главнаго помысла, изъ котораго рождено все
произведеніе (до эстетическаго предмета). Вотъ чего ждуть и
чего требують отъ насъ писатели - художники. Воть какъ мы
должны итти навстръчу ихъ созданіямъ. Вотъ что намъ дастъ
настоящее чтеніе художественной прозы.

2.

Именно такое чтеніе и только такое можеть дать читате лю извъстное право на художественную крити ку.

Задача художественнаго критика состоить н е въ томъ, чтобы опубликовывать, что ему «понравилось» и что ему «не понравилось»; это дѣло личное, частное, такъ сказать — біографияческое. Писатели совсѣмъ не призваны и не обязаны «угождать» читателямъ или критикамъ, доставлять имъ «удовольствіе» или «наслажденіе». Художникъ в правъ дать читателю и рая

дость, и горе, и наслажденіе, и муку, и утішеніе, и ужасъ. Онъ о б я з а н ъ показывать то, что видить, хотя бы это шло на перекорь всімь запросамь и вкусамь «современности», хотя бы это было ненавистно толпів, и «непріемлемо» для господъ критиковь. Онъ п р и з в а н ъ повиноваться своей собственной религіозной и художественной совісти, внутренно взывая къ тому неизвістному Мудрому Критику, которому доступны — и постигнутый имъ предметь, и его творческій акть, и самый законь художественнаго совершенства, и котораго онъ можеть быть никогда не встрітить. А такой Критикъ никогда не позволить себі подмінить вопрось о «совершенстві» — вопросомь о томь, что ему лично «понравилось».

«Понравиться» можеть и нехудожественное созданіе. - то своимъ отдъланнымъ стилемъ; то по своему общедоступному, обывательски-тривіальному акту; то «интригующей фабулой»; то сценами изъ «знакомаго, милаго быта»; то «яркими», «забавны» ми» «типами»; то «благополучной развязкой». И наоборотъ, художественно-совершенное произведение можеть и «не понравить» ся»: или своимъ напряженнымъ, насыщеннымъ стилемъ; или по своему тонкому, трудно воспроизводимому эстетическому акту; или своей сложной, запутанной фабулой, разобраться въ которой — господину читателю «лѣнь» или «некогда»; или сценами изъ чуждаго, экзотическаго быта; или отсутствіемъ «комическа» го»; или трагической развязкой. Одному «нравится» то, что другому не «нравится»; это вопросъ с у бъекта и ръщает» ся онъ субъективно. Вопросъ же художественнаго совершенства - трактуетъ не настроение читателя, а самое произведение; онъ касается даннаго объекта и рашается его воспріятіемъ и изслѣдованіемъ.

Однако, задача литературнаго критика н е состоитъ и въ томъ, чтобы измърять художественныя произведенія нехудожественными мѣрилами, чуждыми искусству, напримъръ партійными, революціонными, соціальными, соціалистическими, либеральными, республиканскими, монархическими, профессіональными, конфессіональными или какими бы то ни было другими. Все это — невърно и непредметно; все это-чужеродно и для искусства вредно; и чаще всего это прикрываетъ художественно-эстетическую несостоятельность самого критикую щаго рецензента. За послѣдніе 50 - 75 лѣтъ русская литератур ная критика безъ конца гръшила, а въ лицъ радикальныхъ и революціонныхъ эпигоновъ и донынѣ грѣшитъ этимъ сниженіемъ, этой пошлостью. Всякая нарочитая тенденція — и «прог» рессивная», и «реакціонная», и просто разсудочно-выдуманная, нехудожественна. Она эстетически фальшива – и въ произведеніи искусства, и въ художественной критикъ. Искусство имъетъ свое измъреніе: измъреніе духовной глубины и художественнаго строя. Именно это измѣ: реніе обязательно для всякаго художественнаго критика. Именно съ этимъ мфриломъ я и подхожу въ моей книгѣ къ произведеніямь и авторамь современной русской изящной прозы.

Художественный критикъ долженъ быть на высотѣ, преже де всего, какъ читатель: онъ долженъ искать художесте венной «встрѣчи» съ писателемъ, возсоздавая черезъ данную словесную ткань — образное тѣло произведенія, и проникая черезъ его слова и образы къ его эстетическому предмету. Это первый этапъ его пути: вглубь, къ замыслу, къ художесте венному солнцу, сокровенно владѣющему даннымъ произведеніемъ.

Однако критикъ не можетъ этимъ ограничиваться. Онъ больше, чъмъ просто читатель: онъ художественноаналитическій читатель. Онь должень пройти отъ слова черезъ образъ къ предмету, и обратно - отъ предмета черезъ образъ къ слову, - не только интуитивно, чувствомъ, воображеніемь и волею, но и сознательной мыслью; онъ долженъ свести все къ главному и опять развернуть все изъ главнаго, слъдуя за указаніями автора; — какъ бы вобрать все произведение въ его собственное художественное солнце, а потомъ прослѣдить, пронизываетъ ли оно своими лучами всѣ свои образы и всю свою словесную ткань. Критикъ долженъ проследить все это удостовърительно и убъдительно, и на основаніи этого высказать обоснованное суждение о художественномъ совершенствъ или несовершенствъ даннаго произведения. Въ этомъ состоитъ вторая его задача.

Въ этомъ изследовании критикъ иногда можетъ получить драгоцѣнныя разъясненія и подтвержденія отъ самого автора. Это возможно; ибо, казалось бы, кому же лучше знать свой замысель, свой акть, свою символику, свою словесную ткань, какъ не самому автору? Однако эта возможность не всегда оправдывается; ибо авторамъ-художникамъ далеко не всегда дано сознавать свое творчество, его истоки, его замыслы и его законченныя проявленія. Художественное творчество неръдко бываеть несравненно мудрѣе своего носителя; а самъ художникъ ръдко обладаеть столь зоркимъ и глубокимъ сознаніемъ, которое проникало бы въ глубину и утонченность его собственнаго творческаго процесса. Именно этимъ объясняется то обстоя тельство, что поэть нервдко плохо разумветь «самого себя, сильныя и слабыя стороны своего творческаго акта, его строеніе, его предалы и его опасности. И еще труднае бываетъ поэтамъ осознать свой эстетическій предметь, - настолько, что они бываютъ склонны или совствиъ отрицать его наличность, его значеніе и его смыслъ, или же говорить о немъ невърныя, несоот вътственныя слова. К. С. Алексвевъ-Станиславскій разсказываль мнь, что такой умный и тонкій писатель, какъ Чеховъ, считаль сначала свою драму «Три сестры» - веселой комедіей, и былъ изумленъ и встревоженъ, когда режиссура и труппа Московскаго Художественнаго Театра въ его отсутствіе начали истолковывать ее, какъ тонкую психологическую драму; Чеховъ успокоился и согласился съ артистами только тогда, когда онъ, по прівздв въ Москву, увидълъ свою драму на сценъ. Здъсь художественнодаровитые читатели (артисты) помогли поэту осознать «самого

себя» и свое произведение. Этотъ наглядный примъръ, можетъ считаться классическимъ въ исторіи литературы. Онъ показы ваетъ, что критикъ не можетъ и не долженъ смущаться, если критикуемый художникъ воспринимаетъ самого себя и истолковываеть свои произведенія (или, тъмъ болье, - оцъниваеть ихъ) иначе. Художникъ часто знаетъ о сво емъ произведеніи меньше, чѣмъ его про изведеніе «высказываетъ» о самомъ се б ѣ. А критикъ имъетъ дъло именно съ законченнымъ произ» веденіемъ, которое говорить само отъ себя и само за себя. Нельзя помъщать автору любить и цънить выше всего свои самыя слабыя произведенія, подобно родителямъ, нерѣдко сосре доточивающимъ свою нъжность именно на неудачныхъ дътяхъ. Нельзя требовать отъ всъхъ писателей той поразительной зоря кости, зрѣлости и свободы сужденія о самомъ себѣ, которою обладалъ Пушкинъ.

Вотъ почему иногда критику бываетъ очень полезно не общаться съ тъмъ авторомъ, о которомъ онъ пишетъ. Ибо, въ сущности говоря, онъ пишетъ не о человъ къ, а объ его художественныхъ произведения хъ. Это различение образуетъ цълую грань, ее необходимо всегда помнитъ.

Это важно, во-первыхъ, вътомъсмыслъ, что біо> графія поэта не должна заслонять и вытѣснять собою его художество. Ни исторія литературы, ни тьмъ болье художественная критика не имьють своимь предметомь жизнь самого автора. Имъ позволительно интересоваться его жизнью лишь постольку, поскольку это необходимо для уразумѣнія его художества. Провести и соблюсти здѣсь вѣрную границу — можеть только нравственный такть и изследовательское чутье ученаго. При отсутствіи того и другого, художественная критика неминуемо выродится въ постыдныя альковныя сплетни или въ психо-аналитическое разоблачение души распинаемаго поэта. Такой «критикъ» долженъ почаще вспоминать о томъ, что онъ самъ — тоже писатель, и что его собственныя писанія тоже дадутъ кому нибудь поводъ для альковныхъ сплетенъ и психоаная литическаго разоблаченія. Впрочемъ наше время не отличается джентльмэнствомъ и имветъ неудержимую склонность питаться продуктами разложенія.

Грань, отдъляющую человъка отъ его художества, необхогдимо соблюдать, во-вторыхъ, въ томъ смыслъ, чтобы не смъшивать живую душу писателя съего хугдожественным жактомъ. О живой душъ писателя художественному критику нечего распространяться; она ему не дана и не извъстна. Обычно она сложнъе и богаче, чъмъ ея художественный актъ, который можетъ и обновиться, и перерогдиться изъ ея собственной глубины. Такъ, почти на нашихъ глазахъ переродилъ свой творческій актъ графъ Л. Н. Толстой; и наивно было бы думать, что усвоеніе его художественнаго акта равносильно постиженію его души.

Актъ изслъдуется критикомъ не по даннымъ интимной жизни, а по художе ственнымъ произведеніямъ. Этотъ акть осу» ществляется самимъ поэтомъ; онъ объективируется имъ въ его созданіяхь; онь отдается имь самимь на публичное воспріятіе; мало того, художникъ предполагаетъ и требуетъ, чтобы его художественный актъ воспроизводился его читателями и критика, ми. Но этотъ актъ, подлежащій воспроизведенію, анализу и критикъ, — не опредъляетъ собою ни души поэта, ни его внутренней и внъшней жизни. Такъ, поэтъ можетъ быть религіознымъ, – и творить изъ нерелигіозной установки; онъ можетъ быть въ жизни цъломудреннымъ аскетомъ, а писать непристойныя новеллы; онъ можеть имьть ньжную, лирически задумчивую душу, тогда какъ писанія его будуть разсудочнохолодными; не совершивъ въ жизни ни одного волевого поступка, онъ можетъ писать драмы и трагедіи большого волевого напряженія: онъ можеть быть человькомь утонченной культуры и аристократическаго благородства, а творить изъ злодъйски» примитивной, дикарски-хищной установки души; онъ можетъ быть трезво-разумнымь человъкомъ, а творить свое художество изъ юродствующаго акта. Словомъ, здъсь имъется грань – и предметнаго характера (ибо душа и актъ два различ» ные предмета) и методологическаго значенія (ибо душа и актъ и з с л ѣ д у ю т с я на различных ъ п у =

Это различіе, къ сожальнію, легко стирается и забывается вслъдствіе многихъ обстоятельствъ и между прочимъ вслъдствіе того, что оба предмета одинаково обозначаются именемъ одного и того же автора. Достоевскій, накъ живой и глубокій, геніальный духъ, - и Достоевскій, какъ осуществленный имъ литературно-творческій актъ, — совсьмъ не одно и то же; и тымъ не менъе оба эти обстоянія одинаково обозначаются именемъ «Достоевскаго». А между тъмъ критикъ, вскрывая силу и слабость, зоркость и незоркость, уравновъшенность и неуравновъ шенность его художественнаго акта, имъетъ въ виду именно этоть акть, а не его живую душевную субстаня и і ю. Непозволительно умозаключать отъ свойствъ художесть веннаго акта - къ общему душевному состоянію или къ жизни даннаго автора; и обратно. И даже тогда, когда самъ авторъ говорить, пишеть и печатаеть о «самомь себь» (напримырь Буя нинъ въ «Цикадахъ», или Ремизовъ – «Кукха», «Взвихренная Русь», «По карнизамъ»), критикъ долженъ относить это н е къ личности художника, а къ его творя ческому акту, о которомъ каждый изъ художниковъ умветь высказываться лишь въ ту мвру, въ какую онъ его осозналъ.

Вотъ почему и я, въ критическихъ анализахъ моей книги, обозначая произведенія по имени ихъ авторовъ, буду имѣть въ виду не самихъ авторовъ, не ихъ личныя души или духовныя субстанціи, а только осуществленные ими художественные акты. Это относится въ особенности къ изслъдованію о томъ, кто изъ нихъ является художеникомъ внъшняго опыта, и кто — художникомъ внутренняго опыта.

Каждому изъ насъ доступенъ и внъшній и внутренній опытъ.

В н ѣ ш н і й о п ы т ъ прилѣпляетъ насъ къ ч у в с т в е н н ы м ъ воспріятіямъ и состояніямъ. Мы обращаемся къ міру — зрѣніемъ, слухомъ, обоняніемъ и осязаніемъ, воспринимаемъ его мускульными ощущеніями, пространственнымъ созерцаніемъ, чувствомъ холода, тепла, боли, тяжести, голода и т. д. Мы живемъ нашимъ т ѣ л о м ъ, прислушиваемся къ нему и воспринимаемъ міръ именно черезъ него. Именно постольку міръ является намъ міромъ матеріальныхъ вещей, міромъ свѣта, цвѣта, красокъ, линій, плоскостей, массъ, движеній, звуковъ, запаховъ . . .; постольку люди предстоятъ намъ, какъ живыя тѣла, доступныя намъ только со стороны своей тѣлесности; постольку холодъ, голодъ, тѣлесная мука и вызываемыя ими страсти — кажутся намъ «важнѣйшими» состояніями человѣка; и самая любовь воспринимается нами, какъ чувственная влюбъленность и половая страсть.

Художникъ, воспринимающій и рисующій міръ изъ такого художественнаго акта, есть художникъ внѣшняго опыта.

внутренній опыть уводить нась отъ чувственныхъ воспріятій и состояній и открываетъ намъ иной міръ, міръ воспринимаемый нечувственно. Свя занная съ теломъ отъ рожденія до смерти, душа можеть отвертываться отъ тъла, не върить ему, не считать его существеннымъ, не предаваться его зовамъ и соблазнамъ, не пребывать въ немъ своимъ вниманіемъ и интересомъ, — итти не къ нему, а или черезъ него, или мимо него, къ нечувственя нымъ обстояніямъ и состояніямъ міра. Тогда все вещественное, матеріальное, телесное перестаеть быть для человъка главною или самодовлъющей реальностью, а становится лишь символомъ иныхъ, важнъйшихъ, субстанціальныхъ обстояній, на которыхъ и сосредоточивается все или почти все вниманіе. Къ такимъ обстояніямъ относится, прежде всего, міръ челов в ческой души, во всехъ ея, не подчиняющихся тьлу интересахъ, чувствованіяхъ, желаніяхъ, помыслахъ, фантазіяхъ и страстяхъ. Къ такимъ обстояніямъ относится, далье, весь мірь добра и зла, гръха и нравственнаго совершенства, міръ божественнаго откровенія, таинственныхъ судебъ вселенной, религіознаго смысла жизни, высшаго назначенія человъка. Это міръ, въ которомъ люди суть живыя и свободныя духовныя личности, доступныя намъ въ своей внутрен» ней жизни; міръ, въ которомъ любовь прилъпляется къ нечув» ственному облику человъка и самыя страсти, одухотворяясь, по» лучаютъ значеніе нъкоего священнаго трепета.

Художникъ, воспринимающій и рисующій міръ изъ такого художественнаго акта, долженъ быть обозначенъ, какъ художникъ внутренняго опыта.

Какъ бы ни прилѣплялся человѣкъ къ внѣшнему опыту, какъ бы ни тягогѣль онъ къ чувственному, матеріальному, тѣ лесному, — ему невозможно обойтись безъ внутренняго опыта; и обратно: пока человѣкъ живетъ на землѣ, онъ не можетъ оторваться совсѣмъ отъ стихіи пространства, вещи и чувственной страсти. Поэтому и художникамъ не дано обходиться совсѣмъ безъ внѣшняго или безъ внутренняго опыта. Но имъ дана воз можность — творить преимущественной опыта, или владѣть обоими этими источниками, временами сочетая ихъ въ своемъ актѣ. Такъ, актъ Л. Н. Толстого живетъ преимущественно внѣшнимъ опытомъ¹); актъ Достоевскаго — преимущественно внутреннимъ опытомъ; геній Пушкина — владѣлъ обоими источниками, и притомъ, не только совмѣстно, но и порознь.

Понятно, что внѣшне-опытному, чувственному акту доготупно многое такое, что недоступно акту внутреннему; и обратно, художникъ внутренняго опыта призванъ воспринять и раскрыть такія стороны міра и человѣка, которыя не дадутся мастеру внѣшняго созерцанія.

Художникъ чувственнаго опыта есть прежде всего живописецъ и скульпторъ; ему дано видъть пригроду, ея краски, звуки и запахи; ея перспективу, ея красивость, ея панораму, ея детали. Онъ зорко видить человъческое тъло, знаетъ его красивыя формы, его выразительность; онъ точно опишетъ его ощущенія, а при большомъ мастерствъ проникнетъ и во внутреннее содержаніе этихъ ощущеній. Онъ можетъ стать знатокомъ человъческаго инстинкта въ его чувственныхъ проявленіяхъ; онъ будетъ върно и ярко живописать элементарныя переживанія элементарныхъ натуръ, инстинктивныя движенія массъ въ быту, на войнъ и въ миръ; онъ сумъетъ дать потрясающую картину чувственной влюбленности и физіологической, животной страсти, какъ въ ея естественныхъ порывахъ, такъ и въ ея противоестественной судорогъ...

Но здѣсь онъ подходить къ предѣламъ своего художест» веннаго акта. Поскольку міръ души и духа не у ловимъ при помощи чувственнаго опыта, онъ не постигнетъ его и не сумѣетъ ни увидѣть его, ни показать.

Напротивъ, художникъ внутренняго опыта есть ясновидецъ душевно-духовной жизни человъка и міра. Онъ не живописецъ, а психологъ; и притомъ психологъ само-

<sup>1)</sup> Это было отмѣчено впервые въ литературно - критическомъ опытѣ Д. С. Мережковскаго «Толстой и Достоевскій».

довлъющихъ глубинъ души. Онъ скульпторъ не тъла, а характера. Онъ архитекторъ не матеріальныхъ, и не инстинктивныхъ, а духовныхъ массъ. Онъ знатокъ душевной раздвоенности, борьбы между духомъ и тъломъ, борьбы между совъстью и инстинктомъ, между діаволомъ и Богомъ. Онъ ходитъ по кругамъ человъческой духовной проблематики и діалектики, какъ Богородица по мукамъ. Его актъ есть чаще всего страдающій актъ; его мысль идетъ со дна духа: ему доступны всъ сокровенные божественные лучи, живущіе въ человъческой глубинъ. А образнами внъшняго опыта онъ пользуется лишь постольку, поскольку онъ видитъ въ нихъ таинственные знаки Высшаго, символы глубокихъ внутреннихъ обстояній.

Отсюда видны и предълы его художественнаго акта. Поскольку онъ пренебрегаетъ чувственнымъ опытомъ, онъ не достигнетъ въ его живописаніи и раскрытіи величайшаго мастерства.

Этимъ опредъляется и многое другое, отличающее этихъ художниковъ другъ отъ друга.

Такъ, въ образномъ планѣ опасность внѣшне опытнаго художника состоитъ въ томъ, что его «живо» пись» сведется къ безконечному описанію внѣшнихъ деталей (на подобіе Эмиля Зола), или превратится въ художественно-безпредметный красочный фильмъ, какъ бы въ ленту кинематографа, снятую изъ окна вагона — безъ смысла, цѣли, формы и художественной предметности. Въ планѣ же предмета — такой художникъ окажется поэтомъ и ясновиды цемъ инстинкта; и можно всегда ожидать, что темыная бездна этой таинственной силы окажется въ его описаніи сильнѣе или даже упоительнѣе всѣхъ духовныхъ силъ.

Опасность же внутренно-опытнаго художника вь образномъ планѣ состоить въ томъ, что его «хожденіе по мукамъ» сведется къ описанію нераспутывающихся клубковъ больной души, ея больной проблематики, ея сумасшедь шаго, душевно заразительнаго хаоса (на подобіе Э. Т. А. Гофьмана), или превратится въ художественно безпредметное разлагательство ничтожно-пошлыхъ, а можетъ быть и гнилостно-комунственныхъ залежей души. Но если такой художникъ преоблюбетъ эти опасности и обрътетъ тотъ Божій лучъ, который одинъ только и можетъ исцълить мятущуюся бездну человъческой души, — тогда онъ окажется поэтомъ и яснов вид цемъ духовнаго, ангельскаго естества въ человъкъ и упоительнъе всъхъ уклоновъ и соблазновъ темнаго инстинкта...

Послѣ этихъ разъясненій нетрудно понять, что, въ сущности говоря, ни одинъ писатель не прикованъ къ какому-нибудь одному, опредѣленному акту. Есть писатели съ однообразнымъ актомъ, достигающіе въ немъ большого мастерства, но совсѣмъ не мѣняющіе или почти не мѣняющіе его строенія на протяженіи всей жизни (Чеховъ); есть писатели, вырабатывающіе себѣ опредѣленный художественный актъ, съ тѣмъ, чтобы въ дальнъйшемъ пережить духовный кризисъ и уйти отъ него, можетъ быть даже осудить его, создать новый и опять вернуться къ прежнему акту, осуществляя его уже безъ прежней силы и былого блеска («Воскресеніе» Л. Н. Толстого); наконець, есть писатели, обладающие такою художественною гибкостью и творческой силою, что создають каждое или почти каже дое произведеніе свое изъ новаго та, явно повинуясь тому основному закону художественности, согласно которому не поэтъ навязываетъ свой талантъ эстетическому Предмету, Предметь диктуеть таланту необходимый Ему художественный акть: трезвый, то фантастическій, то безсмысленный, то умственный, то волевой, то разслабленно-безвольный, то холодный, то огненный, то чувственно-внъшній, то нечувственно-внутренній . . . И чемь покорне будеть художникь зову эстетического предмета, тъмъ шире по объему, тъмъ проникновеннъе и полновластнъе сдѣлается его искусство . . .

4.

Итакъ, какое же произведеніе слѣдуетъ признать художе ственно - совершеннымъ?

Литературное произведеніе имѣетъ, прежде всего, с лове с н ы й составъ (эстетическую матерію). Словесная ткань имѣетъ с в о и сцецифическіе законы: фонетическіе, грамматическіе, синтаксическіе, ритмическіе, стилистическіе. Эти законы должны соблюдаться. Попраніе ихъ вредитъ художественности.

Однако върная словесная ткань не самодовлъюща; она служитъ высшему; она является его покорнымъ и выразительнымъ орудіемъ, орудіемъ эстетическаго образа и эстетическаго предмета. Языкъ долженъ быть проникнутъ ими, рожденъ изъ нихъ, ими отобранъ, ими обоснованъ. Онъ долженъ быть точенъ и экономенъ; онъ долженъ быть ихъ върной и прозрачной средой. И передъ лицомъ этихъ, художественно-высшихъ требованій — правила фонетики, грамматики, синтаксиса, ритма и стиля должны обнаруживать величайшую гибкость и уступчивость, сгибаясь до предъловъ возможнаго, но не ломаясь...

Литературное произведеніе имѣетъ, во-вторыхъ, о б р а зе н ы й с о с т а в ъ (планъ эстетическаго образа). Это есть какъ бы фантастическое тѣло произведенія, тѣло «чувственное» (воображенныя вещи, тѣла, природа) и «нечувственное» (воображаемыя души, характеры, духовныя событія). Образный составъ имѣетъ свои специфическіе законы: объективной подлинености, индивидуализаціи, завершенности, вѣрности каждаго образа самому себѣ и своимъ отраженіямъ, динамики, сопринадележности и др. Эти законы похожи на тѣ, которымъ подчине

ны реальныя вещи и живые люди, но не совпадають съ пими 1). Попраніе ихъ вредить правдоподобію разсказа, дівлаєть образы «невівроимными» и все произведеніе неудобно-восяпринимаемымъ.

Однако образный составъ литературнаго произведенія не самодовл'єющь; онъ тоже служить высшему, — эстетическому предмету; онъ является его в'єрнымъ, необходимымъ орудіемъ. И чувственный и нечувственный образъ долженъ быть рожденъ изъ эстетическаго предмета, развертывая и выявляя его согдержаніе, его ритмъ, его волю; образъ долженъ быть точенъ и экономенъ; онъ долженъ быть в'єрной и прозрачной средой, за которою скрытъ предметъ и черезъ которую предметъ лучится. И передъ лицомъ этого художественно-высшаго закона, вс'є специфическія требованія вещественныхъ и душевы ныхъ образовъ должны обнаруживать величайшую гибкость и уступчивость, сгибаясь до преділовъ возможнаго, но не ломавально преділовъ возможнаго преділовъ возможнаго преділовъ возможнаго преділовъ возможнаго преділовъ возможнать в преділовъ возможнать в преділовъ в пре

Литературное произведение имъетъ, въ третьихъ, духовнопредметный составъ (планъ эстетического предмета). Это есть тогь главный помысль, который заставиль поэта творить, т. е. искать для него върных образовъ и точныхъ словъ. Этотъ помыслъ поэта отнюдь не есть его выдумка: ему соотвътствуетъ нъкое объективное обстояніе, — въ Богь, въ че-ловъкъ или въ природъ; иногда — только въ Богь (напр. «совершенство», «всевъдъніе», «благодать»), иногда и въ Богъ и въ человъкъ (напр. «любовь», «прощеніе»), иногда только въ человъкъ («молитва», «совъсть», «гръхъ»), иногда и въ Богъ, и въ человъкъ, и въ природъ («покой», «страданіе»). Эти объективныя обстоянія отнюдь не слідуеть воспринимать, какъ «отвлечен» ныя понятія»; или какъ простыя «настроенія поэта», - лирическія или трагическія. Н'ть, - это реальности; живые, классические способы жизни; или если угодно - м і ровыя состоянія, видоизмѣненія бытія, доступныя каждому человъку. Поэтъ долженъ пріобщиться имъ. подлинно войти въ нихъ, чтобы запъть и заговорить и зъ нихъ и о нихъ. Безъ этого онъ не станетъ художния комъ и поэтомъ. Но пребывание въ нихъ отнюдь не составляетъ его привиллегію или монополію. Пріобщаться имъ можетъ каждый. И художественный критикъ способенъ и призванъ изведать и ведать ихъ въ самостоятельномъ, личномъ опыте, д о того, какъ онъ станетъ върнымъ и чуткимъ читателемъ даннаго поэта. Именно это даетъ ему возможность «читать» поэта сразу во всъхъ трехъ планахъ, читать его слова, дъть его образы и созерцать его несказанный и воть все таки во-ображенный и высказанный Предметъ.

Каждое произведеніе искусства какъ будто говорить челов въку: «восприми меня, заживи мною; дай, я наполню твою дув

 $<sup>^1</sup>$ ) Формулированіе и обоснованіе ихъ требуеть особаго эстетическаго изгольдованія; срв. краткое перечисленіе ихъ въ моей книгь: «Основы художества. О совершенномъ въ искусствъ». Гл. 8 стр. 111-113.

шу, овладѣю ею, обрадую, озарю, углублю, измучаю, очищу, умудрю!»... Или, проще и короче: «возьми меня, я дамъ те бѣ крупицу мудрости и счастья!»...Или еще: «вотъ новая ду ховная медитація, живи ею!»...

Медитація есть сосредоточенное и цівлостное погруженіе души въ какое-нибудь жизненное содержаніе. Человівкъ медитируєть въ молитвів, въ философіи, въ искусствів, въ познаніи, въ природів; онъ можеть медитировать надъ математической теоремой, надъ шахматной партіей, надъ юридической нормой; въ политиків и въ торговлів...

И вотъ, по основному закону духа – душа человъка дъ лается похожею на тъ предметы, надъ которыми она часто и подолгу медитируетъ. Отсюда – значение монашескаго богомыся лія. Отсюда – опасности демонологіи и сатанизма. Отсюда же призваніе и отв'ятственность искусства. Каждое произведеніе искусства есть предложенная людямъ медитація; читатель, читая, медитируеть тою святостью и мудростью, или-граховностью и меря зостью, которыя художественно осуществились и развернулись въ читаемомъ произведеніи. Эстети ческій предметъ и есть то, что поэты и писатели предлагають людямь для медия таціи— въ одъяніи описывающихъ словъ и подъ покровомъ описанныхъ образовъ. Чъмъ духовно значительнъе предметъ и чьмь художественные его образная и словесная риза, тымь бог лъе великъ художникъ, тъмъ глубже его искусство, тъмъ выше его мфсто въ національномъ и міровомъ пантеонф. Большой художникъ какъ бы говоритъ читателю: «вотъ духовно значи» тельное состояніе, — природы, человъка, Бога, — заживи имъ, и ты увидишь ихъ путь и величіе; ты понесешь бремя мірозданія и вступишь въ великое ристалище судебъ и страданій челов'вчества»... Онъ какъ бы открываетъ своимъ читателямъ доступъ къ сущности жизни, въ нѣдра міра, въ глубины Божіи; онъ плавить души и куеть ихь; онь даруеть имь въ художествен» ной форм'ь возводящія, окрыляющія, очистительныя и укрыпительныя медитаціи. Онъ какъ бы благословдяетъ ихъ своими прозрѣніями и страданіями; онъ научаеть ихъ входить въ храмъ міровой мудрости и молиться въ немъ новыми словами единому и единственному Богу всяческихъ.

Таково призваніе истиннаго искусства, отъ котораго долежень отправляться художественный критикъ и которымъ онъ призванъ измѣрять и оцѣнивать всякое художество, не какъ «двумѣрное» явленіе (образъ, скрытый въ матеріи), а какъ «трехемѣрное» созданіе (предметь, облекшійся въ образъ и явленный черезъ матерію).

Это пониманіе искусства, согласно которому оно есть иссточникь о за ренія и умудренія, — явилось съ самаго начала основополагающимъ и направляющимъ въ исторіи русскаго искусства, какъ древне-народнаго, такъ и позднѣйшаго, зрѣло-культурнаго. Оно составляетъ у насъ въ Россіи традицію, существенную и укорененную традицію русскаго національнаго искусства; и тотъ, кто захотѣль бы исторически прослѣдить возникновеніе этой традиціи, долженъ быль бы раскрыть ея рег

лигіозные корни, т. е. опредѣляющее вліяніе воспринятаго нами изъ Византіи греко-восточнаго Православія.

Началось, конечно, съ живописи, которая была въ то время иконописью и должна была создавать образы божественнаго озаренія и умудренія. Этотъ духъ царилъ и въ музык в, которая была въ то время п в н і е м в и должна была возносить человька къ Богу и проливать въ душу божественный свътъ и чистоту. Этотъ духъ не могь не передаться и въ архитектуру, которая шла отъ храма и монастыря, и въ литературу, которая была въ то время словомъ церковнымъ, монашескимъ и духовнымъ, – славо-словящимъ или поучающимъ. Такъ было впослъдствіи и съ театромъ. вы водившимъ въ первыхъ комедійныхъ дъйствахъ образы библей» скіе и душеспасительные. Искусство въ Россіи родилось, какъ дъйствіе молитвенное: это быль акть церковный, духовный; творчество изъ главнаго; не забава, а отвътственное дъланіе; мудрое пъніе или сама поющая мудрость.

Кто сумветь вчувствоваться и всмотрвться, тоть найдеть ту же самую традицію и въ Пвсни о Полку Игоревв, и въ пвыніи Каликь Перехожихь, и въ былинахь, и въ русскихь народныхъ сказкахь. Русское искусство — прежде всего умудряеть; оно есть своего рода Книга Голубиная, содержащая мудрость «вселенной»; оно даеть или ж и з н е - у м у д р е н і е, какъ въ былинъ и въ свътской сказкъ, или б о г о у м у д р е н і е, какъ въ акабистъ, житіи и легендъ. Тотъ, кто не замътить или недооцънить эту русскую національную традицію, тотъ немного пойметь въ исторіи русскаго искусства.

Для русскаго художника, не вывътрившаго эту русскую, классическую традицію, но соблюдшаго ее вживъ, въ искусствъ существенно не удовольствіе, не развлеченіе и даже не просто украшеніе жизни, но постиженіе сущности, проникновеніе въ мудрость и водительное служеніе, — не имъющее служеніе на путяхъ медитаціи. Служеніе, — не имъющее непосредственно никого въ виду, но обращенное къ с вое му народу уже въ силу одного того, что оно творится духовножудожественнымъ актомъ русскаго національнаго строенія...

Само собою очевидно, что русское искусство, двигаясь по этому пути, подвергается опасности стать искусствомъ тенденціознымъ: выродиться въ моральную, политическую или соціальную проповъдь, потерять свою духовную независимость, свою 
художественную самозаконность и самосильность («автономію» 
и «автаркію»), исказить свой творческій актъ и превратить свои 
созданія въ орудіе чуждыхъ искусству, постороннихъ ему цьлей; или, еще хуже, въ орудіе «модныхъ теченій» или сатанинскихъ навътовъ. И вотъ, мы видимъ, что русская литература 
19 въка дъйствительно не сумъла уберечь себя отъ всъхъ этихъ 
опасностей, то впадая въ отвлеченное морализированіе (графъ 
Л. Н. Толстой), то предаваясь политическимъ или хозяйственнополитическимъ тенденціямъ (народники), то подчиняя все революціонному обличительству или коммунистической пропагандъ

(большевизмъ и «соціальное заданіе»). Зам'вчательно однако, что изъ этого извращенія духа чистой художественности — не возникло еще ни одного сколько нибудь замѣчательнаго произведенія или тъмъ болье художественно-значительнаго направленія въ русской изящной словесности. Сколько бы ни настаивала радикальная публицистика семидесятыхъ, девятисотыхъ и дея вятьсоть-двадцатыхъ-тридцатыхъ годовъ на томъ, что «настоя» щая» литература должна морализировать, народничать, республия канствовать, поклоняться революціи, демократіи и коммунизму, сколько бы она ни шипьла и не клеветала на представителей настоящаго художества - изъ этого возникли у насъ не великіе пути искусства, а только переулки, закоулки и тупики дурной литературы. Сколько бы люди ни поднимали на щитъ Тараса Шевченко, Чернышевскаго, Писарева, Максима Горькаго и всъхъ принимавшихъ или принимающихъ «народническое» или «рево» люціонное» заданіе, - величіе русской художественной литера» туры творилось на иныхъ теченіяхъ и изъ иного акта; а Златоя вратскій, Глѣбъ Успенскій, Короленко и самъ Левъ Толстой бывали художниками не тогда, когда они тенденціозно «учили», а когда они постигали, не уча, и давали мудрость, ничъмъ не залаваясь.

Здѣсь всегда останется мѣриломъ слѣдующее правило: не стремись «учить», навязывать готовыя теоріи и доказывать или иллюстрировать ихъ; не посягай на проповѣдь; стремись глубою ко постигнуть и вѣрно изобразить, а не подтвердить предвзятую доктрину; изображай, а не навязывай, и главное — не разсуждай внѣ образовъ; не принимай ни отъ кого, и даже отъ самого себя — никакихъ постороннихъ заданій; блюди тайну, свободу и неприкосновенность твоего художественнаго созерцанія; пиши непреднамѣренно, не нарочито (desinvolto), ни для чего иного, какъ только для художе ства. И всегда вынашивай свой художественный предметъ въ послѣдней глубинѣ созерцающаго сердца. Показывай мудрое, но не доказывай выдумки. И ты будешь вѣренъ классической традиціи русскаго искусства.

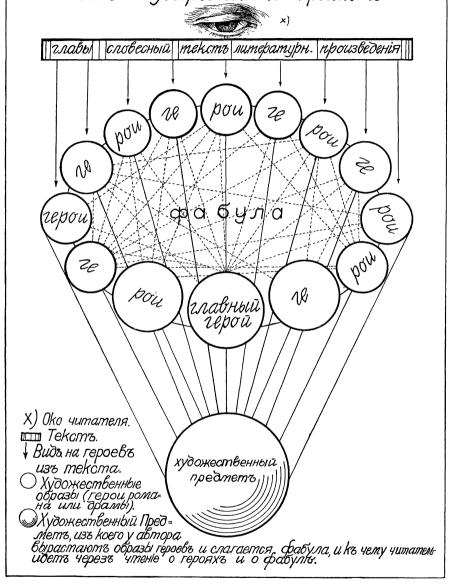
Эта классическая традиція русскаго искусства должна найти себѣ признаніе и осуществленіе и въ художественной критикѣ.

Послужить этому дѣлу должна по мѣрѣ силъ и предлежа и шая книга.

Августа 15. 1935. Кокнезе.

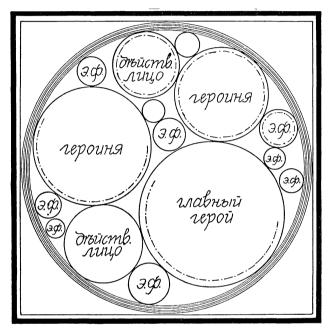
## Художественное произведеніе

Видь "аналитическій", перспективный Око читателя читающаго тексть, воображающаго героевь и фабулу и всь описанія, и созерцающаго скоозь нихь художестьенный Предтеть.



## Художественное произведеніе

Видо "синтетический"



"Рама"литературнаго текста.

Кругъ все обосновывающаго, проникающаго и сдерживающаго Художественнаго Предмета, просвъчивающаго въ удачныхъ образахъ героевъ и отсутствующаго въ неудачныхъ.

Художественные образы (герои: главный, вторые, третьи, дъй-ствующія лица, эпизодическія двигуры. Пунктиръ обозна чаетъ художественную предметность, недопредмет — ность или безпредметность образовъ.

## Нехудожественное произведение

(безпредметное)

Космосъ безъ солнца... Міръ безъ Бога... Хаосъ. Пустая шгра въ возможности, Интенція угасла...



0ko читателя отъ скуки и отвращенія уснуло!

Безконечный сквознякь ненужнаго текста!

Ненужный бредъ о несостояв = шихся "герояхъ".

Единой фабулы ньтъ!

Хаось эмбріональныхь образовь, тинетно ишущихь связи, строя и фабулы!

Путь модернизма рыка и сарасты

тно ишущихь соязи, — Путь лиос ы! За**бб**са художественнаго мрака и сл*ъпоты*.

> Неузірнный ав торомів Художеств. Предтего остается <u>в н.б.</u> литературнаго проця бесенія, эстетически неосуществлення нь мя.

Лучей его авторъ не воспринять и чить телю не показаль.



#### ТВОРЧЕСТВО И. А. БУНИНА.

Чашу съ темнымъ виномъ подала мнѣ богиня печали. Тихо, выпивъ вино, я въ смертельной истомѣ поникъ. И сказала безстрастно, съ холодной улыбкой богиня: «Сладокъ ядъ мой хмельной. Это лозы съ могилы любви».

Бунинъ.

#### и. А. БУНИНЪ.

I.

Творчество Ивана Алексвевича Бунина (род. 1870) — последній дарь русской дворянской помещичьей усадьбы, дарь ея русской литературь, Россіи и міровой культурь. Это она, наша средняя русская земледъльческая полоса, уже подарившая русскому народу столько замѣчательныхъ талантовъ, - литературя ныхъ, музыкальныхъ и философическихъ, – говоритъ въ его созданіяхъ. Въками происходиль здъсь, вокругь Москвы этотъ своеобразный, національный, сословный, душевно-духовный и культурный отборь, отборь тонкихь и даровитыхъ натурь, который даль Россіи Жуковскаго, Пушкина, Лермонтова, Баратынскаго, Тютчева, Хомякова, Тургенева, Толстого, Фета, Чичерина, Трубецкихъ, Рахманинова и многихъ другихъ созидателей русской культуры. Туть все соединилось: и этоть крыпкій, строгій климатъ съ его большими колебаніями и бурными порывами; и ласковый, мечтательно-просторный ландшафтъ; и столѣтній отя боръ крови и культуры; и непосредственная близость къ простонародной крестьянской стихіи, къ дыханію земли; и досугь помъщичьей усадьбы, съ ея культомъ родовой, наслъдственной традиціи служенія; и близость къ патріархальной Москвъ; и удаленность отъ цензуры Петербурга . . . Такъ и сложилась эта своеобразная духовная атмосфера — незавия симаго творческаго созерцанія, дерзаю: по своему видъть и честно выго: варивать узрънное, не считаясь ни съчъмъ, кромъ личной религіозной, художественной или познавательной совьсти . . .

Помѣщичья усадьба была достаточно состоятельна, чтобы не гнаться за государственной службой, посматривать на правигельство независимо и — то вольнодумно обособляться, то консервативно смыкать ряды на дворянскихъ или земскихъ выбограхъ. Она была достаточно состоятельна, чтобы дать своей молодежи утонченное, всесвѣтно обогащенное образованіе и не нуждаться въ профессіональномъ примѣненіи его, выдвигая то свободнаго ученаго (Б. Н. Чичеринъ), то всеотвергающаго художника (графъ Л. Н. Толстой), то кочующаго западника (И. С. Тургеневъ); но она была достаточно состоятельна и для того, чтобы освободить своего отпрыска отъ всякаго образовательнаго ценза, предоставить его собственному, самородному уму и ненаг

сытному чтенію, съ тѣмъ, чтобы увидѣть его потомъ въ званіи россійскаго академика (И. А. Бунинъ). Она собирала чудесныя библіотеки на четырехъ, пяти языкахъ, и больше, ¹) не думая о предстоящей имъ огненной гибели (1917 — 1919). Она сочетала міровую культуру съ русской душою и русской природою, навсегда привязывая своихъ питомцевъ къ Россіи и въ то же время открывая имъ пути для путешествій по всему міру. И въ эти путешествія они уносили душу, пробужденную къ созерцавтельности русскою природою; и, обогащенные, возвращались опять къ тому «творческому досугу», котораго Аристотель требовалъ для всякаго человѣка, «свободнаго по природѣ»...

Кто хочеть читать и разумьть Бунина, тоть должень почуять эту атмосферу русской усадьбы<sup>2</sup>) и уловить ея сложившееся за девятналиатый въкъ духовное наслъдіе: этотъ духъ скептическаго просвъщенія, офранцуженнаго аристократизма; эту струю небо-опустошающаго вольтеріанства <sup>8</sup>), съ его замѣчательной зоркостью къ злому началу въ человѣкѣ и съ его особою подслъповатостью къ божественному началу Добра; этотъ тонкій аромать разочарованнаго байронизма, съ его мрачной и горделивой, но пустоватой проблематикой и съ въчной тягой къ вольнодумству; эту ширину души, совмъщающую мысль со страстью, барское гостепримство, охоту и кутежъ съ народническимъ толстовствомъ, а толстовскую мораль съ въчя ною жаждою чувственнаго, и умственнаго, и созерцательнаго наслажденія, и съ дъйствительнымъ умѣніемъ наслаждаться; эту близость къ природѣ – и къ сумасшедшимъ метелямъ, 4) и къ пышнымъ листопадамъ,  $^{5}$ ) и къ нещадному солнцу  $^{6}$ ) и къ этой душемутительной откровенности скотнаго двора; 7) этоть чуткій и простосердечный, подходъ къ крестьянству, полный того обостреннаго интереса и дивованія, который характеризуетъ процессъ національнаго самоосознанія, ибо, поистинь, русская художественная литература, воспринимая и живописуя душу русскаго крестьянина, совершала актъ національнаго сая мопознанія и самоутвержденія.

Крестьянская стихія — воть, наряду съ усадьбой, второй истокъ творчества Бунина. Въ эту стихію онъ вжился во всей ея первоначальности; онъ принялъ въ себя весь ея первобытный отстой, съ его многовъковою горечью, съ его кръпкой ядреностью, съ его соленымъ юморомъ, съ его наивной непреодоглънно-татарскою жестокостью, съ его тягою къ несытому посяганию. Но крестьянская стихія не дала ему ограничиться этимъ: она заставила его принять въ свою душу и кое-что изъ тъхъ

¹) См. у Бунина «Начальная Любовь» стр. 22—23; «Жизнь Арсенье» ва» 136; и др.

<sup>2)</sup> Срв. напр. у Бунина: «Антоновскія Яблоки», «Въ полѣ», «Обуза», «Суходолъ», «Жизнь Арсеньева».

в) Срв. «долго упиваешься Вольтеромъ». «Начальная Любовь». 23.

<sup>4)</sup> Срв. «Лапти», «Сверчокъ».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Срв. «Листопадъ». <sup>6</sup>) Срв. «Солнечный ударъ».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) «Йгнать».

сокровенных залежей мудрости и доброты, свободы и богосозерцанія, которыя образують самую субстанцію русскаго народнаго духа. Пусть эти божественныя искры проносятся скупо и рѣдко черезъ художественную ткань Бунина; пусть онъ самъ опредѣляетъ ихъ съ нѣсколько вольтеріанскимъ высокомѣріемъ, какъ «изрѣкаемыя» «общія мѣста, мудрыя пошлости»; 1) пусть голосъ инстинкта слышится ему сильнѣе и достовѣрнѣе, нежели голосъ духа, — художест венная чест ность, столь характерныя для Бунина, заставили его воспринять и отмѣтить и эту сторону русской простонародной души. 2)

2.

Достаточно указать на эти основные истоки искусства Бунина для того, чтобы сблизить предположительно его художественный актъ съ актомъ Л. Н. Толстого. Эта близость имъется и въ самомъ дълъ; и притомъ она настолько существенна, что требуетъ аналитическаго вниманія.

Бунинъ близокъ къ Толстому во многихъ отношеніяхъ, не только по истокамъ своего творчества, но и по строе нію своего эстетическаго акта. Однако, эту близость отнюдь нельзя сводить къ «вліянію», «заимствованію» или «подражанію». Искусство Бунина—первоначаль но и самостоятельно; оно не живетъ чужими перепъвами и не нуждается въ этомъ; у него свое видъніе, свои образы и свои слова. И сопоставленіе его съ искусствомъ Толстого говоритъ гораздо больше о сходствъ, чъмъ объ ученическомъ отношеніи.

О своемъ исключительномъ, восторженномъ отношеніи къ Толстому Бунинъ разсказываетъ самъ въ своихъ воспоминанияхъ. В Это отношеніе отнюдь не случайно; оно имѣетъ серьезныя основанія. Здѣсь не только обще-литературное впечатлѣніе, но личный, творчески интимный откликъ не окрѣпшаго еще, одиноко слагающагося творчества — на проявленіе зрѣлаго, могучаго и притомъ художественно-сроднаго мастерства. То, что Бунину еще предносилось, на чемъ начинающій художникъ утверждаль свое искусство, но въ чемъ онъ именно поэтому не быль увѣренъ до конца, — в ѣ р н о ли вижу? м о ж н о ли такъ? у д а с т с я ли мнѣ это? — зрѣлый и могучій художеникъ развертывалъ въ цѣлый потокъ художественно убѣдительности и очевидности: «да, т а к ъ можно и должно! будь спокоенъ и увѣренъ: ты стоишь на вѣрномъ пути . . .» Мастерство

<sup>1) «</sup>Странствія». Стр. 140.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Срв. «Божье Древо», «Поруганный Спасъ», «Обуза», «Въ саду».
 <sup>3</sup>) См. «Толстой» въ сборникѣ «Божье Древо», стр. 158 — 170.

Толстого какъ бы удостовъряло Бунина, укръпляло и творче ски развязывало его, обнадеживая и какъ бы «помазуя» его на самостоятельное художественное творчество. Въ этомъ — смыслъ ихъ духовной связи.

Однако водительнымъ и предобразующимъ былъ для Бунина не позднъйшій, перестроенный и обновленный актъ Толстою по — моралиста, а первозданный актъ Толстого — художника, эпически созерцающаго и лирически живописующаго. Моральносоціальное «толстовство», которымъ Бунинъ увлекся сначала съ юношеской беззавътностью 1), было скоро преодольно и отброшено. Именно не этотъ актъ былъ близокъ Бунину; не онъ былъ узо-развязующимъ для его собственнаго творчества. Толюстой былъ близокъ ему, какъ я с н о в и д е ц ъ и ж и в ою п и с е ц ъ ч е л о в в ч е с к а г о и н с т и н к т а.

Замъчательно, что во всъхъ величайшихъ произведеніяхъ Толстого, герои его суть по большей части люди инстинктивные, пребывающіе и цвътущіе въ инстинкть со всей наивной непосредственностью; и притомъ такъ, что чѣмъ пѣлостнѣе они пребывають въ этой біологической непосредственности, - тъмъ убъ дительные становится искусство Толстого, тымь выше оно поднимается, темъ проникновенные и монументальные оказываются его герои во всей ихъ наивной, стихійной элементарности, иногда — въ ихъ массовой первобытности. Именно въ этой сферѣ искусство Толстого становится соверщеннымъ, безспорнымъ, классическимъ. Наоборотъ, всъ инстинктивно-нецъльные, раздя военные герои Толстого, видятся и изображаются имъ самимъ раздвоенно: художественный актъ его теряетъ свою необоримую силу, инстинктивная интуиція оттъсняется внъшнимъ наблюденіемъ, геній отступаетъ передъ натискомъ разсудка и эмпириче скаго «ума», и Толстой становится подчасъ неузнаваемъ. Эти резонирующіе и томительно морализирующіе интеллигенты — Пьеръ Безухой, Левинъ, Нехлюдовъ, Николенька Иртеньевъ въ «Юности», а до извъстной степени и скучающій отъ своего сухого и пустого ума Андрей Болконскій. — созданы другимъ художественнымъ актомъ, чьмъ тотъ, который даль русской литературѣ Ерошку, Хаджи - Мурата, и ихъ свътскіе отблески – семью Ростовыхъ, особенно Николая и Наташу, Анатоля Курагина, Стиву Облонскаго, Вронскаго и Анну Каренину. Толстой быль на высотъ своего художественнаго творчества и счастья именно тогда, когда живописаль людей цѣльнаго инстинкта: онъ зналъ ихъ и показывалъ ихъ, ихъ с а м и х ъ, съ силой таинственной подлинности и объективна го присутствія. Онъ переживаль ихъ актомъ цѣлостнаго инстинкта, обычно вив морали и рефлексіи; и они выходили у него не думающіе, не морализирующіе, иногда просто а-моральные, цьлостные во всей своей обаятельной непосредственности, бездонные въ инстинктъ, но совсъмъ лишенные, или почти лишенные духовнаго измъренія. Й стиль его становился естественнымъ и легкимъ, изящнымъ и живописующимъ, влюбленно-забвеннымъ,

<sup>1)</sup> Тамъ же. 161 — 164.

какъ бы инстинктивно-природнымъ . . . Напротивъ, — раздвоень ныхъ интеллигентовъ онъ переживалъ актомъ наблюдающей за собой моральной рефлексіи, актомъ резонирующаго проповѣдь ника, придирчиваго расцѣнщика «добра» и «зла»; и самый стиль его пріобрѣталъ черты его позднѣйшихъ «философическихъ» писаній: онъ становился тяжелымъ, вымученнымъ, скрипучимъ, переснащеннымъ, спотыкающимся, оговаривающимся забѣгаюь щимъ во всѣ ненужные боковые переулки, застрѣвающимъ въ своихъ собственныхъ баррикадахъ . . .

Какъ же обстоитъ дѣло у Бунина?

Бунинъ—поэтъ и мастеръ внѣшняго, чувоственнаго опыта. Этотъ опыть открыль ему доступъ къжизни человъческаго инстинкта, но затрудниль ему доступъ къжизни человъческаго духа. Зоркость и честность вйдънія привели его кътакимъ обстояніямъ вънъдрахъ инстинкта, видъть которыя нельзя безъ содраганія. Содрогнувшійся поэтъ научился отвлеченному наблюденію и анатоміи и сталь объективнымъ анатом момъ человъческаго инстинкта.

Бунинъ знаетъ эту особенность своего художественнаго акта; но говоритъ о ней такимъ тономъ, какъ если бы всякій художникъ, какъ таковой, имълъ одну единую задачу, главную и единственную: видъть внѣшній міръ исквозящую черезъ него жизнь инстинкта, и ихъживописать.

Бунинъ близокъ Толстому по строенію своего художест веннаго акта; и самъ знаетъ объ этомъ. Онъ близокъ къ нему въ двухъ различныхъ смыслахъ. Это есть прежде всего п ог д обі е, с х о д с т в о двухъ самостоятельныхъ мастеровъ. Это подобіе привело въ дальнъйшемъ къ извъстному ограничен ному в л і я н і ю Толстого, которое лишь въ ръдкихъ случаяхъ можетъ быть обозначено, какъ п о д р а ж а н і е.

Художественный актъ Бунина есть исконно и органически актъ внѣшняго опыта, 1) актъ чувственнаго воспріятія, созерца: нія и воображенія и, соотв'єтственно этому, актъ инстинктивнаго художника, раскрывающій ему жизнь человьческаго инстинкта. Въ этомъ онъ близокъ Толстому; но этимъ его близость и ограничивается. Толстой очень хорошо знаеть стихію человъческой матеріальности, тълесности, чувственности, инстинка туозности; онъ умъетъ пребывать в ней и въщать изъ нея; но самъ онъ, какъ художникъ, почти никогда не уходитъ въ нее цъликомъ, не становится ея покорнымъ медіумомъ; онъ подобно Святогору ушелъ въ землю, но не болъе, чъмъ по поясъ. Бунинъ же обычно уходитъ въ эту стихію ціликомъ и неріздко становится ея чистымъ и простымъ художественнымъ медіумомъ. Для Толстого инстинктъ есть источникъ моральнаго заболъванія: онъ противится этой темной силь и совъсть разътдаетъ цъльность его художественнаго акта угрызеніями и рефлексіей. Художественный актъ Бунина не подвер-

<sup>1)</sup> См. Введеніе.

женъ этому; онъ мужественно пребываетъ въ инстинктѣ, и кладнокровно, съ неумолимой объективностью развертываетъ изъ него свои видѣнія. Толстой поэтъ инстинкта; Бунинъ его анатомъ. Толстой знаетъ положительныя силы инстинкта, его здоровыя, творческія проявленія. Бунинъ созерцаєть преимущественно слѣпую власть инстинкта 1), его разрушительные порывы, его больныя, смятенныя судороги. 2) Толстой показываетъ не только нравственные провалы инстинкта («Власть Тьмы»), но и его зиждущій, живой «этосъ», развертывая его въ великую національную панораму («Война и Миръ»). Бунинъ сосредоточенъ почти исключительно на донрав с т в е н ны хъ с т р у я хъ и н с т и н к та, онъ н е живописуетъ его с о з и дат е ль и ы хъ, б лаг и хъ с и лъ и ограничивается при этомъ и н д и в и д у а ль ными с о б ы т і я м и.

При такой творческой самобытности и самостоятельности. Бунинъ моментами все же подчиняется стихійно въющему на него дыханію Толстого и тогда приходится говорить не только о «близости» или «подобіи», но просто о вліяніи. Иногда Толстой овладъваетъ имъ въ силу глубокихъ основаній, скрытыхъ въ самой художественной задачь произведенія. Такъ обстоить, напримърь, въ «Митиной Любви», гдъ Бунину приходит» ся изображать внутренно-раздвоенную душу внъшне-опытнаго воспріятія, негероя — силами призваннаго и неприспособленнаго къ этому дѣлу; это дѣлаетъ неизбъжнымъ восполнение внъшне-показывающа го пріема — аналитической рефлексіей, не показывающей душу героя, а только сообщающей о томъ, что происходило въ его душѣ; вслѣдствіе этого актъ Бунина невольно при ближается къ рефлектирующему акту Толстого и цълыя фразы, по толстовски переобремененныя и неясныя, слетають на страницы Бунина. Иногда духъ Толстого овладъваетъ Бунинымъ внезапно, обычно въ этой, столь характерной для Толстого, морально-разоблачительной установкъ, которая заставляетъ его называть всѣ вещи по ихъ прозаическому имени и, какъ бы «раз≠ дѣвая» ихъ, щеголять чрезмѣрной, аффектированной точностью описанія <sup>3</sup>) . . . И только одинъ единственный психологиче»

<sup>1)</sup> Напр.: «Грамматика Любви», «При Дорогѣ», «Легкое Дыханіе», «Сынъ», «Метеоръ», «Солнечный Ударъ», «Мордовскій Сарафанъ», «Митина Любовь», «Іоаннъ Рыдалецъ», «Слава», «Аглая», «Суходолъ» и др.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Напр.: «Игнатъ», «Дѣло Корнета Елагина», «Страшный Разсказъ», «Я все молчу», «Деревня», «Весенній Вечеръ», «Казимиръ Станиславовичъ», «Петлистыя Уши», «Ермилъ», «Ночной Разговоръ», «Веселый Дворъ» и др.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Приведу примѣръ изъ разсказа Бунина «Господинъ изъ С. Франциско». Властно сдержанный, какъ бы замороженный духъ обличенія, породившій этотъ разсказъ, внезапно прерывается такимъ, чисто толстовскимъ эксцессомъ посвященнымъ императору Тиберію: «На этомъ островѣ, двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, жилъ человѣкъ, совершенно запутавшійся въ своихъ жестокихъ и грязныхъ поступкахъ, который почему то забралъ власть надъ милліонами люрей и который, самъ растерявшись отъ безсмысленности этой власти и отъ страха, что кто-нибудь убъетъ его изъ-за угла, надѣлалъ жестокостей безъ всякой мѣры — и человѣчество навѣки запомнило его и тѣ, что въ совокупном

скій набросокъ («Старуха» въ сборникъ «Роза Іерихона») могъ бы дать строгому критику основаніе заговорить о дъйствитель номъ «подражаніи» Толстому.

Въ пониманіи Бунина великіе мыслители и художники, — онъ называетъ единымъ духомъ Будду, Соломона и Толстого, ¹) — суть «люди райски чувственные въ своемъ міроощущеніи, но, увы, Рая уже лишенные». ²) Это — «люди, одаренные великимъ богатствомъ воспріятій», «люди мечты, созерцанія, удивленія себѣ и міру». ³) «Богатство способностей, талантъ, геній» — есть для Бунина не что иное, какъ «богатство ... отпечатковъ (и наслѣдственныхъ, и благопріобрѣтенныхъ)», остающихся въ человѣкѣ отъ того, чѣмъ онъ жилъ и чѣмъ жили его предки, и сохраняющихся въ немъ «какъ бы на какихъ то несмѣтныхъ, без конечно-малыхъ, сокровеннѣйшихъ пластинкахъ» ... ⁴) Къ это му богатству отпечатковъ присоединяется особая «чувствитель ность» ихъ и «количество ихъ проявленій» ... ⁵) Такіе люди суть одновременно «великіе мученики» и «великіе счастлив цы», 6 и ... на по м и на ю тъ го р и л лъ.

«Гориллы въ молодости, въ зрѣлости страшны своей тѣлес» ной силой, безмърно чувственны въ своемъ міроощущеніи, безпощадны во всяческомъ насыщении своей плоти, отличаются крайней непосредственностью, къ старости же становятся нерья шительны, задумчивы, скорбны, жалостливы... Какое разительное сходство съ Буддами, Соломонами, Толстыми! И вообще, сколько можно насчитать въ царственномъ племени святыхъ и геніевъ такихъ, которые вызывають на сравненіе ихъ съ гориллами даже по наружности! Всякій знаеть бровныя дуги Толстого, гигантскій рость и бугорь на черепь Будды и припадки Магомета» . . . <sup>7</sup>) «Всѣ эти Соломоны и Будды сперва съ великой жадностью пріемлють мірь, а затімь сь великой страстя ностью клянуть его обманчивые соблазны»... 8) Эти особые люди, «которыхъ называють поэтами, художниками», обладаютъ «способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другія, чужія, не только самого себя, но и прочихъ, то есть, какъ принято говорить, способностью перевоплоще≠ нія, и, кромѣ того, особенно живой и особенно образной (чувственной) памятью». 9)

Оставимъ въ сторонѣ вопросъ, почему Бунинъ выбралъ именно Толстого, Соломона, Будду и Магомета и нар

сти своей, столь же непонятно и, по существу, столь же жестоко, какъ и онъ, властвуютъ теперь въ мірѣ, со всего свѣта съѣзжаются смотрѣть на остатки того каменнаго дома, гдѣ жиль онъ на одномъ изъ самыхъ крутыхъ подъемовь острова». Стр. 37—38. Срв. также описаніе деревенскихъ похоронъ въ разсказѣ «Веселый Дворъ» («Крикъ». 270); а также «Роза Іерихона» 179. «Божіе Древо» 84.

<sup>1) «</sup>Цикады». Сб. «Солнечный ударъ», стр. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же. 127—128. <sup>6</sup>) Тамъ же. 121.

<sup>8)</sup> Тамъ же. 127. <sup>7</sup>) Тамъ же. I22.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Тамъ же. 123—124. <sup>8</sup>) Тамъ же. 121. <sup>5</sup>) Тамъ же. 123—124. <sup>9</sup>) Тамъ же. I21.

сколько онъ правъ характеризуя ихъ творческій актъ именно такъ. Установимъ только, что въ этомъ философически-біограрическомъ наброскъ («Цикады»), являющемся образцомъ особой литературной формы «мечтанія», — онъ говорить о самомъ себъ, освъщая изъсвоего творческаго акта, жизринное дъло тъхъ, кого онъ считаетъ (правильно или неправильно) особенно близкими себъ. Свое творческое побужденіе онъ въ дальнъйшемъ характеризуетъ такъ:

«Кто и зачъмъ обязалъ меня безъ отдыха нести бремя, тягостное, изнурительное, но неотвратимое, — непрестанно высказывать свои чувства, мысли, представленія, и высказывать не просто, а съ точностью, красотой, силой, которыя должны очагровывать, восхищать, давать людямъ печаль или счастье? Къмъ и для чего вложена въ меня неутолимая потребность заражать ихъ тъмъ, чъмъ я самъ живу...?» 1) Эта потребность столь первоначальна, исконна, что поэтъ испытываетъ ее, какъ уходящую въ глубину родового начала. «Даже и въ древнъйшіе дни мои, тысячи лътъ тому назадъ, мърно говорилъ я о шумъ моря, пъль о томъ, что мнъ радостно и горестно, что синева небесъ и бълизна облаковъ далеки и прекрасны, что формы женскаго тъла мучительны своей непостижимой прелестью»...²)

Бунинъ — поэтъ большого, тонкаго ума и самосознанія. Въ этихъ признаніяхъ онъ поднимается до большой зоркости и точности въ характеристикъ с в о е г о а к т а.

Художественный акть его состоить въ чувственя номь воспріятіи и чувственномь изображеніи воспринятаго. Требованія, которыя онь себь ставить, суть — точность, красота и сила, способныя заражать другихь тюмь, чюмь онь самь живеть. Условіемь для исполненія этихь требованій является: райская чувственность міроощущенія; непосредственность и ненасытность въ наполненіи своей образной, чувственной памяти; богатство и чувствительность этихь чувственных ь отпечатковь. «Сь годами» у такихь людей «возрастаеть религіозность», «то есть, страшное чувство своей связанности со Всебытіемь — и неминуемаго въ немь исчезновенія». В

Не будемъ поднимать вопросъ о томъ, религіозность ли это, и въ чемъ состоитъ настоящая религіозность. Бунину дъйствительно присуще это чувство, именно какъ страшное чувство, уводящее его въ глубину тем наго, родового и всем ірнаго опыта, того опыта, изъ котораго Шопенгауэръ почерпнуль свое ученіе о темной воль, какъ субъстанціи міра, а Эдуардъ фонъ Хартманъ— свое ученіе о Безсозвательномъ.

Художественный актъ Бунина таковъ, какимъ онъ самъ его осозналъ и описалъ. Этотъ актъ присущъ не только Бунину,

<sup>1)</sup> Тамъ же. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>) Тамъ же. 128.

<sup>8)</sup> Тамъ же. 122.

но и другимъ, близкимъ къ нему, внѣшне-опытнымъ художникамъ. Есть однако множество художниковъ, когорымъ такое строеніе акта не присуще.

Это акть естественнаго, природнаго чело: въка, плъненнаго природою и выходящаго изъ нея лишь на» столько, насколько это необходимо, что бы описать и выразить ее. Это актъ существа, живущаго прежде всего и больше всего и нстинктомъ во всей его первобытной цъльности, непосредственности, несломленности, родовой-предковой древности, наивности и жестокости; можетъ быть – первозданности, дикости, свиръпости... То, что Бунинъ видитъ и описываетъ, соотвът» ствуетъ именно такому опыту и воспріятію: это есть или приз рода, внъшняя человъку, - пространственное инобытіе; или же человѣкъ, оставшійся природою — «homo sapiens», прикрытый оболочкою цивилизованнаго быта; біологическая особь еще не ставшая лич» н о с т ь ю. И зам'ячательно: чізмъ полніве человівкь остался природою, тъмъ точнъе, убъдительнъе, разительнъе искусство Бунина; тъмъ болъе пронизывающе и потрясающе оно дъйствуетъ на душу читателя.

Какъ художникъ чувственнаго естества, Бунинъ не касается всъхъ духовныхъ раздвоеній и всей драматической и трагической пробле матики, которая изънихъ возникаеть. Онъ знаетъ ее; только мыслью, философиче: но касается ея скимъ изумленіемъ и обобщеніемъ, не включеннымъ въ художественную ткань. Его искусство молчить о ней. Всв проблемы борьбы съ инстинктомъ, возникающія изъ чувства стыда, запрета и отвращенія; всѣ проблемы его обузданія, одольнія, укрощенія, одухотворенія, духовнаго осмысленія и оправданія - остаются чуждыми его искусству: проблемы инстинкта и духа, пола и аскеза, чувственности и гръха, сломленнаго страданія и праведническаго паренія, порока и добродътели, возможной побъды надъ плотію и духа надъ похотью... Объ этомъ пареніи, которое можеть очистить инстинктъ, примирить его съ духомъ, такъ, что иня стинктъ радостно понесетъ духовную силу и будетъ творчески служить ему — искусство Бунина безмолвствуеть. \*) Выражаясь въ категоріяхъ живописи итальянскаго возрожденія, можно сказать: проблематика Боттичели — не существуеть для Бунина; а изъ проблематики Лео нардо да Винчи - онъ знаетъ, какъ рѣдко кто, сферу зоологической грѣшности, но опыть святости, (доступный великому Леонардо), ему невъдомъ.

За исключеніемъ нъсколькихъ, мастерскихъ и прелестныхъ набросковъ, какъ бы выхваченныхъ изъ записной книжки, — все остальное искусство Бунина по существу своему до-духовно. Онъ остался почти свободнымъ отъ той сентименхальной морали, въ которую Толстой спасался отъ страха и гръ

<sup>1)</sup> Кажущимся исключеніемъ является разсказъ «Аглая».

ха темнаго инстинкта. Бунинъ остался въренъ естественному, свободному инстинкту. Движимый моральными соображеніями, Толстой воспретиль себѣ самоцѣнную красоту, наслажденіе ею, служение ей. У Бунина иначе: ему больше всего говорить именно естественная природная красота, какъ таковая, и самоцънное пребываніе въ ней. Въ «неустанныхъ скитаніяхъ» и «нена» сытныхъ воспріятіяхъ» своей жизни 1) Бунинъ голодаетъ по ней въчно, неутолимо, какъ нъкій сказочный «ненаъда». И смыслъ его жизни — въ воспріятіи этой чувственной красоты и въ литературномъ изображеніи ея — не у е м н о м ъ, самолов: льющемъ.

Здъсь – основное побуждение его творчества, и, какъ онъ самъ говоритъ о себъ – даже его жизни...

Еще маленькимъ мальчикомъ онъ живетъ, истаивая въ сладости отъ созерпанія природы.

«Что, какъ сонъ, помню я? Вотъ вечерветъ прекрасный льтній день. Солнце ужъ за домомъ, за садомъ, пустой, широкій дворь въ тыни, а я (совсымь, совсымь одинь въ міры) лежу на его зеленой холодъющей муравъ, глядя въ бездонное синее небо, какъ въ чьи то дивные и родные глаза, въ отчее лоно свое. Плыветь и, круглясь, медленно меняеть очертанія, таеть въ этой вогнутой синей безднъ высокое, высокое бълое облако... Ахъ, какъ все-таки разъединенъ я съ нимъ! Какая томя щая красота! <sup>2</sup>)

Именно въ такія минуты, въ одинокомъ и самозабвенномъ, насыщенномъ и духовно-безпредметномъ созерцаніи пробуждаля ся въ душъ и слагался актъ взрослаго художника, который на ходиль себя въ этомъ упоеніи. И понятно, что послѣ такого упоенія остальное дѣтство можетъ дѣйствительно казаться «временемъ несчастнымъ, болѣзненнымъ, чувствитель» нымъ, жалкимъ» . . . . в Экстазы не длятся вѣчно; а кто вку» силъ ихъ разъ, для того томительно меркнетъ остальное... Эти поэтическіе экстазы были связаны именно съ чувственнымъ опытомъ; они рождались при воспріятіи внѣшняго міра, его вещества, его формъ. «О, какъ я уже чувствоваль это божествен» ное великольпіе міра и Бога, надъ нимъ царящаго и его создав: шаго съ такой полнотой и силой вещественности»... 4) Воть онь ѣсть на огородѣ «шершавые и бугри» стые огурчики» и «за этой трапезой» «пріобщается самой земли, всего того чувственнаго, вещественнаго, изъ чего созданъ міръ». <sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> См. предисловіе — факсимиле къ сборнику «Крикъ».

<sup>2) «</sup>Жизнь Арсеньева». 13.

<sup>8) «</sup>Жизнь Арсеньева». 12. 4) «Жизнь Арсеньева». 25 — 26. Курсивъ мой. 5) «Жизнь Арсеньева». 25, срв. 26.

Вотъ онь трогаетъ «бѣлый клинокъ» «стараго охотничьяго кинжала»: «Какой сладострастный восторгъ охватывалъ меня тогда при одномъ прикосновеніи къ этой гладкой, холодной, острой стали! Мнѣ хотѣлось поцѣловать, прижать ее къ сердцу и затѣмъ во что нибудь вонзить, всадить по рукоятку»...¹) «При видѣ всякаго стального оружія я до сихъ поръ волнуюсь—и откуда они у меня, эти чувства?²)

Эти первобытныя чувства овладъвали имъ и въ дътствъ.

«Помню, дворъ былъ пустъ, въ домѣ почему то было тоже пусто и тихо, и вотъ я внезапно увидѣлъ большую и очень черную птицу, которая куда то спъшила, бокомъ, неловко, распустивъ повисшее крыло, прыгала по травѣ по направленію къ ам= барамъ. Я кинулся въ кабинетъ, схватилъ кинжалъ, выскочилъ въ окно . . . Грачъ, когда я настигъ его, вдругъ замеръ съ ужасомъ въ дикомъ блестящемъ глазу, откинулся въ сторону, прижался къ земль, весь яростно нахохлился и, широко раскрывъ и поднявъ клювъ, ощерясь, зашипълъ, захрипълъ отъ злобы, рѣшивъ драться со мной, видимо, не на животъ, а на смерть... Убійство, впервые въ жизни сод'вянное мною тогда, оказалось для меня цълымъ событіемъ, я нъсколько дней посль того ходилъ самъ не свой, втайне моля не только Бога, но и весь міръ простить мнъ мой великій и подлый гръхъ ради моихъ великихъ душевныхъ мукъ. Но въдь я все таки заръзалъ этого неся частнаго грача, отчаянно боровшагося со мной, въ кровь изодравшаго мнъ руки, и заръзалъ съ страшнымъ удовольствіемъ» ...<sup>8</sup>)

Разсказъ, превосходный въ своей простотъ, картинности и искренности, показываетъ, между прочимъ, насколько душа человъка не сводима къ его художествень ному акту. Грача заръзалъ «съ страшнымъ удовольствемъ» не Бунинъ, а тотъ инстинктъ, изъ котораго потомъ возникъ его художественный актъ, творящій его искусство; Бунинъ каялся, а инстинктъ наслаждался: это онъ взорвался первобыть ной, охотничьей жаждой крови и потрясъ духовное существо человъка...

Этотъ инстинктъ «полонъ жаднаго любопытства ко всему и ко всѣмъ». <sup>4</sup>) Это онъ «все видитъ, все замѣчаетъ и чувстреуетъ»; <sup>5</sup>) и ненасытно, безконечно путешествуетъ по лицу земли. Онъ видитъ внѣшнюю природу — и сливается съ нею; онъ «чувствуетъ свое кровное родство» съ нею, <sup>6</sup>) — будь это гора, или долина, птица или звѣрь. Когда онъ ѣдетъ верхомъ, онъ сливается съ лошадью въ единое существо и говоритъей: «О красавица, умница, любимая моя! Какъ передать словами нашу съ тобой близость, нашу любовь, — н ѣ тъ т о ны

<sup>1) «</sup>Жи»нь Арсеньева». 46.

<sup>2) «</sup>Жизнь Арсеньева». 47.

в) «Жизнь Арсеньева». 47.

<sup>4) «</sup>Жизнь Арсеньева». 233.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) «Роза Іерихона», стр. 67.

ше, таинственнъй и чище этой любви, 1) на въки безмолвной, на въки върной, не обманывающей, любви между челов комъ и животнымъ! И какъ постигнуть все то несказанное, все то какъ будто несуществующее, не имъющее ни образа, ни имени, ни на что въ мірѣ не похожее и однако такое сущее, съ такой остротой ощутимое, что есть между мной и между этимъ, столь для меня въ сущности непонятнымъ и даже ужаснымъ четвероногимъ твореніемъ, съ которымъ я почти одно?» 2) Именно изъ такого первобытнаго, всадническиинстинктивнаго опыта родился некогда мифъ о кентаврахъ...

Это не просто «вліяніе» природы на челов'яка, о которомъ Бунинъ вздохнулъ однажды, обобщая: «первобытно подверженъ русскій челов'єкъ природнымъ вліяніямъ»...<sup>8</sup>) Это – худо жественный возврать инстинкта къ приро дѣ, погруженіе его въ древнее лоно матея ріальнаго естества, сращеніе съ нимъ, сліяніе съ его великимъ «Всебытіемъ»... Художественный актъ Бунина и актъ земной плоти: «безъ земной плоти» ему «слишкомъ жутко въ этомъ мірѣ»; 4) и именно этотъ актъ «ищетъ опьяненія въ созерцаніи земли». 5) И если Бунинъ говорить о Богь, то онъ разумьеть именно и только того Бога, который создаль этоть чувственный мірь «сь такой полнотой и силой вещественности»...

Таковъ художественный актъ Бунина въ его общемъ очертаніи: внъшній опыть воспріемлеть чувственныя содержанія міра и, сочетая ихъ въ яркіе образы, показываетъ – то и х ъ самихъ въ ихъ естественной самоценности, то черезъ нихъ ть душевныя содержанія, которыя въ нихъ выражаются и сквозь нихъ могутъ быть уловлены и описаны; но - н е болће.

Обратимся теперь къ детальному строенію этого самобыт: наго и остраго, но далеко не «всемогущаго», какъ думаетъ Бунинъ, 6) художественнаго акта.

Акть внъшняго опыта живетъ – зръніемъ, обоняніемъ, слухомъ, вкусомъ, осязаніемъ и пространственнымъ воображея

Такъ Бунинъ прежде всего мастеръ внѣшняго зрѣнія. Онъ видить тълеснымь глазомь – точно, остро, тонко, обычно «въ фокусѣ». Онъ оптическій мастеръ, живописецъ сло-

Подчеркнуто мною. И. А. И.
 «Звѣзда любви». 145 — 146: Сборн. «Роза Іерихона».
 «Жизнь Арсеньева». 108.
 «Звѣзда любви». 146. Сборн. «Роза Іерихона».

<sup>5)</sup> Раннее собраніе сочиненій года. Томъ IV, стр. 129

ва; его искусство напоминаетъ моментами тѣ впечатлѣнія, которыя намъ даетъ бинокль Цейса, подзорная труба, волшебный фонарь или мѣтко снятая кино-лента. Вотъ нѣсколько образриовъ.

«Поляна глухая въ глубокомъ снъту. Надъ головою уже совсъмъ по ночному блещетъ луна, тъни межъ сосенъ черны, четки, на краю поляны тонетъ въ сугробахъ черная изба безъ оконъ, снъжная, пухлая крыша ея вся играетъ бълыми и синими брилліантами. Тишина мертвая»...¹)

Это — почти зрительный эксперименть: звуки погашены, запаховь нъть, видять одни глаза...

Вотъ осенній, утренній морозъ говоритъ глазу въ двухъ строкахъ: «Морозъ солью лежалъ на травѣ, на сизо - зеленыхъ раковинахъ капустныхъ листьевъ, раскиданныхъ по двору». <sup>2</sup>)

Вотъ эффектъ свъта, темнаго пространства и движенія: «Автомобиль несется по раскату шоссе внизъ, взмываетъ на подъемъ, упираясь свътлыми столпами въ какой то кустарникъ и опять смахиваетъ ихъ въ сторону, роняетъ въ темноту новаго спуска». 3)

О чемъ бы Бунинъ не повъствовалъ, онъ прежде всего вдвигаеть въдушу читателя зрительный образъ. — поче ти всегда прекрасный, когда рвчь идеть о природв, властно-картинный, но часто отталкивающій, мутительно-томящій, когда рвчь идеть о людяхъ. Читать Бунина — значить жить «во всю» зрительнымъ воображеніемъ и неръдко чувствовать, что оно при всемъ своемъ напряжении не успъваетъ схватить, осущест= вить, покрыть весь тоть потокъ зрительныхъ образовъ, который неудержимо льется въ его душу. Ибо Бунинъ, описывая, неръдко даетъ волю в сем у потоку виденій, его одержащему, не считаясь съ возможнымъ безсиліемъ или медленностью воображенія въ душѣ читателя... Онъ щедръ, неистощимъ; онъ хо четъ быть точенъ и исчерпывающъ; и не связываетъ себя въ описаніяхь закономь художественной міи, 4) требующимъ бережливаго отношенія къ объему и силамъ читательскаго вниманія. <sup>5</sup>)

Той же остротой и точностью отличается у Бунина маго обоняеть мірь всегда и вездѣ; онъ слышить и передаеть запахи — и дивные, и отвратительные, и утонченные, и непередаваемо-сложные. Онъ умѣетъ показать вещь черезъ ея запахъ съ такою яркостью и силой, что образъ ея какъ бы вонзается въ душу. Бунинъ в дыга етъ міръ; онъ нюхаетъ его и даритъ его запахи читателю; и міръ благоухаетъ или смердитъ ему. Иногда онъ описываетъ

<sup>1) «</sup>Метеоръ» 101. Сб. Грамматика Любви».

<sup>2) «</sup>Послѣднее Свиданіе» 12. Сб. «Послѣднее Свиданіе».

<sup>3)</sup> Сб. «Роза Іерихона». 95.

 $<sup>^4</sup>$ ) См. въ моей книгѣ «Основы художества. О совершенномъ въ искусствѣ». Глава 11, стр. 156 — 163.

 $<sup>^{5})</sup>$  Срв. напр. превосходное описаніе осенняго парка и гибнущаго стольтняго клена. «Жизнь Арсеньева», 120-121. Или описаніе весны въ деревнъ «Митина Любовь» стр. 30-32.

этотъ запахъ по содержанію, а иногда просто относить его къ вещи, предоставляя читателю вспоминать его самостоятельно.

«И сладко, лісомъ, цвітами, травами пахнеть легкій холо» докъ зари». 1)

«Помню тонкій аромать опавшей листвы и запахь антонов» скихъ яблокъ, запахъ меда и осенней свѣжести». 2)

«Войдешь въ домъ и прежде всего услышишь запахъ яб» локъ, а потомъ уже другіе: старой мебели краснаго дерева, сушенаго липоваго цвъта, который съ іюня лежить на окнахъ»... <sup>3</sup>)

«Крыпко пахнеть оть овраговь грибной сыростью, перег» нившими листьями и мокрой древесной корою». 4)

«Въ запертыхъ сѣняхъ пахнетъ псиной». 5)

Особенный запахъ у мълкопомъстнаго дворянина: отъ него пахнетъ «порохомъ и лошадью». 6)

«Поднявшись на крыльцо» (церкви) «слышу тотъ сложный и холодный особый запахъ, что бываетъ только на папертяхъ русскихъ церквей, ранней русской весной». 7)

«Сладко пахнеть въ Италіи земля послѣ дождя, и свой, особый аромать есть у каждаго ея острова». 8)

Воть телята въ катухъ: отдавало отъ нихъ запахомъ мокя рой коровьей шерсти, молокомъ парнымъ, какимъ то утробнымъ тепломъ». <sup>9</sup>) А вотъ смѣшанное злоуханіе шорной мастерской въ усадьбѣ. <sup>10</sup>)

А запахи вагоновъ, станціонныхъ буфетовъ... 11) «Вода пахнеть ужами»...<sup>12</sup>) Отъ «Сверчка» «пахло... махоркой, кожей и еще чемъ то острымъ, какъ отъ всехъ стариковъ, купающихся два-три раза въ годъ»... <sup>13</sup>) Вотъ еще разительный переходъ отъ «особаго, уъзднаго, стараго зловонія отхожаго мь ста въ непроглядномъ мракъ въ сънцахъ» къ «свъглой, людной и теплой кухнь, густо пахнущей жирной горячей солониной и ужинающими мужиками». <sup>14</sup>) Мы найдемъ у Бунина цълый на-боръ запаховъ деревенской лавки, <sup>15</sup>) запахъ трактира, <sup>16</sup>) ярмарки, <sup>17</sup>) разгоряченнаго тъла бъгущаго рикши въ Коломбо... <sup>18</sup>) «Какой то особый вкусный запахъ у этихъ тарантасовъ: мягкой кожи, лакированныхъ крыльевъ, теплой колесной мази, перемѣ:

<sup>1) «</sup>Роза Іерихона». 142.

<sup>2) «</sup>Начальная Любовь». 7.

в) «Начальная Любовь». 16.

<sup>4) «</sup>Начальная Любовь». 21.

<sup>5) «</sup>Начальная Любовь». 26.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Тамъ же.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) «Роза Іерихона». 68.

<sup>8) «</sup>Господинъ изъ С. Франциско». 24. 9) «Игнатъ». 34. Изъ сборника «Крикъ».

<sup>10) «</sup>Сверчокъ». 205. Изъ сборника «Крикъ».

<sup>11) «</sup>Жизнь Арсеньева». 138.

<sup>12) «</sup>Божье Древо». 142.

<sup>13) «</sup>Сверчокъ». 208. Изъ сб. «Крикъ»; срв. «Ночной разговоръ». 178.

<sup>14) «</sup>Жизнь Арсеньева». 190.

<sup>15) «</sup>Деревня». 37. 16) «Деревня». 126.

<sup>17) «</sup>Подторжье». 169. Изъ сборника «Митина Любовь». 18) «Братья». 72. Изъ сб. «Чаша жизни».

шанной съ пылью»...¹) И въ довершеніе — запахъ покойника, «тоть ужасный, ни на что въ мірь не похожій запахь, который все утро сводилъ меня съ ума возл'в гроба», а потомъ, «особен» но возбуждающе мъшался съ сыростью еще темныхъ отъ воды половь и съ весенней свъжестью, отовсюду въявшей въ домъ»... 2)

Бунинъ знаетъ, что сосредоточившійся и «забывшійся» человъкъ теряетъ обоняніе». 3) Онъ знаетъ и силу обонянія въ любя ви: «и я слышу всь ея запахи-дыханія, волось, тьла, платья»... 4) Онь запоминаеть навсегда запахъ «ея» духовь отъ своей первой влюбленности или запахъ окрестностей при свиданіи съ ней... <sup>5</sup>) Ея рука «пахнетъ загаромъ»; 6) или еще: «запахъ ея платка, волось, луковый запахь всего ея тела, смешанный съ запахомъ избы, дыма - все было до головокруженія хорошо и Митя понималь, чувствоваль это»  $^{7}$ ) . . . И наконець — запахь любимой лошали: «И я обнимаю и цълую сильную атласную шею своей безсловесной возлюбленной, чтобы слышать ея грубый запахъ, чтобы чувствовать земную плоть, потому что безъ нея, безъ этой плоти, мнъ слишкомъ жутко въ этомъ міръ»... 8)

Бунинъ не просто чуетъ запахи вещей; онъ ихъ «слышитъ», онъ черезъ нихъ видитъ вещь и показываетъ ее, онъ осязаетъ ее и даетъ потрогать другимъ. Образы обонянія прокрадываются въ самое чувствительное мѣсто чувствен= ной души, поють ей, или же волнують ее, мутять, обжигають, вызывають въ ней ужась и отвращение... <sup>9</sup>) Настоящее торжество чувственнаго опыта надъ всемъ объемомъ и всеми силами человъческой души...

Нельзя не отмътить, далье, звуковое мастерство Бу» нина. Опять то же умъніе — изобразить вещь черезъ ея звукъ, дать ошутить ея присутствіе съ силою полной наглядности; и не только — вещь, а цѣлую совокупность обстоятельствъ, цѣлую обстановку, возстающую передъ воображеніемъ читателя. Бунинъ владветъ искусствомъ – и звука, и беззвучія; онъ показываеть качество и природу звука, отправляясь отъ тишины, а иногда показываетъ самую тишину или же черезъ нее-затишье души передъ готовящейся бурей инстинкта... 10)

«...И прохладную тишину утра нарушаетъ только сытое квохтаніе дроздовъ... голоса́ да гулкій стукъ ссыпаемыхъ въ мѣры и кадушки яблокъ»... 11)

Вотъ городъ, зимою, въ большой морозъ, - «весь скри» пить и визжить оть шаговь прохожихь, оть полозьевь мужиця кихъ розвальней»... 12) Поэтъ входить въ соборъ во время бо-

8) «Звѣзда Любви». 146. Сб. «Роза Іерихона».

<sup>1) «</sup>Веселый Дворъ». 237. Изъ сб. «Крикъ».

<sup>1) «</sup>Веселый Дворъ». 27. 1136 со. «Търикъ».
2) «Жизнь Арсеньева». 159.
3) «Сверчокъ" 209. Изъ сборника «Крикъ».
4) «Мордовскій Сарафанъ» 33. Изъ сборника «Солнечный Ударъ».
5) «Жизнь Арсеньева». 180. 98.
6) «Солнечный Ударъ». 7.
7) «Митина Любовь». 86.
8) «Зафака Любовь». 146. Сб. «Роза Іерихона».

<sup>9)</sup> Срв. «Къ роду отцовъ своихъ». 47. Сб. «Божье Древо». 10) См. вышеприведенный примъръ угашеннаго звука изъ разск. «Метеоръ». 11) «Начальная Любовь». 8. 12) «Жизнь Арсеньева». 109.

гослуженія: «мы вступаемъ въ прохладное величіе широко рас» крытаго портала и тысячепудовый звонъ реветъ и гудитъ уже глуше, надъ самой головой, широко и благостно-строго встрѣчая, принимая и покрывая тебя». 1)

Звукъ можетъ показать пространство и перспективу. «Вонъ кажись, пассажирскій поѣздъ идетъ... Долго прислушиваемся и различаемъ дрожь въ землѣ. Дрожь переходитъ въ шумъ, рагстетъ, и вотъ, какъ-будто уже за самымъ садомъ, ускоренно выбиваютъ шумный тактъ колеса: громыхая и стуча несется поѣздъ... ближе, ближе, все громче и сердитѣе... И вдругъ начинаетъ стихать, точно уходя въ землю»...²)

Но показываемый звукъ можетъ быть просто воспроизведенъ словами, почти звукоподражательно, съ перебойнымъ ритмомъ, чтобы вдвинуть въ душу зрителя цѣлую картину. Весна... На солнцѣ таетъ . . . И Бунинъ показываетъ слуху: «ка̀пали каледи» . . . . 3)

Сладостенъ міръ въ краскахъ и линіяхъ своихъ; упоителенъ и въ ароматахъ; но, можетъ быть, слаще еще — въ звукахъ;
настолько, что можетъ и святого ввести въ грѣхъ и у Бога вымолить прощеніе. Однажды рѣшилъ Господь погубить корабль
съ разбойниками; а Фока—Угодникъ, святитель морской — спасъ
ихъ вопреки Божьему велѣнію. И спросилъ его Господь грозно:
«Ради чего же ты осмѣлился мнѣ противиться?» — «Ради третьихъ пѣтуховъ, Господи... Какъ подумалъ я, что не слыхать
больше разбойникамъ того радостнаго предутренняго голоса,
возскорбѣла душа моя горькой нѣжностью.—Ей, Господи! Сладка земная жизнь, Тобою данная! — Ради одного этого голоса,
новый день, новый путь темнымъ и злымъ людямъ обѣщающаго,
будь во вѣки вѣковъ благословенно земное рожденіе!»—И прощаетъ Господь Фоку-Угодника». 4)

Съ тою же, если не большею, силою и наглядностью передаетъ Бунинъ о с я з а е м ы я свойства вещей, даже такихъ, которыя повидимому почти не поддаются осязанію. Чтобы убъдиться въ этомъ достаточно вспомнить, какъ онъ описываетъ воспріятіе воздуха и вѣтра.

«Вѣтеръ мягко и сильно бьетъ въ лицо»... <sup>5</sup>) Или: «Дулъ на лужи сильный западный вѣтеръ и была въ немъ пьянящая влажность, сила ранней весны, одолѣвающей зиму»... <sup>6</sup>) Вотъ обоняніе и осязаніе сливаются: «металлически запахло морозянымъ воздухомъ». <sup>7</sup>) Вотъ воздухъ какъ бы исчезаетъ: «воздухъ такъ чистъ, точно его совсѣмъ нѣтъ».,. <sup>8</sup>) А вотъ онъ сгущаетя ся до осязаемой, египетской тьмы, образуя «темные своды подя земелья» <sup>9</sup>) или уподобляясь черной и мягкой «сажѣ». <sup>10</sup>).

<sup>1) «</sup>Жизнь Арсеньева». 96. 2) «Начальная Любовь». 10.

<sup>&</sup>quot;в') «Игнатъ». 20. ") «Начальная Любовь». 137.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) «Начальная Любовь». 7.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) «Костеръ». 156. Изъ сборника «Начальная Любовь». <sup>10</sup>) «Роза Герихона». 96.

Когда же всѣ эти воспріятія, столь утонченныя и изощренныя, соединяють свои силы, чтобы дать живой, сложный и бурный образь природы, и къ нимъ присоединяется мастерство перспективы, пространственной архитекторники, и усиленія— ослабленія,— то возникають незабываемыя картины и страницы. Довольно одного примѣра. Поэта настигла ночная буря въ полѣ.

«И что за ночь была! Въ сумерки, какъ только мы выбрались на шоссе, потянуло вътромъ, стало быстро и какъ то невърно, тревожно темнъть отъ надвигавшихся съ востока тучъ, стало тяжко гремъть, сотрясая все небо, и все шире пугать, озарять красными сполохами... Черезъ полчаса наступила кромъщная тьма, въ которой со всехъ сторонъ рвало то горячимъ, то очень свъжимъ вътромъ, слъпило во всъ стороны метавшимися по чернымъ полямъ розовыми и бѣлыми молніями и поминутно оглушало чудовищными раскатами и ударами, съ невъроятнымъ грохотомъ и сухимъ, шипящимъ трескомъ разражавшимися надъ самой нашей головой. А потомъ бъщено понесло уже настоя щимъ ураганомъ, молніи засверкали по тучамъ, во всю высоту ихъ, зубчатыми, до бъла раскаленными змъями съ какимъ то свирвнымъ трепетомъ и ужасомъ, точно передъ Страшнымъ Судомъ – и хлынуль обломный ливень, съ яростнымъ гуломъ сѣк> шій нась подъ удары уже безпрерывные, среди такого апокалипсическаго блеска и пламени, что адскій мракъ небесъ разверзаля ся надъ нами, казалось, до самыхъ предъльныхъ глубинъ своихъ, до самой седьмой бездны горныхъ святилищъ, гдъ мелькали какими то сверхестественными, довременными Гималаями мъдью блистающія горы облаковъ»...¹)

По истинъ — цълое богатство свъта и мрака, звука, видъ ній и словъ: пространство, огненно пирующее во всъхъ своихъ перспективахъ и слояхъ; воздухъ, сгущающійся до обломнаго ливня... И все это несется на читателя въ неуемномъ потокъ сверкающихъ, прожигающихъ и разверзающихъ словъ...

«Въ числѣ моихъ особенностей», пишетъ Бунинъ отъ лица Арсеньева, «всегда была повышенная воспріимчивость къ свѣту и воздуху, къ малѣйшему ихъ различію»...²)

Эта воспріимчивость, эта меткая и острая чеканка, свойсть венная его художественному акту, становится, если это возможь но, еще болье точной при переходь къ матеріальнымъ вещамъ и въ особенности къ состояніямъ и ощущеніямъ чело вьческаго тьла; причемъ нерьдко вещи показывають ся такъ, какъ если бы сквозь нихъ глядьла человьческая тьлесь ность.

Вотъ въ помѣщичьемъ, за зиму нетопленномъ домѣ, «съ потолка въ залѣ огромнымъ животомъ виситъ от ставшая, въ коричневыхъ подтекахъ, бумага». В Поэтъ на мор

<sup>1) «</sup>Жизнь Арсеньева». 175. Срв. описаніе другого дождя, тамъ же. 203.

<sup>2) «</sup>Жизнь Арсеньева». 227.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>) «Всходы». 16. Сборникъ «Послѣднее Свиданіе».

скомъ берегу: «море съ утра до вечера переливается черезъ молъ пѣнистыми чревами» . . . 1) и т. под.

Самыя ощущенія человѣка передаются съ такою силою. какъ если бы въ душу вонзался гвоздь. Двое замерзаютъ въ поль въ метель: «рукъ, ногь уже не чуемъ, губъ вродь какъ сов» съмъ нъту, одна челюсть голая» . . . <sup>2</sup>) Бунинъ знаетъ, какъ у испуганнаго человъка отъ сильнаго страха «колотится въ горлъ сердце»...; 3) какъ человъкъ, замирающій отъ вождельнія можетъ «шопотомъ крикнуть» . . . 4) Онъ передаетъ, иногда съ томительной, отвращающей картинностью - моменты человъческаго уродства. Вотъ деревенскій дурачекь, у котораго на лицо «не хватило кожи»: «кажется, что если малый сомкнеть» (глаза), то «нужно будеть роть разинуть, если закроеть — придется широ» ко раскрыть вѣки» . . . <sup>5</sup>) Постарѣль деревенскій лавочникь; «Лицо уподобилось грязно-сфрому вымени. Глаза околфли. Брюхо обвисло, издрябло»... <sup>6</sup>) У ночующаго урядника изъ подъ чуйки торчатъ «грязныя ноги, съ длинными, какъ у собаки ногтями»...<sup>7</sup>) А при апоплексическомъ ударѣ тѣло человѣка «пол» зетъ» съ дивана «на полъ» . . . 8)

Такія описанія всегда физіологически точны и до навязчи» вости изобразительны. Они входять вь воображение съ нъкоторой безмърной силой и читатель иногда не знаетъ впоследствіи, какъ оть нихъ отделаться.

Какъ не увидъть мгновенно этого провинціальнаго полового, который «пошель на своихь растоптанныхъ ногахъ впередъ»... 9) Какъ не вообразить тотчасъ же этого льниваго ме рина, который «дуется, ноеть и реветь нутромъ» ...? 10)

Но чтобы извъдать силу этой изобразительности надо самому читать Бунина, и притомъ сътъмъ художественнымъ вниманіемъ, котораго требуютъ его мастерскія созданія.

5.

Таково строеніе художественнаго акта у Бунина. Этотъ актъ опредъляется повышеннымъ и обостреннымъ переживаніемъ чувственнаго міра, чувственныхъ содержаній и талесно вызваня ныхь, а слъдовательно, и тълесно выразимыхъ состояній души; и притомъ – въ ущербъ, въ устраненіе, можетъ быть даже въ утрату нечувственныхъ содержаній и состоя ній.

<sup>1) «</sup>Роза Іерихона». 9.

<sup>2) «</sup>Сверчокъ». 216. Изъ сб. «Крикъ».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) «Суходоль». 347.

<sup>, «</sup>Суходонь». 47. в) «Деревня». 47. в) «Деревня». 37—38. в) «Я все молчу». 39. Сб. «Послѣднее Свиданіе».

<sup>7) «</sup>Деревня». 51. в) «Чаша жизни». 37-38. «Господинъ изъ С. Франциско». 31.

<sup>9) «</sup>Солнечный Ударъ». 8. 10) «Послъднее Свиданіе». 5. Срв. «Митина Любовь». 32.

Этимъ опредъляется сила его искусства, власть его изображеній, точность и законченность его произведеній. Но этимъ опредъляется и предълъ обозръваем аго имъ мірового объема, граница его художества, — и въ смысъть того, что именно онъ даетъ, и въ смыслътого, чего онъ не воспринимаетъ и не воображаетъ, и наконецъ, въ смысъть того, что оказывается для его видънія — не изобрази мымъ.

Каждый художникъ имъетъ свое особое художественное чувствилище, которое служить ему и органомъ любви. И если это воспріемлющее лоно — по природъ своей чувственно, то можеть оказаться, что мірь нечувственный закрыть для него. Напрасно кто-нибудь захот ль бы найти у Бунина что-нибудь о той нечувственной, духовной любви, которую некогда раскрыль Платонь, и о которой умели петь Данте и Петрарка, которая выносила рыцарственный актъ средневъ ковья, огонь которой жегь Пушкина и Лермонтова, которую зналь Тургеневь, которую глубинно и трепетно раскрываль Достоевскій, прозрачную чистоту которой явиль въ цъломъ рядъ образовъ Шмелевъ. Бунинъ творитъ изъ другой любви и пишеть о другой любви. Художникъ обостренно-чувственнаго міровоспріятія и наслажденія, онъ раскрываеть любовь стинкта, предально-чувственную, земную; плотскую страсть; человъческое сладострастіе, не причастное серафическому духу, любовь не ведущую и не строящую, а терзающую и опьяняю щую.

Такъ обстоить уже въ простомъ воспріятіи природы и вещей. «А я видѣлъ всѣ семь звѣздъ въ Плеядахъ, за версту слышаль свисть сурка въ вечернемъ полѣ, пьянѣлъ отъ той остроты, съ которой вдыхаль запахъ осенняго утра, зименей метели, старой книги или ландыша»...¹) Эта острота и это опьяненіе столь сильны въ его міровоспріятіи, что, кажется, дѣлаютъ ненужнымъ всякое «искусственное» усиленіе или повышеніе. «И хмель, и музыка, и любовь въ концѣ концовъ обманечивы, только усугубляютъ это несказанное въ своей остроєть и въ своемъ и злишествѣ ощущеніе міра, жизни»...²)

Да, именно — излишеств в. Воть откуда у Бунина этоть образь странника, блуждающаго по Руси съ завя занными глазами. «Встрвтился имъ», бабамъ-богомол камъ, «у рвчки... привычный скиталецъ по святымъ мвстамъ, видомъ невзрачный, отрепанный, даже просто чудной, по причинь того, что глаза у него подъ старымъ господскимъ котелкомъ были платкомъ завязаны». «Вамъ», сказалъ онъ, «небось жутко со мной, — и я не дивлюсь этому, м ноги мъ со м ной не медъ... Ужъ черезчуръ, по грвхамъ моимъ, жадные да быстрые глаза у меня, зрвніе столь рвд костное и пронзительное, что я даже ночью, какъ кошка, вижу, будучи и вообще не въ мвру зрячъ, въ силу то»

<sup>1) «</sup>Жизнь Арсеньева». 136. Курсивъ мой. 2) «Дѣло Корнета Елагина». 68—69. Сборникъ «Солнечный Ударъ». Курсивъ мой.

го, что не съ людьми я иду, а сторонкою; ну вотъ и рѣшилъ я

сократить немного свое тълесное зръніе»... 1)

Такъ говоритъ странникъ-богомолецъ. Но Бунинъ-худож» никъ не «сокращаетъ» своего чувственнаго воспріятія; онъ пользуется имь во всю. Отсюда и возникаеть то «с ладостра» стіе воображенія», 2) которое Арсеньевъ пережиль, въ юношествъ, впервые читая русскихъ поэтовъ. Это «сладостра» стіе» пробуждается въ нашемъ художникъ при всякомъ сильномъ ощущении или потрясении. Вотъ священникъ начинаетъ всенощную возгласомъ: «слышу я знакомый милый голосъ, сла» бо долетающій изъ алтаря и по всему моему тълу проходитъ сладострастный тренеть и уже всю службу стою я потомъ какъ зачарованный» . . . <sup>3</sup>) Онъ знаетъ, какъ рѣдко кто, сладострастіе жизненнаго процесса; и знаеть, какъ развъ еще Эдгаръ По, сладострастіе смерти и даже страха смерти. Можно себъ представить, какое значение приобрътаетъ женщина и притомъ желанная женщина въ его художественномъ творчея ствъ. <sup>4</sup>) Состояніе влюбленности и притомъ именно чувственной влюбленности открываеть ему доступь къ главной сферъ его художественнаго видънія - къ воспрія: тію глубинъ родового, полового инстинкта.

Сь какой быстротой, цальностью, медіумичностью предается этому состоянію Арсеньевь!... «Удивительна была быстрота и безвольность, лунатичность, съ которой я отдался всему тому, что такъ случайно свалилось на меня, началось съ такой счастливой беззаботностью, легкостью, а потомъ принесло столько мукъ»...<sup>5</sup>) Бунинъ знаетъ до конца это «блаженное безволіе» и «помутнаніе всахь чувствь», б) какъ бы «тяжелую бользнь», 7) преддверіе «сверхчеловъческаго счастья»; 8) это состояніе, «когда человѣкъ чувствуетъ себя луна» тикомъ, покореннымъ чьей то посторонней волей». 9) «Первымъ признакомъ» этого состоянія является «быстрота, исчезновеніе времени»; его начало — «всегда безсмысленно веселое, похожее на эфирное опьянение»; этимъ объясняется и то «восхищение предметомъ своей влюбленности, въ которомъ живешь иногда подолгу, чтобы потомъ, когда оно пройдетъ, совершенно не понимать его, дивиться на себя прежняго, какъ на человъка, пережившаго подлинное сумасшествіе»...<sup>10</sup>) Въ этой связи осмысливается и то ощущение «древности», и то чувство «тайной связи съ отцами», которое вызывають въ немъ цыганки. 11)

<sup>1) «</sup>Аглая». 65. Сборникъ «Господинъ изъ С. Франциско». Курсивъ мой. 2) «Жизнь Арсеньева». 143. <sup>8</sup>) «Жизнь Арсеньева». 106.

<sup>4)</sup> См. 1-ое воспріятіе женщины у Арсеньева. «Жизнь Арсеньева». 113—115. 5) «Жизнь Арсеньева». 255; срв. «Митина Любовь». 76: «онъ чувствоваль себя лунатикомъ, покореннымъ чьей то посторонней волей». Срв. «Игнатъ». 31.

<sup>6) «</sup>Сынъ». 89—93. Изъ сборника «Господинъ изъ С. Франциско». 8) «Митина Любовь». 48.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) «Митина Любовь». 19. 51. <sup>9</sup>) «Митина Любовь». 76.

<sup>10) «</sup>Жизнь Арсеньева». 256. Курсивъ мой. 11) «Костеръ». 159—160. Изъ сб. «Начальная Любовь»; «Жизнь Арсенье» ва». 212.

Такая любовь, перенесенная на все въ мірѣ, есть ключь къ пониманію художественнаго акта и художественныхь произведеній Бунина. Она открываеть ему вѣдѣніе чувственныхъ тайнъ. Вотъ откуда онъ знагеть, напримѣръ, съ такою опредѣленностью, что испытываютъ мущины «обостренно-чувственные не только по отношенію къ женщинѣ, но и вообще во всемъ своемъ міроощущеніи»...¹) Въ это чувствилище вступаютъ у него и краски, и запахи, и звуки, и птицы, и животныя, и лошади,²) и коровы,³) и собаки, 4) и весь остальной плотскій міръ. Вотъ почему онъ, помышляя о своей возможной смерти, просить у Бога отсрочки: «еще какъ женщина вожделѣнно мнѣ это водное ночное лоно»...⁵)

Поэтъ счастливъ, пока онъ блаженно пребываетъ въ силѣ этого воспріятія и выраженія, въ этомъ лунатизмѣ, гдѣ онъ меліумически воспринимаетъ міръ, какъ чувственную стихію и творчески закръпляетъ его въ словахъ. За предълами этого опьяненія начинается «скука», и «пыль», и «пустота». 6) Гаснеть «желан i е», - гаснеть и жизнь. И нъть на свъть несчастиве человь ка, у котораго желаніе погасло настолько, что исчезло и самое желаніе желать... Воть откуда этоть образь Темиръ-Аксакъ-Хана, испытавшаго всѣ сладости земли и утратившаго волю къ жизни»... «Передъ кончиною сидълъ Темиръ-Аксакъ-Ханъ въ пыли на камняхъ базара и цѣловалъ лохмотья проходящихъ калъкъ и нишихъ, говоря имъ: «Выньте мою душу, ка» лъки и нищіе, ибо нъть въ ней болье даже желанія желать» !... <sup>7</sup>) Въ этой же связи осмысливается другой символическій образь, очерченный Бунинымъ. На берегу священнаго Львинаго Острова, въ ночь весенняго урагана и ливня, нъкій отшельникъ славить бога, «побъдившаго желаніе» и заклинаеть Мару, который искущаеть его рожденіемь «новой жизни», чтобы онь отступил» ся отъ него со всъми его соблазнами. И вотъ, исполинское изваяніе Будды, сидящаго на земль, но возвышающагося до самыхъ верхушекъ пальмъ, отвъчаетъ ему громообразнымъ голосомъ: «Истинно, истинно говорю тебѣ, ученикъ: снова и снова отречешься ты отъ меня ради Мары, ради сладкаго обмана смертной жизни, въ эту ночь земной весны» . . . 8)

Этотъ голосъ не ошибается. Упоенному созерцателю чувсть веннаго міра не удается отречься отъ него. Для этого надо у сь во и ть другой актъ, можетъ быть — міроотреченный, во всякомъ случав — актъ нечувственна поля, въ иныя и совсвмъ по иному священныя пространства. Это актъ трезвенія, — а не опьяненія; напряженнаго и нервдко горькаго созерь

2) «Роза Іерихона». 146.

4) «Игнать». 19. Тамъ же.

<sup>7</sup>) «Роза Іерихона». 93.

<sup>1) «</sup>Дѣло Корнета Елагина». 71. Сборникъ «Солнечный Ударъ».

<sup>3) «</sup>Игнать». 25. Сборникъ «Грамматика Любви».

 <sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) «Цикады». 130. Сборникъ «Солнечный Ударъ».
 <sup>6</sup>) «Крикъ». 129. «Жизнь Арсеньева». 185.

<sup>8) «</sup>Ночь Отреченія». 97—99. «Роза Іерихона».

цанія, а не «оптическаго» или «одоративнаго» вкушанія. Этотъ другой актъ владъетъ инымъ огнемъ, даритъ инымъ восторгомъ, иною мукою... Но развъ это и но е намъ доступно? И осо бенно намъ русскимъ?

«Ахъ», восклицаетъ Бунинъ, «эта вѣчная русская потребность праздника! Какъ чувственны мы, какъ жаждемъ упоенія жизнью — не просто наслажденія, а именно упоенія — какъ тянетъ насъ къ непрестанному хмелю, къ запою, какъ скучны намъ будни и планомѣрный трудъ»...¹) И еще: «Знаменитое—Руси есть веселіе пити — вовсе не такъ просто, какъ кажется. Не родственное ли съ этимъ веселіемъ — и юродство, и бродяжиничество, и радѣнія, и самосожиганія, и всяческіе бунты — и даже та изумительная изобразительность, словесная чувствениюсть, которой такъ славна русская литература»...²)

Отведемъ вопросъ о томъ, такова ли въ самомъ дѣлѣ русская душа вообще, и какъ смогла бы она создать великое государство и великую культуру изъ этого чувственнаго наслаже денчества, и вѣрно ли указана вся цѣпь этого русскаго «самосопьяненія»... Но къ своему собственному творчеству Бунинъ даетъ здѣсь опять настоящій ключъ. Да, его художественный актъ — инстинктивенъ, чувственъ, опьяненъ и опьянителенъ, эротиченъ и завершается «словесной чувствене ностью». Бунинъ-художникъ, вступаетъ въ чувственный міръ — и природный, и человѣческій — опьяняясь; опьяненный уходитъ въ него до дна, на самое дно, страстное и страшное; тамъ онъ добываетъ опытъ и вѝдѣніе; и съ добытыми тамъ содержаніями и видѣніями творитъ свои литературные образы, пребывая в ъ нихъ и создавая и зъ нихъ...

Этимъ по существу и опредъляется его художественный актъ.

6.

Всѣ остальныя функціи человѣческаго духа подчиняются этой основной установкѣ.

1. Такъ, воображеніе у Бунина настолько захвачено чувственными воспріятіями, настолько къ нимъ прилѣпляется и приспособляется, что почти не имѣетъ дѣла съ нечувствень ны ми содержаніями. Исключеніемъ являются всѣ болѣе или менѣе автобіографическія произведенія. 3)

Поскольку его актъ обращается къ природ ѣ,—онъ описываетъ ее красиво, точно, ярко, остро, подлинно, изобразительно и «заразительно». Но нелегко найти примъръ того, чтобы чувстевенное обличіе природы раскрывалось у него, какъ вещественный знакъ нечувственных ъ обстояній, какъ симе

<sup>1) «</sup>Жизнь Арсеньева». 118. 2) «Жизнь Арсеньева». 120.

<sup>&</sup>lt;sup>в)</sup> «Цикады», «Жизнь Арсеньева», «Воды многія» и нѣк. др.

волъ духа. Природа и инстинктъ человѣка почти всегда находятся у Бунина въ созвучіи и обычно такъ, что природа владъеть инстинктомъ. Но сверхчувствензначительность природы глубину И этотъ художественный актъ не раскрываетъ.

Поскольку же его акть обращень непосредственно къ людямъ, ихъ состояніямъ и отношеніямъ, - эмпирическая наблю: дательность Бунина достигаетъ (въ предвлахъ его компетенціи) великой силы, зоркости и обобщающей власти. Если сопоставлять Бунина съ къмъ-нибудь въ этомъ отношении, то уже не съ Толстымъ и не съ Тургеневымъ, которые въ описаніяхъ остают» ся нерѣдко суммарными и далеко не всегда ставять описываемое «въ фокусъ» вниманія; а скоръе съ Чеховымъ, этимъ великимъ мастеромъ изображать цілое черезъ, казалось бы, неуловимую, но, вотъ, уловленную деталь. Однако, наблюдение у Чехова всегда сдержано чувствомъ мѣры; оно при всей его зоркости и точности, деликатно, любовно, снисходительно - усмъшли: во, сосредоточено не на жизни тъла, а на жизни души, лирично, грустно, почти женственно . . . Наблюдение Бунина неся равненно остръе, произительнъе; въ немъ нътъ чеховской любовности, доброты, снисходительности; оно всегда мужественно, часто бываеть злымь, жестокимь, иногда — безмърнымь. Оно «вѣдаетъ» тѣло и идетъ отъ него. Никогда Чеховъ не пока» заль бы весеннюю влюбленность въ такихъ чертахъ: «онъ мед» ленно побрель по двору, опять чувствуя нытье въ животѣ, тос≠ ку въ предплечьяхъ, въ ослабъвшихъ ногахъ»...¹) Здъсь Бунинь приближается по физіологическому реализму уже не къ Чехову, а къ Мопассану или Зола...

Описывая человъческую душу почти исключительно по ея в н в ш н и м ъ проявленіямъ, Бунинъ достигаетъ въ этомъ двль большого мастерства. Правда, это мастерство остается прикрѣпленнымъ именно къ тѣмъ струямъ души, которыя разъ навсегда связаны съ чувственнымъ естествомъ человѣка: таковы струи первобытнаго, элементарнаго инстинкта, - отъ обонянія, до проявленій мускульной силы, отъ охотничьей страсти до полового влеченія, отъ жадности до ревности, отъ жестоковыйной пролазливости <sup>2</sup>) до свиръпой мнительности. <sup>3</sup>) Но и для обы: деннаго человъка мастерство Бунина имъетъ утонченное зоркое вниманіе. Воть милая, втайнъ влюбленная, но ничъмъ не замъчательная д'явушка «ясно, по д'явичьи (и немного безсмысленно) оглядывается»... <sup>4</sup>) Воть красивый корнеть разсѣянно молится за панихидой: «...и склоняетъ маленькую головку съ той не≈ доведенной до конца почтительностью, съ которой кланяются святымъ и прикладываются къ нимъ люди, мало думающіе о

<sup>1) «</sup>Игнатъ». 20. «Грамматика Любви». Срв. стр. 40, со словъ «Купецъ, от» валясь къ спинкѣ дивана».

<sup>2)</sup> Срв. образъ сводни въ «Личарда», сб. «Послѣднее Свиданіе» или образъ разсказчицы въ «Хорошая Жизнь», сб. «Крикъ».

3) Срв. «Ермилъ», сб. «Послѣднее Свиданіе».

4) «Ида». 19, сб. «Солнечный Ударъ».

святыхъ, но все-таки боящіеся испортить свою счастливую жизнь ихъ немилостью» . . . <sup>1</sup>) Вотъ человѣкъ «самолюбивый, какъ всѣ маленькіе ростомъ» . . . <sup>2</sup>) А вотъ праздникъ въ деревнѣ: «въ безлюдіи села чувствовалось: всѣ дождались чего то, одѣлись получше и не знаютъ, что дѣлать» . . . <sup>3</sup>) И такія превосходныя наблюденія и черты Бунинъ даритъ читателю во множествѣ.

2. Жизнь чувства, —аффектовь и эмоцій, —сь такой пламень ной силой и переживаемая и изображаемая Достоевскимь; съ такой лирической утонченностью то вычерчиваемая «перомь», то выписываемая «пастелью» у Чехова; столь опредълительная, богатая и духовно бурная у Шмелева, —почти всегда сводится у Бунина къ движеніямъ инстинктивной страсти въ томъ или иномъ ея видоизмѣненіи. Если это «чувства», — то чувства элементарныя, родовыя, древнія, бездуховныя или, върыве, додуховныя. Вънихъживеть особь, а не личыность; вънихъчеловъкъ біологически индивидуаленъ, но духовно, а иногда и психологически еще не сталь или уже не сталь личностью. И потому вся жизнь этихъ «чувствъ» развертывается въ атмосферѣ нѣкоего неизмѣны наго холода...

Бунинъ-мыслитель иногда разсказываеть о своихъ личныхъ чувствахъ, - то услаждающихъ, то потрясающихъ, то обжигающихъ, то замучивающихъ его. <sup>4</sup>) И мы въримъ ему безпрекословно, что онъ ихъ переживалъ и испытываль... Читатель сочувствуеть имъ и принимаеть ихъ къ свъдънію. Но не переживаетъ ихъ, какъ свои собственныя; тымь болье, что авторь сообщаеть о нихъ въ формъ автобіографической. Нельзя сомнъя ваться въ томъ, что Бунинъ – человѣкъ и мыслитель, живетъ сильными и глубокими чувствами. Но Бунинъ-художникъ, пребывающій въ своемъ творческомъ актѣ, - почти всегда холоденъ. Холоденъ и объективенъ. И чъмъ выдержаннъе эта холодная объективность, тѣмъ ткань разсказа становится художественноубъдительнъе... Въ изображении чувственной страсти Бунинъ стоитъ въ первыхъ рядахъ міровой литературы: когда онъ изображаетъ голодъ инстинкта вообще, или въ частя ности голодъ «любви», то онъ зорокъ и ярокъ, какъ самые замѣчательные мастера. Но это есть та страсть, съ ея зноемъ, та мука, которыя томять, изводять человека, но могуть совсемь мия новать сердце, оставить его холоднымъ. Чувственная страсть не есть чувство, именно потому, что она чувствен» в о - п л о щ е н а, изживается въ состояніяхъ тела, въ те лесныхъ разрядахъ. Въ чувственной страсти всѣ чувства сгора> ють, растрачиваются по земному; и чемь томительные и бурные эта страсть, тымь цыльные растрата, тымь меньше чувство

<sup>2</sup>) «Чаша жизни». 12.

<sup>в</sup>) «Учитель». 97, сборникъ «Начальная Любовь».

<sup>1) «</sup>Іоаннъ Рыдалецъ». 29, сборникъ «Послѣднее Свиданіе».

<sup>4) «</sup>Жизнь Арсеньева», «Цикады», «Воды Многія», «Тънь Птицы»; или напр. «Мухи». 129, сборникъ «Митина Любовь».

ваніе, какъ душевное состояніе, достигаетъ силы, зрѣлости и утонченности, тъмъ опустошительнъе эта страсть оказывается для души, тъмъ больше разочарованія, горечи, можеть быть даже злобы и отчаянія она оставляеть человъку въ наслѣдство.

Описанная Бунинымъ чувственная страсть-входитъ въ душу читателя ярко и властно; иногда она просто вонзается въ нее и дъйствуетъ на нее съ настоящей душемутительной силой; а въ иныя, критическія минуты она можетъ доводить читателя до физической тошноты и даже до отвращенія. 1) Но это чув ственный зной, а не чувство; если это любовь, то безостаточно ушедшая въ тъло; она требовательная, несытая, напористая, эгоистическая, холодная, мучительная и горькая. Это любовь заболъвшая плотію и ушедшая въ нее. Она следуеть законамъ біологіи и физіологіи, и лишь постольку и черезъ это отражается въ душь; но она не слъдуеть ни законамъ сердечнаго чувствованія, какъ самостоятельнаго акта, ни путямъ одухотворенной души.

3. Еще меньшій въсъ въ художественномъ актъ Бунина имъетъ воля и вслъдствіе этого читателю не нужно воле: выхъ напряженій при воспріятіи его созданій.

Какъ бы ни были страстны, упорны и катастрофичны порывы человъческаго инстинкта, они вообще говоря не являются выраженіемь в ол и. Это не ръшенія, а взрывы вож дельній; это не проявленія характера, а провалы безхарактерности; это не жизненное творчество, а посъщающее человъка несчастіе; это не борьба, а покорность стихіи. Инстинкть не воля; напротивъ, онъ безволенъ; и для полноты своего дъйствія и проявленія ему нужно именно безволіе, тотъ своеобразный «лунатизмъ», о которомъ пишетъ самъ Бунинъ, или-медіумизмъ, пассивная подчиняемость души, открытой всемъ ветрамъ страстей... Инстинктивная одержимость не воля; и пути ея – иные.

Художественный актъ Бунина не знаетъ волевыхъ напря» женій и поступковъ; онъ не «рѣшаетъ», не «поступаетъ», не «достигаеть», не «завершаеть». Искусству Бунина чуждъ драма» тизмъ волевыхъ столкновеній и волевой борьбы. Ему чужда и волевая трагедія, т. е. жизненная безысходность, овладъвающая сильнымъ характеромъ. Трагическія положенія и развязки въ произведеніяхъ Бунина рисують безвыходность чувственныхъ страстей, владъющихъ человъкомъ. Одержимый такой страстью, человъкъ безъ борьбы катится внизъ по линіи наименьшаго сопротивленія, то съ безвольной легкостью, 3) то съ тяжелымъ от вращеніемъ, <sup>4</sup>) то съ чувствомъ фатальной обреченности, <sup>5</sup>) то въ злой и темной судорогѣ... <sup>6</sup>) Онъ — ж е р т в а поддон

ша», Чаша Жизни».

3) «Легкое Дыханіе», сборникъ «Грамматика Любви».

6) «Игнатъ», сборникъ «Грамматика Любви».

<sup>1) «</sup>Діло Корнета Елагина», «Игнать», «Петлистыя Уши», «Ночной Разго» ворь«, «Веселый Дворь», «Страшный Разсказъ».

2) Исключеніемъ являются: «Ида», «Оброкъ», «Лапти», «Сверчокъ», «Клаг

<sup>4) «</sup>Мордовскій Сарафанъ», сборникъ «Солнечный ударъ». 5) «Дъло Корнета Елагина», сборникъ «Солнечный Ударъ».

ныхъ силъ; и тогда читателю приходится жалъть его. Или же рабъ своего инстинкта; тогда читатель испытываетъ смъсь изъ легкаго презрънія, гнъва и состраданія. Или же онъ з в в р ь въ страстяхъ своихъ; и тогда читатель испытываетъ ужась и отвращеніе. Но волевой акть читателя остается художественно ненужнымъ и нетронутымъ.

Бунинъ – ясновидецъ инстинктивныхъ состояній, мукъ, порывовъ и проваловъ, но не волевыхъ свершеній. И волевыхъ фигуръ среди его героевъ нътъ. 1)

4. Нътъ, или почти нътъ среди этихъ фигуръ и мыслите: лей.

У Шекспира, у Достоевскаго – почти всѣ мыслители. У мыслители; они разсудочники, резонеры. есть У Чехова мыслители вялы и расплывчаты. У Шмелева мыслите» ли эмоціональны, пламенны. У Бунина нать мыслителей; израдка встръчаются умные наблюдатели, иногда роняющіе кое что о жизни. Обычно вмъсто нихъ мыслить самъ авторъ, но чаще всего за предълами художественной ткани.

Самъ авторъ, человъкъ умный, наблюдательный и тонкій, мыслить обычно не душами своихъ героевъ, нихъ, не изъ нихъ; мысль, накапливаю: немъ, не укладывается въ ихъ жизнь, не вырастаетъ изъ и х ъ души, не входитъ въ художественную ткань разсказа; и тогда она высказывается авторомъ отдъльно, самостоятельно, въ видъ философическаго, соціологическаго или психологическаго обобщенія, или какъ бы «нравоученія». Наприя мъръ: «Все - таки самое страшное на землъ — человъкъ и его душа. И особенно та, что совершивъ свое страшное дъло, утоливъ свою дьявольскую похоть, остается навсегда невѣдомой, непойманной, неразгаданной». <sup>2</sup>) «Только одинъ Господь вѣдаетъ мъру неизреченной красоты русской души». В Или иногда, по поводу какой-нибудь детали, въ серединъ разсказа: «Ибо въдь въ концъ то концовъ, можетъ быть и не важно, что именно пробуждаетъ дъвичью душу – деньги ли, слава ли, знатность ли рода»... 4) Это всегда какъ бы авторское «а parte», иногда связанное съ разсказомъ, иногда прямо противоръчащее художестя венному предмету его ... <sup>5</sup>) Это осколки мыслителя, не уложившіеся въ художество художника и не уложившіеся именно потому, что основной актъ Бунина художественно созерцаетъ немыслящую глубину человъческаго инстинкта.

Обычно авторъ видить своихъ героевъ изъ инстинкта – и видить ихъ инстинктивными. Его умнымъ и тонкимъ мыслямъ

<sup>1)</sup> Исключеніемъ является развѣ лишь «Чаша Жизни». Ни госпожа Мая ро («Сынъ»), ни «Митя» не суть люди воли.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Страшный Разсказъ». 84. Сборникъ «Солнечный Ударъ».

<sup>3) «</sup>Святитель». 94. Сборникъ «Митина Любовь».

<sup>4) «</sup>Господинъ изъ С. Франциско». 21. 5) Таковъ именно послъдній примъръ, ибо художественный предметъ этого разсказа есть именно vanitas vanitatum, обреченность міровой-бытовой пошлости, а приведенное обобщение никакъ не мирится съ тъмъ высшимъ созерцаніемъ, изъ котораго и отъ котораго ведется это «обличеніе».

нътъ мъста въ ихъ немыслящихъ душахъ. Поэтому онъ выдъя ляетъ ихъ и произносить отъ своего лица. Но когда онъ пытается вложить свои помыслы въ ихъ души, то возния каетъ своеобразная психологическая неправдоподобность или натянутость. Такъ въ «Леревнъ» онъ приписываетъ деревенскому лавочнику Тихону, жадному кулаку, цълый рядъ такихъ тонкихъ наблюденій, соображеній и помысловъ, которые естественя ны въ душѣ Бунина, но художественно неубъдительны въ душѣ грубаго и злого Тихона. 1) Подобно этому всв эстетическія воспріятія и оцънки Мити на Катиномъ экзаменъ въ театральной школъ – очень тонки и върны, но ръшительно не входятъ въ душу и не выходять изъ души неразвитого, духовно совсъмъ еще не родившагося гимназиста»...<sup>2</sup>)

Словомъ, Бунинъ – мыслитель. Но художественный актъ его не включаетъ въ себя мысль, не объективируетъ ее въ чело» въческія души и характеры и не требуеть отъ тателя мыслящаго пребыванія въ герояхъ. И именно художественная чуткость Бунина къ своему собственному художественному акту удерживаеть его отъ детальнаго и углубленнаго живописанія мыслящихъ натуръ: воспринимая ихъ и художественно прельщаясь ими, онъ создаетъ не зрѣлое художественное произведеніе, а набросокъ, «кро» ки», портретъ карандашомъ, какъ бы пораженный неожиданя ностью, рѣдкостностью и значительностью такого явленія, ле жащаго за предълами его художественя ной компетенціи. Надо признать, что наброски эти бываютъ превосходны. <sup>8</sup>)

Таково въ основныхъ чертахъ строеніе его художественна: го акта.

## 7.

Этотъ актъ Бунина опредъляетъ собою составъ его художества: и словесную ткань его произведеній (эстетическую матерію) и образную ткань (эстетическій образь) и природу его эстетических в пред метовъ.

Начнемъ со словесной матеріи.

Словесное мастерство Бунина велико и богато, но не одинаково и неуравновъшено. Замъчательно, что русскіе рецензенты, восхваляя его дарь, не замѣтили эту особенность его стиля, не сумъли объяснить ее и создали Бунинину репутацію стилиста, изощренно шлифующаго свою словесную ткань и незнающаго въ этомъ дълъ ни ошибокъ, ни небрежностей, ни затрудненій. На самомъ дѣлѣ это не такъ. Вотъ

Срв. «Деревня». 16. 28. 29. 89. 93. 95. 220. 246.
 <sup>2</sup>) «Митина Любовь». 14. Такія же психологически-умственныя неубѣди» тельности см. стр. 12. 16. 18. 58, 81.

<sup>3) «</sup>Божье Древо», «Обуза», «Въ Саду».

основные законы, опредъляющіе неуравновъшенность его стиля; эти законы обусловлены строеніемъ его художественнаго акта.

1. Словесность Бунина цвътетъ и льется въ описаніи внъшняго, чувственнаго міра, достигая величайшей и даже чрезмърной щедрости въ зрительных ъ воспріятіяхъ и нерѣдко сжимаясь до классической скупости и точности въ описаніи запаховъ, звуковъ и осязаемыхъ качествъ. Зато въ описаніи внутреннихъ душевныхъ состояній, стиль Бунина не льется и не летитъ, а становится затрудненнымъ, осложненнымъ, спотыкающимся, иногда почти безпомощнымъ (на подобіе психологическихъ анализовъ Л. Н. Толстого).

Я уже приводилъ примъры цвътущей щедрости и пронзительной точности его чувственныхъ описаній. Вотъ образцы потолстовски затрудненнаго стиля, особенно характернаго для психологическаго романа «Митина Любовь».

«Однако даже стихи и это чтеніе, то есть, то самое, что больше всего напоминало Митъ среду, отнимавшую у него Катю, остро возбуждавшую его ненависть и ревность, онъ перенесъ сравнительно легко въ этотъ счастливый день девятого маря та, его послъдній счастливый день въ Москвъ, какъ часто казалось ему потомъ». 1) Здѣсь нагроможденіе придаточныхъ предложеній (напоминающее, тягостной памяти, «Воскресеніе» Л. Н. Толстого) таково, что читателю не сразу удается рышить, кто собственно «возбуждалъ ненависть и ревность», - «среда» или «Катя»... «Да даже и въ эти дни Катя была во всемъ и за всъмъ, какъ когда-то (девять льть тому назадъ и тоже весной, когда умеръ отецъ) долго была во всемъ и за всъмъ смерть.» 2) Въ послъднемъ отрывкъ психологическая затрудненность стиля выражается въ томъ, что начиная со словъ «какъ когда то» и до самого послѣдняго стилистическаго «гвоздя»— «с м е р т ь» мысль и воображение читателя какъ бы повисають въ воздухъ, не зная къ чему все это отнести и доходя къ концу до полной смысловой растерянности...

Понятно, откуда этотъ стиль. Душевный процессъ, переживаемый героемъ, сложенъ. Описывать его по даннымъ внѣшняго опыта 3) невозможно; его надо раскрыть изнутри, изъ глубины, интуитивно-синтетически, силою художественнаго о т о ж д ест в л е н і я. Чувственный актъ здѣсь недостаточенъ. И вотъ Бунину, какъ и Толстому въ такихъ случаяхъ, приходится итти а н а л и т и ч е с к о ю р е ф л е к с і е й, отъ поверхности вглубъ, проталкиваясь разсудочно-аналитическими фразами въ чащу душевныхъ переживаній, которую мастеръ внутренняго опыта показалъ бы совсѣмъ иначе: изъ глубины, отъ цѣлаго, обе наруживая сокровенную мглу безсознательнаго въ оттѣнкахъ обыденныхъ переживаній и поступковъ. Бунинъ, подобно Толстому, описываетъ душевно-духовные конфликты въ порядкъ рефлексіи, выкручивающей изъ души автора непосильную ни

в) Какъ напр. въ разсказъ «Игнатъ».

<sup>1) «</sup>Митина Любовь». 9.

<sup>2)</sup> Тамъ же. 27, срв. также стр. 35. «И теперь, когда ея не было»...

для какой отдъльной фразы сложность, съ тъмъ, чтобы вкрутить эту сложность въ душу читателя. Замѣчательно, что этотъ стиль иногла распространяется у Бунина и на сферу внъшнихъ описаній, прерывая ихъ непосредственную и легкую текучесть... 1)

2. Стиль Бунина тъмъ легче и пъвучъе, чъмъ непосредственные онъ подходить къ чистой природы, никакъ психологи» чески неосложненной, или осложненной минимально. Такова непередаваемая прелесть нъкоторыхъ раннихъ разсказовъ его, собя ранныхъ впослъдстви въ сборникъ «Начальная Любовь» (срв. особенно «Антоновскія Яблоки» и «Надъ Городомъ»); сюда же нало отнести разсказы «Клаша» 2) и «Всходы Новые» 3) и нѣкоторые другіе.

Чъмъ меньше разсудка, рефлексіи, тенденціи, обличитель ства, темъ более актъ Бунина веренъ самому себе; темъ более стиль его поеть. Чемъ наивнее, темъ музыкальнее; чемъ непосредственнъе, тъмъ поэтичнъе; чъмъ больше самозабвенія во внъщнемъ созерцаніи, тъмъ нъжнъе и упоительнъе. И обратно: морально-тенденціозный очеркъ «Старуха» 4) мучителенъ по раз» судочности и безмузыкальности своего стиля и самый плачь обиженной жизнью бабы не изливается въ живое пъніе: и не случайно, что въ такой связи у Бунина можетъ возникнуть и записаться такая какофонія: «долгіе годы голода, холода»...<sup>5</sup>)

Таковъ законъ стиля у Бунина: ч в м ъ п с и х о л о = гичнъе тема, тъмъ рефлективнъе стиль; чъмъ рефлективнъе актъ, тъмъ меньше въ стилъ непосредственности, поэтичности, кальности, изящества.

3. Стиль Бунина льется тъмъ щедръе, экстенсивнъе, шире, пънистье, чъмъ болъе его художественный актъ субъективновзволнованъ, чъмъ болъе онъ личенъ, интименъ, согрътъ чувстя вомъ довърія и откровенностью. Такая интимная взволнованя ность делаеть его стиль более расплывающимся, менее собраннымъ. менъе разительнымъ и убъдительнымъ. И обратно: чъмъ субъективно - холоднье, чьмъ объективнье актъ Бунина, тьмъ скупъе, собраннъе, интенсивнъе, зрълъе, проще и убъдительнъе дълается его стиль. Все это — конечно, въ предълахъ единаго, присущаго Бунину, стилистическаго мастерства.

Образцомъ интимно-взволнованнаго щедрословія являются «Жизнь Арсеньева» и мъстами «Деревня»; въ меньшей степени это характерно для «философемы» «Цикады» и для «марины» «Волы Многія».

Для второй категоріи собраннаго, интенсивнаго, по Чеховски лаконическаго стиля — характерны разсказы «Солнечный Ударъ», «Хорошая Жизнь», Чаша Жизни» и другіе.

Понятно, почему это такъ. По основному укладу своему художественный акть Бунина есть акть холодный, объективно-

<sup>1) «</sup>Митина Любовь», стр. 31. 35 и др. 2) Сборникъ «Господинъ изъ С. Франциско». 3) Сборникъ «Послъднее Свиданіе».

<sup>4)</sup> Сборникъ «Роза Іерихона».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) «Роза Іерихона». 56.

описывающій. Онъ н е есть актъ чувствующаго сердца. И потому приливъ чувства выводитъ его изъ творческаго, уравновѣшеннаго мастерства, уменьшаетъ его острую наблюдательность и властную, скупую точность.

4. Бунинъ пишетъ совсѣмъ иначе въ зависимости отъ того, творитъ онъ изъ народной стихіи или разсказываетъ «отъ себя».

Подходя къ народной, простонародной, первобытной стихіи, Бунинъ перевоплощается и создаетъ совсъмъ особый стиль и языкъ: первозданный, кръпкій, древній, ядреный, горько-отстойный; сразу-наивный и върный; выразительный и дерзновенио-простой; яркій, буйный и убъдительный. Естественность и первобытная мощь этого языка радостны, изумительны; и слышно, какъ самъ авторъ имъ наслаждается. Таковы «Божье Древо», 1) «Въ Саду», «Слава», «Оброкъ», «Сила», «Захаръ Воробьевъ», «Сверчокъ» и другіе. 2)

Но за предълами этой народной стихіи, въ словосочетаює щемъ актъ литератора-интеллигента, Бунинъ можетъ быть стих листически спорнымъ, приблизительнымъ и даже непріемлеємымъ. В Эта особенность стиля объясняется изъ художестю веннаго акта: этотъ актъ инстинктивно цвътетъ именно въ стих хіи первобытной простонародности, тамъ онъ — во вдохновеніи, и словотворчество его великолъпно; а внъ инстинкта — Бунинъхудожникъ становится «литераторомъ», и разсудочный «литераторъ» начинаетъ затрудняться и ошибаться...

5. Пребывая въ своемъ основномъ, чувственно-инстинктивномъ актѣ, Бунинъ создаетъ и соотвътствующій ему стиль: именно тотъ «изобразительный» и «словесно-чувственный» стиль,

 $<sup>^{1})</sup>$  Въ этомъ художественно—почти — совершенномъ наброскѣ — читателя все время образно затрудня етъ то неопредъленное «мы», отъ лица котораго ведется разсказъ. Разсказъ отъ лица «я» вообще о с в о $^{\circ}$  бо ж даетъ воображеніе читателя, позволяя ему подставить себя самого на мѣсто разсказчика. Но «мы» — «узнали», «засмѣялись», «остановились», «на $^{\circ}$ дѣли длинные сапоги» — художественно напрягаетъ и недоумѣнно безпокоитъ душу.

<sup>2)</sup> Цѣлый рядъ великолѣпныхъ народныхъ словечекъ собраны (или созданы?) Бунинымъ въ сказкѣ «О дуракѣ Емелѣ, какой вышелъ всѣхъ умнѣе». Читая ихъ, душа веселится русскимъ словотворчествомъ, хотя сама сказка лишена художественнаго предмета; она не содержить ни наученія, ни мудрости; не доведена до художественной необходимости образовъ и въ отличіе отъ нагродныхъ сказокъ явно соблазнительна.

<sup>8)</sup> Воть примъры: «Приготовленія къ празднеству закипѣли съ остервенѣніемъ». «Богиня» сборникъ «Митина Любовь» 112; «во весь духъ работая локтями». «Игнать», сб. «Грамматика Любовь». 17; «онъ вель себя глупо въ какихъ то своихъ намѣренія хъ накого то». «Митина Любовь» 66; «снисхожденіе во адъ». «Жизнь Арсеньева» 61; чесался онъ на прямой рядъ». «Клаша», сборн. «Господинъ изъ С. Франциско» 119; «Митя надбѣжалъ надъ обърывъ». «Митина Любовь» 79; «хлестая кнутомъ». «Начальная Любовь» 27; «чайсъ печенья ми». «Господинъ изъ С. Франциско» 12; «стояло стадо коровъ, поминутно от правляв шее свои нужды». «Деревня 33; «тол па крестилась, кръпко прижимая пальцы ко лбамъ», «Послъднее Свиданіе», 20; «все дерево трещало воробьями». «Казим. Станиславовичъ» изъ сборника «Господинъ изъ С. Франциско» 52. Все это идетъ изъ усть самого автора, а не - условно и неправильно выражающагося «персонажа» 1

которымъ, по его неубъдительному замъчанію «такъ славна рус» ская литература», и который онъ самъ приводить въ связь съ русскимъ пьянствомъ, юродствомъ, бродяжничествомъ, радъніемъ, самосожиганіемъ и бунтарствомъ. Когда Бунинъ плыветь въ этомъ потокъ, онъ предается особому литературному наслаже денчеству: онъ опьяняется чувственнымъ воспріятіемъ и опьяняеть читателя чувственнымь изображениемь. Тогда уже не онь художественно выбираеть слова, а слова текуть черезъ него упоеннымъ потокомъ. Словесное изліяніе становится нѣкоторой самоценностью и саморадостью. Оно начинаеть довлеть себе; оно связуется съ примитивными, до-художественными слоя: ми души, предшествующими искусству, власти и его цълямъ; слова текутъ изъ первобытной глубины, гдъ нътъ трезвенія и мъры, гдъ «геніальное» и «анимальное» пребывають въ первозданномъ смѣшеніи, гдѣ священное еще не отличено отъ любострастнаго, гдъ дифференціація духа и похоти — или еще не состоялась, или уже удалась.

6. Именно въ этой связи осмысливается, далье, та особая с и н т а к с и ч е с к а я н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т ь, которая присуща стилю Бунина.

Акть его стихійно-чувственнаго міровоспріятія такъ пог лощень наплывающимь на него чувственно-образнымь богатстя вомъ красокъ, звуковъ, запаховъ, линій, массъ; и актъ его изобразительнаго творчества настолько одержимь жаждою остановить, закрѣпить, исчерпать весь этотъ потокъ впечатлѣній, что фраза его уподобляется рѣкъ, несущей свои «воды многія» и съ ними все, что онъ успъли захватить и увлечь. Возникаютъ длинныя, безконечныя предложенія, въ которыхъ отдельныя фразы подчиняются, а сочиняются; зываются, какъ бусы, а не развиваются въ мфрный, расчлененный и сочлененный организмъ; онъ слъдуютъ психоло гі и чувственнаго воспріятія, а не логик мысли и воли; выходять изь повиновенія художественному закону: попирають мь ру экономіи и необходимости; смішивають главное сь неглавнымь; осложняють «проспекть» изложенія «боковыми улицами», улицы переулками, переулки тупиками, бросаясь изъ одного отвътвленія въ другое и предоставляя читателю разбираться во всемъ этомъ, какъ ему будетъ угодно. Такіе періоды развертыя ваются въ безконечныя недифференцированныя гирлянды предложеній, отділенных другь оть друга только запятыми и иногда не поддающихся пониманію при первомъ чтеніи. Вотъ два примѣра.

«И онъ (Митя) цъликомъ ъхалъ по этимъ жнивьямъ и взметамъ по направленію къ лѣсу, лежащему вдали, въ лощи» нахъ, и издалека видѣлъ его въ чистомъ воздухѣ, — голый, мая ленькій, видный изъ конца въ конецъ, — потомъ спустился въ эти лощины и зашумѣлъ копытами лошади по глубокой прошя логодней листвѣ, мѣстами совсѣмъ сухой, палевой, мѣстами мокрой, коричневой, переѣхалъ засыпанные ею овраги, гдѣ еще

шла полая вода, а изъ подъ кустовъ съ трескомъ вырывались прямо изъ подъ ногъ лошади смугло-золотые вальдшнепы» ... 1)

Сквозь такую стилистическую чащу осмысливающее воображеніе читателя пробирается лишь съ большимъ напряженіемь: только что оно сосредоточилось на «Мить», какъ надвигаются опредъленія «льса»; а существительныя «Митя» и «льсь» оба мужеского рода — и на одинъ краткій мигъ возникаетъ опас» ность, что прилагательныя «голый», «маленькій» будуть отнесе» ны... къ Мить; только что вниманіе сосредоточилось на льсь, какъ надвигаются новые образы, — «лошади» и «листвы» и воображеніе затопляется опредѣленіями «листвы», которыя на одинь краткій мигь пытаются приціациться къ «лошали» (обіь — жен» скаго рода!)...

Воть еще образець: «За думами о будущемъ дворѣ Семенъ и не замътилъ, какъ поднялся изъ села по широкому прогону на гору и отмахалъ по большой дорогь съ версту – до своей запотолоченной, но еще не крытой избы, стоявшей на опушкъ хлъбовъ, въ пустомъ полъ, чернъвшей окнами безъ рамъ и тускло блестъвшей противъ мъсяца концами свъжихъ бревенъ по угламъ, паклей, торчавшей изъ пазовъ и щепой на порогѣ»... 2)

Только что воображение читателя освоилось съ ществующимъ «Семеномъ», какъ въ фокусъ детальнаго описанія оказыя вается изба, и уловить, что въ этой избѣ «стоитъ», «чернѣетъ», «блестить», «торчить», «лежить» (щепа), и что къ чему относится, удается только посл'в второго или даже третьяго прочте-

нія фразы. <sup>3</sup>)

У читателя дълается такое чувство, что его воображение задергано; что на него навалилось нѣкое множество, толпа требовательныхъ, но не расчлененныхъ, яркихъ деталей; словно на него накричали и натопали; или будто ему на голову стрясли цълую яблоню, предоставляя ему утъщаться тъмъ, что это яблоки прекраснаго сорта... Воображение читателя не успъваетъ следовать за авторомъ, потому что автора самого закружило въ вихръ яркихъ деталей. Не успъвая, воображение устаетъ, изнемогаеть, отказывается; и читатель начинаеть, - о, ужась! просто пропускать такія фразы. Аеслионь заставляеть себя вернуться, разобраться и все точно представить себъ, тогда онъ скоро замъчаетъ, что многія, а иногда почти всв эти точныя детали, мъткія опредвленія, зоркія характе: ристики-въ дальн в й шемъ разсказ в ненуж къ существу дѣла не относятся и напрасно утомляють вниманіе читате: л я. Все это загромождаетъ разсказъ потокомъ чувственно изобразительныхъ, но художественно излишнихъ деталей. Экономія не соблюдена: ни въ эстетической ма-

<sup>1) «</sup>Митина Любовь». 31 — 32.

<sup>2) «</sup>Жертва». 30. Сб. «Послѣднее Свиданіе».

в) Срв. еще напр.: «Благосклонное Участіе». 80-81. Сб. Божье Древо»: «Игнать», 23. Со словъ «Долго прощались». Сб. «Грамматика Любви»; «Я все молчу», 41—42. Со словъ: «Пріѣхали торгаши» до конца абзаца. Сб. «Послѣд» нее Свиданіе». И мн. др.

теріи, ни въ душѣ читателя; художественное довѣріе настояща го, глубокаго читателя — проматывается. Чувственная мѣра нарушена. Несущественное процвѣтаетъ или даже первенствуетъ. Драгоцѣнный талантъ растрачивается. И въ концѣ концовъ — недифференцированности вътствуетъ недифференцированности художественнаго акта.

7. Отмѣчу еще одну особенность стиля у Бунина, связань ную со всѣмъ тѣмъ, что я только что отмѣтилъ. Это особое строеніе фразы, при которомъ подлежащее отодвия гается къконцу. Напримѣръ: «послѣже этого пошли тепы лые туманы, дожди,... тронулась рѣка, стала радосты и ново чернѣть, обнажаться въ саду и на дворѣ земля»... 1)

Такое строеніе фразы создаеть иногда затрудненіе для чиг тателя: тексть несеть ему двів и три строчки тонкихь и острыхь опредівленій, а воображеніе его рівшительно не знаеть, къчему ихь отнести: качества, состоянія, дівствія нагромождаются, а субъекта, стержня— нівть; воображеніе недоуміваеть, выхорить изь своей художественной непосредственности, зоветь на помощь мысль, чтеніе прерывается, мысль отыскиваеть подлежающее вы конців, душа на время успокаивается и чтеніе возобновомяться. Наприміврь: «еще съ утра до вечера, неустанно, изнеморая оты блаженной хлопотливости, такъ, какъ оруть они» (?!) «только ранней весной, орали грачи вы голыхь віжовыхь березахь вы сосіднемь поміщичьемь саду»... 2)

Эта стилистическая манера отнюдь не искусственна и не надумана; она рождена актомъ. Такое строеніе фразы передаєть р и т м ъ д у х о в н а г о б е з в о л і я, — падающій, сникающій, покорно отдающійся, томно томящійся, чувственно упоенный, разслабленно опьяненный; оно рисуетъ не бытіе, не дъйствіе, и даже не обстояніе, а безвольное разморенное эротическое состояніе... Эстетическая матерія точно передаєть здъсь строеніе акта и природу образа, а, можетъ быть, — и предмета. Это художественно: но только при соблюденіи мъры въ стилъ и въ образъ. Иногда же эта мъра не соблюдается.

«А весна требовала любви. Плывя (?), дрожа, опиралась на колѣни переднихъ ногъ, потомъ неуклюже поднимала задъодна корова, другая, третья»... $^3$ )

Въ душѣ читателя происходитъ слѣдующее. Воображеніе прилѣпляется къ образу «весны», и грамматическое чувство удер» живаетъ ее въ качествѣ подлежащаго. Обѣ силы сообща — доъвѣрчиво ждутъ отъ автора свойствъ и проявленій весны, тѣмъ болѣе, что она выступила властно требующи мъ субъектомъ. И вотъ текстъ, не давъ читателю никакого новаго образа, субъекта, подлежащаго, — начинаетъ вдвигатъ ему въ душу одно опредѣленіе за другимъ, въ подходящемъ женскомъ родѣ, но въ невозможномъ сопряженіи съ весною . . . Въ душѣ мгновен»

<sup>1) «</sup>Митина Любовь». 31 2) «Митина Любовь». 35.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) «Игнать». 25. Сборникъ «Грамматика Любви»

но воцаряется растерянность, — стилистическая, осмысливающая, воображающая безпомощность... Мигь смятенія... И наковнець только выручаеть въ качествь новаго субъекта—образа—стержня—«корова».

Такіе миги вырывають душу читателя изъ цѣльнаго и непосредственнаго созерцанія, изъ самозабвеннаго пребыванія въ
образѣ и предметѣ. Словесная ткань перестаетъ быть прозрачнослужебной средой и начинаетъ требовать отъ читателя нарочитыхъ рефлективныхъ напряженій. Значитъ поэтъ, слѣдуя за своимъ актомъ и стилемъ, пренебрегъ художественнымъ процессомъ, совершающимся въ душѣ читателя...

Таковъ стиль Бунина. Поистинѣ— стиль, рожденный актомъ. Но инстинктивный актъ движется своими потребностями и своими видѣніями. И рожгденный имъ стиль оказывается не прокаленнымъни мыслью, ни волею; онь оказывается недифференцированнымъ въсвоемъсинтаксическомъстроении исклоннымъ приносить интересъ образа, предмета и читателя— въ жертву радогстямъ чувственнаго словотворчества.

Такова опасность инстинктивнаго акта: эстетичесь кая матерія грозить художнику непокорнымъ своеволіемъ.

8.

Обратимся теперь къ изслѣдованію э с т е т и ч е с к а г о о б р а з а въ твореніяхъ Бунина. Этоть образъ тоже обусловинны въ своемъ составѣ строеніемъ его художественнаго акта.

То, что Бунинъ даетъ читателю изъ своего акта и своимъ стилемъ — есть природа и человъкъ.

Точность, щедрость и красоту его природной живописи я отмъчаль уже не разъ. Природа царить у него и надъ человъкомъ и въ самомъ человъкъ. Актъ Бунина — инстинктивенъ. И въ силу этого природа, какъ таинственное лоно инстинкта, должа на была получить въ его изображеніи — первенство и верховенство надъ человъкомъ. Бунинъ-хурожникъ мыслить не отъ человъка — внизъ, къ природъ; а отъ природы — вверхъ, къ человъку. Здъсь не природа очеловъчивается и одухотворяется, а человъческій духъ оестествляется, матеріализуется и становится элементарнымъ.

Это торжество природы надъ человѣкомъ выражается въ томъ, что героемъ Бунина является существо первобыть ное. Видя такого человѣка, именно такого или даже только такого, — Бунинъ, со всею своею художественною честностью, объективностью и смѣлостью, показываетъ человѣка именно такимъ, а не другимъ. Своихъ героевъ онъ не выг думываетъ, не построяетъ, не сочиняетъ; а видитъ ихъ, и

описываетъ ихъ такими, какими увидѣлъ. Не его вина, что ему данъ такой актъ; и кто возьмется судить или винить художни ка за строеніе его акта? Бунинъ видитъ человѣка въ его и нъ с т и н к т и в но - р о д о в о м ъ п р и м и т и в ѣ. В с я к а г о человѣка: и русскаго, и не русскаго; и европейца, и американца, и индуса; и крестьянина, и интеллигента, и полу-интеллигента. Изъ этого примитива, духовно не опаленнаго, не дифференцированнаго — расхлестнулась въ Россіи большевицкая стихія; и потому Бунинъ является въ извѣстномъ смыслѣ предчувственникомъ, прозорливцемъ и предсказателемъ большевизма (подобно Голубкиной — въ скульптурѣ). 1)

Есть въ человъческой душъ нъкое темное лоно, гнъздо инстинкта во всей его первобытности, остротъ, необузданности и бездуховности. Именно въ это лоно ведетъ насъ Бунинъ; именя но его онъ и показываетъ намъ, читателямъ, съ неумолимой честностью. Онъ видить его во всъхъ, – и въ тъхъ, кто еще совсьмъ первобытенъ, и въ тъхъ, кто живетъ на высшей ступени цивилизаціи, и въ некультурномъ дикарѣ, и въ культурнѣй= шемъ ученомъ. Дъло не только въ томъ, что «на свътъ есть еще первобытные люди»; но въ томъ, что «примитивъ» таится, повидимому, во вс вхъ людяхъ; онъ можетъ проснуться и овладъть ими. Мало того: люди прямо склонны впадать въ первобытность. «Человъкъ весьма охотно, даже съ радостью осво» бождается отъ всякихъ человъческихъ узъ, возвращается къ первобытной простоть и неустроенности, къ дикарскому образу существованія — только позволь обстоятельства, только будь оправданіе»...²) Почему? Да потому, что люди близки къ примитиву всегда. И въ любви матери съ младенцу: это чувство «непрестаннаго восторга и умиленія, чувство тѣлесной любви къ рожденному, сладкая тревога видъть, обонять, осязать и прижимать къ своей груди это растущее и съ каждымъ днемъ болѣе пробуждающееся для мысли и сознанія существо»...<sup>3</sup>) И въ любви къ животнымъ. <sup>4</sup>) И въ кровожадныхъ порывахъ охотни ка. 5) И во взаимной любви между мущиной и женщиной.

Въ разсказѣ «Солнечный Ударъ» — это, повидимому, с о л н ц е, многонедѣльное лежаніе на солнцѣ въ Анапѣ, повергаетъ молодую и порядочную женщину въ любовный романъ

<sup>1)</sup> При этомъ Бунинъ никогда не говорилъ, что человъкъ этимъ исчеря пывается или въ частности, что русскій человъкъ къ этому сводится. Онъ мѣястами и самъ показываетъ это другое, но обычно въ видъ очерковъ, наброся ковъ, такъ, какъ если бы онъ касался здѣсь сферы, лежащей за предълами его спеціальнаго видънія и созерцанія. Искусство Бунина непозволительно толковать ни въ смыслъ соціологическаго обобщенія, ни въ смыслъ презрънія его къ русскому народу. Къ какому бы народу Бунинъ ни принадлежаль, онъ навъряное всюду увидълъ бы ту же самую стихію и оказался бы ясновидцемъ и живописцемъ животной глубины додуховнаго инстинкта. Срв. «Сынъ», «Господинъ изъ С. Франциско», «Петлистыя Уши» и многіе очерки въ сб. «Роза Ісярихона». Поэтому неправы тѣ въ Западной Европъ, кто пытается доказать на основаніи произведеній Бунина варварство и ничтожество русскаго человъка.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Роза Іерихона». 134.
 <sup>3</sup>) «Роза Іерихона». 85.

<sup>4)</sup> Срв. «Антоновскія Яблоки». 20. «Игнать». 19. 20.

<sup>5) «</sup>Жизнь Арсеньева». 47. «Русакъ», сб. «Митина Любовь».

съ незнакомымъ офицеромъ на одну ночь... Но въ дѣйствия тельности дѣло было рѣшено, конечно, не солнцемъ, а первобытною силою, которая не угасала въ ней никогда и только ожидала своего мига... Одному этотъ мигъ дается — солнцемъ, другому метеоромъ, третьему – весною, четвертому – стеченіемъ обстоятельствъ... Примитивъ живетъ въ людяхъ всегда. Именно поэтому культурный человѣкъ, когда видитъ голыхъ дикарей, испытываеть «странное даже какъ будто стыдное, райское (да, истинно райское) чувство». 1) Именно поэтому его можеть потянуть и къ крестьянскому быту; и Бунинъ дъйствительно однажды описываетъ, какъ заманчиво и чудесно было бы стать мужикомъ. Первобытное зоветъ назадъ, нѣдра родового, до - духовнаго инстинкта; зоветъ и звуками, и запахами, и поломъ, и кровью, и рожденіемъ, и смертью. Вотъ, напримъръ, двое подростковъ татаръ танцуютъ подъ дудку на крышъ сакли: «какое душу раздирающее блаженство въ дудоч» ныхъ переливахъ и вопляхъ»...²) какая древность отзывается зльсь въ мятущейся и тоскующей примитивной лушь...

Это инстинктивное лоно, есть темное лоно, подобно океа» ну съ его «водами многими», въ объятіяхъ котораго Бунинъ провель такъ много упоенныхъ часовъ. 3) Оно живетъ въ каж домъ изъ насъ. «Чужая душа потемки» отмъчаетъ Бунинъ; и добавляетъ: «нътъ, своя собственная гораздо темнъй». 4) Оно есть царство глухой первобытности, которую Бунинъ художест» венно сближаеть то съ льсной, то со степной глушью. «Тамъ мхи, лишаи, сучья въ гнили и еще въ чемъ то, что виситъ поя добно зеленоватымъ космамъ сказочныхъ льсныхъ чудищъ, образують дебри, нѣкую дикую русскую древность». 5) Или, иначе: здѣсь «кровное родство наше съ глухоманью степи»... <sup>6</sup>) Это жилище того опыта, безъ котораго разумъ человъка малого стоитъ: «Да, да, разумъ нашъ такъ же слабъ, какъ разумъ крота или, пожалуй, еще слабѣй, потому что у крота, у звъря, у дикаря хоть инстинктъ сохранился, а у насъ, у европейцевъ, онъ выродился, вырождается» . . . <sup>7</sup>)

Здѣсь человѣкъ пріобщается древней чуткости, опыту своихъ предковъ, — древней любви, древней чуткости, древней жестокости и кровожадности. И самые люди, живущіе изъ этого инстинкта, выглядятъ какъ древніе пришельцы, — не то персы, не то индусы, не то гориллы. Таковъ, напр., лакей Герваська, странно родственный Смердякову: «Будылястый, очень широкій въ плоской костлявой груди, съ маленькою головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, онъ, этотъ древній аріецъ, парсъ изъ Суходола, уже получиль кличку — борзой». 8) Смѣясь, онъ «ска-

<sup>3</sup>) «Воды Многія» Сб. «Солнечный Ударъ». <sup>4</sup>) «Божье Древо». 117.

<sup>8</sup>) «Суходолъ». 319.

<sup>5) «</sup>Первая Любовь». 90. Сборникъ «Божье Древо».

<sup>9) «</sup>Суходоль». 276. 7) «Братья». 86. Сборникъ «Чаша Жизни».

лить по собачьи голубоватыя челюсти». 1) Развязань до наглости; преступенъ. Внъшностью и прозвищемъ (борзой) — онъ близокъ къ «Митѣ», этому фатально-страстному, лунатическому, ревния вому примитиву съ Молчановки ... 2) Такова первая любовь Арсеньева, дъвушка - горничная: «очень смуглый цвътъ кожи, ловкое и крыпкое дывичье сложение, маленькия и сильныя руки и ноги, узкій разрѣзъ черно орѣховыхъ глазъ. Она была похожа на индіанку: прямыя, но грубоватыя черты темнаго лица, грубая смоль плоскихъ волосъ. «Прелесть» нѣсколько дикарская». <sup>3</sup>)

Или же это — горилло-образные люди, <sup>4</sup>) не разъ зарисованные Бунинымъ: Иванушка и Почтарь въ «Деревнъ», Гория зонтовъ въ «Чашъ Жизни», Захаръ въ разсказъ «Захаръ Воя робьевъ»... Вотъ онъ — почтарь: «огромный, сутулый, съ гу» стыми, сърыми волосами, торчавшими изъ ушей и ноздрей, съ большими бровными дугами и глубоко запавшими глазами — настоящая горилла». <sup>5</sup>) Таковъ и учитель Горизонтовъ, изъ семи» наристовъ: «Онъ ходиль въ крылаткъ, въ широкополой шляпъ», въ «чугунныхъ калошахъ, съ костылемъ въ одной рукѣ и гро» маднымъ парусиновымъ зонтомъ въ другой. Къ старости онъ еще болье раздался въ кости, сталь еще болье великъ, сутулъ, неуклюжъ — и быль прозвань въ Стрелецкъ мандриллой. Вся купальня дивилась на него, когда въ первый разъ появился онъ въ ней»... Прожорливъ. Съ громоподобнымъ басомъ. Цъль его бытія — «въ долгольтіи и наслажденіи». «Крытко и заботливо держа въ своихъ рукахъ драгоцѣнную чашу жизни»... <sup>6</sup>)

Такова вившность этихъ людей, когда она вврно передаетъ ихъ душевный укладъ. А душевный укладъ, свойственный этимъ

героямъ, изображается такъ.

Прежде всего въ нихъ живутъ первобытно-древнія побуж денія и способности. «Смутно звучало въ его сердцѣ то, что было смутно воспринято несмътными сердцами его предковъ». 7) Идеть ли гроза, этихъ людей охватываеть «древній страхъ огня». 8) Полюбляють ли они — они переживають свою любовь такъ: «потому я избралъ ее, что вспомнила ее душа моя». 9) Наряду съ первичнымъ страхомъ и забвенной памятью въ нихъ живетъ и древняя тоска:

> «Гляжу вокругъ, остановивъ коня, И древній челов'єкъ во мн $^{10}$  тоскуєть»...  $^{10}$ )

Обостряющійся инстинкть даеть такому человіку необы чайную чуткость: «сердце его колотилось, руки дрожали, лицо горъло, слухъ быль чутокъ какъ у звъря». 11) Это

2) «Митина Любовь». 9. 11. 12. 13. 16. 20. 21. 23. 48. 49. 76 и др.

<sup>1) «</sup>Суходолъ». 320.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) «Жизнь Арсеньева». 198; срв. встрвчи съ цыганками «Костерь». 159 — 160. «Жизнь Арсеньева». 212.

<sup>4)</sup> Срв. о горилло - образности Толстого, Будды, Соломона «Цикады».

<sup>°) «</sup>Деревня». 69—70. °) Чаша жизни». 26. °) «Братья». 59. Сб. Чаша Жизни». °) «Суходолъ». 351. °) «Роза Іерихона». 180. °) Стихотвореніе. Сб. «Митина Любовь». 192. 11) «Деревня». 19.

именно то и такъ, какъ было у первобытныхъ охотниковъ-слѣ допытовъ, 1) ощущающихъ «изумленіе и восторгъ» при видѣ добычи, или при звукъ того «пронзительнаго, младенческаго воп» ля». которымъ кричитъ заръзываемый заяцъ, ощутившій въ своемъ гордъ «этотъ острый огонь кинжала»...<sup>2</sup>)

Въ этихъ душахъ цвътутъ родовыя, до-личныя страсти; а то, что индивидуализируетъ человъка - оказы вается въ ихъ жизни несущественнымъ; оно отхоя дить на дальній плань или совсьмь отпадаеть. Можеть быть такь, что «за этой душой» «ръшительно ничего, кромъ самаго прими» тивнаго нътъ». 3) Такой «примитивъ» отличается чрезвычайной эмоціональной подвижностью и измѣнчивостью. Воть онь этотъ рикша въ Коломбо, «въ чувствахъ своихъ быстро измѣн» чивый». 4) Но таковъ же и отецъ автора въ «Жизни Арсеньева», и отецъ разказчика въ поэмѣ «Суходолъ». 5)

Зато примитивъ не разсуждаетъ и не мыслитъ: «онъ за всю свою жизнь ни разу не подумаль: да что же такое его Богъ? – какъ никогда не думалъ онъ ни о небъ, ни о землъ, ни о рожденіи, ни о смерти»...<sup>6</sup>) Такъ же не разсуждая, можеть онъ пойти отъ добраго сердца на нельпый, ненужный подвигь и погибнуть отъ ненужнаго риска, — пользетъ на рожонъ отъ неосмысленнаго прилива доброты. <sup>7</sup>) Эти люди «жи» вуть младенчески-непосредственной жизнью». 8) И могуть прожить долгую жизнь, не воспринявь никакихъ сильныхъ впечатльній, не запомнивъ никакихъ событій: «ньть», говорить стольтній старикъ, «исторіи слава Богу никакой не было»... <sup>9</sup>) Все въ немъ «нечеловъчески просто» и «пусто, пусто»; и пом» нить онъ только, что онъ древенъ, что ночь заходить и что «жутко». 10) «Вотъ седьмой десятокъ живу,» говоритъ другой, «а благодарю Бога, интереснаго ничего не было»... Все тонетъ въ этомъ повседневномъ, безразлично-животномъ быту бездуховнаго существа; это — быть, въ которомъ нъть ни индивия дуализацій, ни дифференціацій, а потому нътъ ни событій, ни исторіи; такъ, что сынъ не помнитъ лица своихъ умеря шихъ родителей. <sup>11</sup>) Этотъ внв-историческій, или прэ-историческій быть — Бунинъ самъ называетъ «страшнымъ» въ его «обы» денности»; здъсь жизнь «проста, обыденна, съ непонятной быстротой размънивается на мелочи»...<sup>12</sup>) И отъ этой «полуди»

<sup>1) «</sup>Сосны». 134—135. Сборникъ «Начальная Любовь».

<sup>2) «</sup>Русакъ». 163—164. Сборникъ «Митина Любовь». Срв. сцену съ ворономъ въ «Жизни Арсеньева».

в) Срв. описаніе «Таганка», этого Древняго Человѣка въ сб. «Крикъ».
 ф) «Братья». 60. Сборникъ «Чаша Жизни».
 «Суходолъ». 282–283; срв. зарисовку съ натуры «Журавли». 100. Сб. «Божье Древо».

 <sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) «Деревня». 171.
 <sup>7</sup>) «Лапти». 144—146. Сборникъ «Митина Любовь».

в) «Братья». 90 в) «Древній Человъкъ». 165. Сборникъ «Крикъ».

<sup>10) «</sup>Древній Человѣкъ». 160—169.

<sup>11) «</sup>Оброкъ». 67. Сборникъ «Послѣднее Свиданіе».

<sup>12) «</sup>Деревня». 117. 130.

кой простоты существованія», такъ близко до озлобленной грызни за кусокъ добычи. Вотъ живой символъ этой жизни: «грыз» ня собакъ, пирующихъ за садомъ надъ дохлой коровой». 1)

Острота потребностей и страстей всегда характерна для этихъ люлей. Они — наслаж денцы; и жизненную остя роту они цѣнятъ высоко. Ихъ цѣль - въ «долголѣтій и нас» лажденіи»...<sup>2</sup>) Страстямъ своимъ эти люди отдаются съ первобытной безоглядностью. Воть что разсказываеть самъ о себъ бывшій пом'єщикъ, будущій красный генераль: «попаль въ циркъ, увидаль рыжую навздницу, - и замътьте, далеко не первой молодости, и черезъ недълю женатъ... Глупо до восхищенія, до nec plus ultra!» <sup>3</sup>) Пьянству всяческому они привержены чуть ли не повально. «Изъ за табаку» такой курильщикъ «готовъ пойти на какія угодно униженія». 4) Когда они «молятся Богу», то на самомъ дъль они въруютъ въ темную силу и боятся ея. 5) Духовнаго начала въ нихъ обычно нътъ и слъда. «Добро» и «зло» это не ихъ языкъ и не ихъ различіе. Стыдливостью они тоже не страдають; и въ этомъ отношеніи наивный дикарь мало чьмь отличается отъ взрослой красавицы-гимназистки, у которой первобытное, наивное нецъломудріе какъ бы въ крови: у нея было, по выраженію автора — «легкое дыханіе» въ люб» ви . . . 6)

Воть почему эти люди, не индивидуализированные, какіе то родовые субъекты, оказываются какъбы гнвздами и органами своихъ страстей; это медіумы своихъ влеченій и чужихъ вліяній. Ихъ страсти занимають не только «глубину» ихъ животной души, но и верхніе слои ихъ сознанія. Жутко смотръть имъ въ глаза: «въ черныхъ, блестящихъ глазахъ Люб» ки была какая то преступная ясность, откровенность». 7) Воть передъ нами Акимъ, садовый сидълецъ: «похожъ на дурачка, лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальской работы, тело тощее и какое то деревянное, глаза подъ больши» ми сонными въками, ястребиные, съ золотистымъ кружкомъ въ зрачкъ. Опуститъ въки – картавый дурачекъ; подниметъ, даже жутко немного». 8) Вотъ еще Макарка-странникъ: засаленный подрясникъ, палка съ крестомъ и копьемъ, «волосы длинные, желтые, лицо широкое, цвъта замазки, - ноздри, какъ два ружейныхь дула, нось переломленный въ родъ съдельнаго арчака, а глаза, какъ это часто бываетъ при подобныхъ носахъ, - свътлые, остро блестящіе». Безстыжій, смѣтливый, ворь, преступникъ, бабій прорицатель и изнасилователь; говоритъ тономъ, не допускающимъ возраженій. 9) Воть злыдень Ермилъ, — убійца не для грабежа, а со злобы, съ обдуманнымъ намъреніемъ; а ко-

1) «Деревня». 173.

<sup>2</sup>) См. «Чаша Жизни». 26.

<sup>3) «</sup>Красный Генераль». 138. Сб. «Митина Любовь».

 <sup>«</sup>Деревня». 211.
 «Ермилъ». 88. Сб. «Послъднее Свиданіе». «Бримани».
 «Брамматика Любви».
 «Игнать».
 Кактор Дыханіе».
 «Грамматика Любви».
 «Игнать».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) «Деревня». 161. 9) «Деревня». 88-89.

го убить — ему все равно; «нѣтъ, я дюже преступный», говориль онъ «съ удовольствіемъ» . . . <sup>1</sup>)

Похотливы эти люди свыше всякой мфры. Юшка, «провиненный монахъ», разсказываеть о своемъ изгнаніи изъ Лавры «при посредствь непристойныхь жестовь и тьлодвиженій» — «яровить я — пуще козла лаврскаго»... Похотливость ихъ всесторонняя: одинъ — взываетъ всю жизнь «дай мнѣ удовольст» вія!» 3) другой ъстъ безъ конца; третій пьетъ чай безъ краю; четвертый распутничаеть. Таковь юродивый странникь Тимоша Кличинскій съ его вѣчнымъ возгласомъ «бяда»! и съ вѣчно не сытою утробою: приходить «женоподобно-жирный», жадно начавкивается, изрекаетъ что то непонятно-неподобное, нагоняетъ страхъ и уходить неизвъстно куда. 4) Таковъ и другой: «Дроня, длинный, рыжій, не въ мѣру оборванный»; просто — пьяница, но играетъ блаженнаго. 5) A вотъ еще «сельскій писарь», который «жралъ больше свиньи, а кричалъ, что все ему мало и вы» сохъ до неузнаваемости». 6) И рядомъ съ нимъ, воплощениемъ жадности, предстаетъ предъ нами самовдъ въ зоологическомъ саду, этотъ живой идолъ, весь день дающій публикъ «представ» леніе»: «межъ его кольнъ стояли двь деревянныхъ миски, одна съ кусками сырой конины, а другая съ черной кровью - и вотъ, онъ бралъ кусокъ конины своей короткой ручкой, мокалъ ее въ кровь и соваль въ свой рыбій роть, глоталь и облизываль пальцы»... « и ничего не выражають его темные, узкіе глазки, его плоскій желтый ликъ»... И на это «представленіе» смотрить и навсегда запоминаетъ его влюбленная пара... 7) Воронежскій «угодникъ» — «Мужикъ-Борода»; такъ самъ себя и называеть; пьеть вычно и безмюрно чай, изъ полоскательния цы... Передъ нимъ «десятка два бабъ»: со слезами умиленія смотрять на угодника». «Допьеть, вытреть рукавомь поть съ лысаго лба, облизнется и опять шепоткомъ приказываетъ — «на» ливай послаже» ! . . . <sup>8</sup>)

Въ такихъ бездонно несытыхъ душахъ (каждая по своему!), въ нихъ и изъ нихъ, — какъ бы всю жизнь кричитъ ф игл и н ъ, вопли котораго Бунинъ описываетъ не разъ: «А какъ совсѣмъ стемнѣетъ и выступятъ надъ боромъ звѣзды, всюду начинаютъ орать хриплыми, блаженно-мучительными голосами филины, и въ голосахъ этихъ естъ что то недосозданное, довременное, гдѣ любовный зовъ, жуткое предвкушеніе соитія звучитъ и хохотомъ, и рыданіемъ, ужасомъ какой то бездны, гибели»... <sup>9</sup>) Или иначе: «сначала залаялъ, потомъ сталъ жалобно, моляще, накъ ребенокъ, ныть, плакать, хлопать крыльями и клекотать съ

<sup>2</sup>) «Суходоль». 353—354.

<sup>в</sup>) «Деревня». 120.

7) «Идолъ». Сборникъ «Роза Іерихона».

<sup>1) «</sup>Ермилъ». 97. Сборникъ «Послѣднее Свиданіе».

<sup>3) «1</sup>оаннъ Рыдалецъ». Сборникъ «Послъднее Свиданіе».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) «Суходолъ». 350—35I. <sup>5</sup>) «Суходолъ». 349.

в) «Слава». 147—148. Сборникъ «Митина Любовь».

в) «Несрочная Весна». 204. Сб. «Роза Іерихона».

мучительнымъ наслажденіемъ, сталъ взвизгивать, закатываться такимъ ерническимъ смѣхомъ, точно его щекотали и пытали»...¹) «Говоря вообще», замѣчаетъ у Бунина знаменитый медикъ, профессорь, распутывая старую любовную исторію со своимь бывшимъ соперникомъ, нынъ случайнымъ пароходнымъ спутникомъ, «болье сладострастнаго животнаго, чыть человыкь, ныть на зем» ль, хитрая человьческая душа изо всего умьеть извлекать наслажденіе» . . . <sup>2</sup>)

Но примитивъ отличается не только чувственной ненасыт: ностью, а и многими иными качествами животнаго. Онъ хи-щенъ, жаденъ, лютъ и золъ. <sup>3</sup>) Жаденъ мужикъ: «у него среди зимы снъга не выпросишь». <sup>4</sup>) «И недаромъ, знать, пословица лежить: «Золь злодьй, а ты позльй злодья окажись». 5) «Ньть. видно, никогда не откажется человъкъ искалъчить, пришибить человѣка, если только съ рукъ сойдетъ»... <sup>6</sup>) Люди голаго инстинкта живуть, какъ стервятники. Воть онь: «золь онь, долж» но быть, невьроятно, голодень такъ, какъ можетъ быть только стервятникъ. Въчная брань со всъмъ живущимъ и въчное выслъжи» ваніе жертвъ или падали»...<sup>7</sup>) И чѣмъ эти люди лучше ярост ныхъ «рыбалокъ», расклевывающихъ свою случайную добычу на морской волн $\S^8$ )

Такой человькъ жестокъ самой первобытной злобной жестокостью, неръдко безцъльной, самодовльющей; иногда мстительной, всегда по звъриному рвущей себъ и свою, и чужую часть...<sup>9</sup>) Онъ подчасъ и самъ знаетъ это о себъ и даже вы» говариваетъ... Вотъ откуда эта подслушанная Бунинымъ народная пъсня: «Зародила, сохранила меня мать – непроститель» наго»... 10) Изъ этого возникаетъ цѣлая «идеологія» въ устахъ нъкоего Соколовича, доказывающаго безстыдную и безжалостя ную жестокость людей во всв ввка, съ твмъ, чтобы сейчасъ же взять съ улицы заморенную, жалкую проститутку, задушить ее ночью ради удовольствія и безследно исчезнуть въ петербургской толпѣ...<sup>11</sup>) О, эти звъриныя формы обиженной ревности, иногда зръющей черезъ всю жизнь, чтобы разрядиться убійст» вомъ. 12) иногда вспыхивающей потокомъ дикой ругани . . . 13)

1) «Митина Любовь». 33.

<sup>6</sup>) Тамъ же. 89.

7) «Копье Господне». 166.

в) См. стихотвореніе Бунина «Смятенье, крикъ и визгъ рыбалокъ».

<sup>2) «</sup>Въ Ночномъ Моръ». 178—179. Сборникъ «Роза Іерихона». 3) «Деревня». 242. «Хорошая Жизнь» (весь разсказъ), Сб. «Крикъ». «Древяній Человъкъ». 159. «Божье Древо». 117.

<sup>4) «</sup>Деревня». 164. 5) «Ермилъ». 89. Сборникъ «Послъднее Свиданіе».

<sup>8)</sup> См. стихотвореніе Бунина «Смятенье, крикъ и визгъ рыбалокъ».
9) «Деревня», 60. 254. «Послѣдній День». 113. Сб. «Посл. Свид.»; «Сила». 87—90. Сб. «Крикъ»; «Хорошая жизнь». 97. 115; «Ночной Разговоръ»; «Веселый Дворъ» — всѣ три разсказа въ сб. «Крикъ»; «Суходолъ» 311; «Петлистыя Уши». 29—44. Сборникъ «Роза Іерихона»; «Весенній Вечеръ», сб. «Чаша Жизни». «Я все молчу», «Сказка», «Будни», сб. «Посл. Свид.»; «Страшный Разсказъ», сб. «Солнечный Ударъ», и др.
10) «Весенній Вечеръ». Сб. «Чаша Жизни».
11) «Петлистыя Уши. 29—44, сб. «Роза Іерихона».
12) «Игнатъ», сборн. «Грамматика Любви».
13) «Божье Древо». 104; срв. «Въ Ночномъ Морѣ», сб. 2022 Іерихона».

сб. Роза Іерихона». 179.

О, эти хладнокровные, смакующіе разсказы убійць о своихь мучавшихся жертвахь, эти драки и взаимныя мучительства...¹) О, эти хищные люди и ихъ свиръпыя дъла! Насмотръвшись этихъ образовъ, невольно вздохнешь вмъстъ съ Бунинымъ: «пси и человъци единое въ свиръпствъ и умъ»...²)

Въ разсказѣ «Аглая» поэтъ повъствуетъ о русскомъ юрогаѣ «Матвеѣ Прозорливомъ», коему было даровано видѣть въ мірѣ лишь одно темное и низкое, проникать въ сокровеннѣйшія скверны людскихъ сердецъ, «прозрѣвать лики подземныхъ дьяволовъ и слышать нечестивые совѣты ихъ» . . . 3) И невольно спрашиваетъ себя вдумчивый читатель, ужъ не свой ли даръ прозорливости поэтъ разумѣетъ здѣсь, — даръ, подобный Матвею?

## g

Однако инстинктъ человѣка отнюдь не сводится къ влеченіямъ «непростительной» «свирѣпости». Инстинктъ есть основная двужущая сила человѣчества. Его первобытныя, бездуховныя или до-духовныя формы совсѣмъ не суть ни единственныя, ни главныя. Тысячелѣтіями инстинктъ и духъ человѣка работаютъ надъ взаимнымъ сближеніемъ: духъ проника етъ въ инстинктъ, облагоражива етъ его и усилива етъ себя его силою; а инстинктъ, пріобрѣтая свѣтъ и правоту духа, мудрѣетъ и науча ется служить ему въ радости и успокоеніи.

Эту первобытную мудрость инстинктивной души Бунинъ не могъ не отметить и не оценить. Но, увы, лишь мимоходомъ...

Вотъ садовый сидѣлецъ Яковъ Демидычъ, мудро и радостио постигшій свое естество. «Я живу, какъ Богъ велитъ, я, какъ говорится, Божье древо: куда вѣтеръ, туда и оно»... «Скучать не годится. День меркнетъ ночью, человѣкъ печалью. А мнѣ скучать не почемъ, я завсегда довольный». «Что, значитъ, кому назначено, всякому свой жребій, на это обижаться нельзя. Богъ и колосьевъ не сравнялъ». «Скудости» своей онъ не стыдится; и смерти не боится: «Вона, чего ея бояться! Все равно, никто жалѣть не будя. Лѣсъ по дереву не тужитъ!» А что на томъ свѣтѣ ничего не будетъ — это невозможно: «Нѣтъ, это вы глупо говорите. Это выходитъ, что и Бога нѣту? Кабы Его не было, вся бы земля пропала»... <sup>4</sup>) Вотъ еще — караульщикъ Мелитонъ: «Грѣхи у всякаго есть. На то и живемъ-съ, чтобы за грѣхи каяться»... <sup>5</sup>) Въ страданіяхъ и гоненіяхъ такая душа находитъ спокойствіе и будрость: «У Бога всего мно»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Срв. «Ночной Разговоръ», «Сила», «Веселый Дворъ» въ сб. «Крикъ».
<sup>2</sup>) «Жизнь Арсеньева». 110.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) «Аглая». 60. «Господинъ изъ С. Франциско».

<sup>4) «</sup>Божье Древо». 15. 17. 21. 5) «Мелитонъ». 154. Сб. «Начальная Любовь».

го. Хорошо было»...¹) Но всю собранную Бунинымъ первобытную мудрость не пересказать...<sup>2</sup>)

Вотъ откуда у первобытнаго человѣка эта способность къ беззаботному оптимизму и къ эпическому, спокойно-величавому умиранію въ простоть: въдь это онъ отбываеть «оброкъ» Богу. 3) Это сочетаніе первобытнаго инстинкта съ духомъ даетъ такимъ людямъ еще иныя способности и прежде всего нъкое инстинктивное въдъніе законовъ и формъ природы. Изъ нихъ выходять знахари и колдуны, пребывающие въ таинственномъ, неуловимомъ для другихъ ритмъ природы. Вотъ почему они умъють такъ спокойно, но «безпошадно» помогать природъ, господствовать надъ животными и «пользовать» человъка – и «отъ души» 4) и «отъ тъла». И сами животныя знають ихъ и пови» нуются имъ; и даже чужія собаки «нигдѣ не брешутъ» на нихъ. 5) Такой въдунъ «чувствуетъ себя носителемъ какой то большой и жуткой силы, съ которой онь, если бы даже и хотьль того, не могь разстаться, — невольнымь воспріемникомь какихъ то знаній, высокихъ тімь болье, что, соприкасаясь съ колдовствомъ, они однако творятъ на землѣ не злое, а доброе» и «властно вторгаются въ самые сокровенные уставы природы» 6)

Но чаще они сами не знають, куда имъ дъвать, какъ истратить великую, накапливающуюся въ нихъ естественную силу. Такому гиганту «всьмъ существомъ хочется сдълать что-нибудь изъ ряда вонъ выходящее, удивительное»; «в с е р а в н о доброе или злое, — скоръе доброе». Онъ «смотритъ на солнце, не мигая, какъ орель», а другихъ людей восприни» маетъ. какъ «плотву, мелкій народишко»... Можетъ быть это просто «дубъ выросъ дюже великъ» ... 7)

А когда примитивъ поетъ, то возникаетъ нѣчто «большее», чьмъ искусство (такъ, по крайней мьрь, кажется Бунину): — «прежде всего своей изумительной естественностью» . . . ; чувсть вуется: «человъкъ такъ свъжъ, кръпокъ, такъ наивенъ въ невъ дъніи своихъ силь и талантовъ и такъ полонъ пъснью, что ему нужно только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь льсь на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой «наполняють» его эти вздохи»...<sup>8</sup>)

И при всемъ томъ — это стихія древняя, языче: ская. Она до христіанская; она и въ православіи — неправославная. Эти языческіе примитивы вносять и вь православныя представленія свои языческія содержанія, подобно этому сторожу Ефрему, который не умираетъ потому, что его «земля забыла»: «и умеръ бы, можетъ быть, да умереть то - попу три рубля, да то, да се»..., «и съ улыбкой, еще болъе задрожав-

1) «Суходолъ». 329.

<sup>2) «</sup>Суходолъ». 329.
2) См. «Божье Древо», «Поруганный Спасъ», «Обуза», «Въ Саду», «Мугхи», «Мелитонъ», «Суходолъ», «Оброкъ» и др.
3) См. «Оброкъ», сб. «Послъднее Свиданіе». Срв. «Антон. Яблоки». 12.
4) «Суходолъ». Лъченіе «тети Тони».
5) «Деревня». 224. «Хорошихъ Кровей». 139. Сб. «Послъднее Свиданіе».

<sup>5) «</sup>Деревня». 224. «Лорошиль дерестов». 136. 138.
6) «Хорошихъ Кровей». 136. 138.
7) «Захаръ Воробьевъ». 135. 136. 145. 146. Сб. «Крикъ». См. выше о «Косцы». 116. «Роза Іерихона». «гориллахъ». Курсивъ мой.

шей: «а тамъ ну ка спросятъ, отчего не пьяный померъ, безъ всякаго удовольствія»...; потому что, «туда являться» надо «обязательно, чтобы немножко замолаживало, повесельй, да пооткровеннѣе, въ однихъ порточкахъ!»...¹)

Всв религіозныя представленія примитива — смутны, грозны, полны языческихъ пророслей. Его «угодники» и «юроди» вые» — всъ соблазнительны. 2) Особенно — «юродивые» и ния щіе: это все люди голоднаго инстинкта, лѣнтяи, дерзкіе попрошайки, свиръпые промышлятели... Именно въ этой связи осмысливается многое въ изображеніи православія и у самого Бунина. Икона обозначается, какъ «дощечка въ углу». 3) Илія Пророкъ рисуется, какъ существо совершенно языческое, или ветхо-завътно-свиръпое, напоминающее Ваала . . . 4) Вотъ «свя» тая» подвижница Аглая произносить, умирая, слова языческаго русальскаго заклятія...<sup>5</sup>) Воть появляется идея похороннаго пляса надъ могилою, и притомъ надъ могилою матери... 6) А воть и самь авторь, какь бы подчиняясь этой стихіи (а можеть быть и поддаваясь вліянію Л. Н. Толстого?) описываеть православный обрядъ съ какой то злобной ироніей, отъ которой на все падають прямо зловъщіе отсвъты ... 7)

Вообще когда Бунинъ или его герои говорять о «богь», то не слъдуетъ разумъть христіанскаго Бога или хотя бы благого Бога... Обычно это «богь» страшный, темный, загадочный, причастный началу язычески-инстинктивному. Перстъ этого бога — бога чувственной любви — несетъ полюбившему существу рокъ и погибель: «самъ богъ отмъчаетъ» его «губительнымъ перстомъ своимъ» . . . <sup>8</sup>) Этотъ богъ мыслится, какъ «красота и безпощадность той живой, той страшной силы, что со всъхъ сторонъ окружаетъ... безсильнаго» умирающаго человъка... <sup>9</sup>) Это богъ грозный, богъ смерти, а не безсмертія: природной жестоковыйности», коего «пути» страстны и «с т р а ш н ы»; 10) богъ, безблагодатно, но властно «проникающій все сущее», богъ инстинктивнаго натурализма или фантастическаго пантеизма . . . <sup>11</sup>)

> «Но что есть Богь? Кто онь, несмътный днями? Онъ страшенъ мнѣ. Онъ слишкомъ величавъ И слишкомъ необъятенъ. Онъ - молчанье, Онъ штиль морей и пыль сожженныхъ травъ, Онъ черный садъ и бледныхъ звездъ сіянье.

долъ».

8) «Я все молчу». 41. «Ермилъ». 88, сб. «Послъднее Свиданіе».

4) «Жертва». Сб. «Послъднее Свиданіе».

6) «Веселый Дворъ». Сб. «Крикъ».

<sup>7</sup>) Тамъ же.

<sup>8</sup>) Срв. «Суходолъ». 359.

10) «Старая Пѣсня». 90. Тамъ же. Курсивъ мой.

11) Срв. «Цикады». 122. «О Всебытій».

<sup>1) «</sup>Обуза». 101. Сб. «Солнечный Ударъ». 2) Срв. «Жертва». «Слава». «Іоаннъ Рыдалецъ». «Аглая». 60—62. «Сухо-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) «Аглая». Сб. «Господинъ изъ С. Франциско».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) «Астма». 74. См. т. IV ранняго изданія. Курсивъ мой.

Онъ разумъ мой, мнѣ чуждый — оттого, Что разумъ мой не любитъ ничего. И это я, столь чувствующій землю Въ ея осенней, сладкой теплотѣ, И это я, любовью полный, внемлю, Его пустой и хладной нѣмотѣ»!...¹)

Да, для той «любви», которою «полонъ» примитивный человъкъ и для того «нелюбящаго разума» которымъ онъ мыслитъ — Богъ есть «пустая и хладная», а потому и «страшная нъмогта». Онъ страшенъ и теменъ такъ, какъ страшна и темна зовущая насъ изъ мрака во мракъ, тайна животно-человъческаго инготинкта. Это она пріоткрывается намъ зимней ночью, въ глугхомъ лѣсу, въ сверкающихъ волчьихъ глазахъ:

«Это — волчьи глаза или звѣзды въ стволахъ, на краю перелъска?»...

«Затвердъли, какъ камень, тропинки, за лъто набитыя... Ты одна, ты одна, страшной сказки осенней Коза! Расцвътаютъ, горятъ на желъзномъ морозъ несытые В олчьи, Божьи глаза»...

Бунинъ еще разъ правъ: это, дъйствительно, послъднее замышательство міра и послъдній страхъ, когда кому-нибудь несь и ты е волчьи глаза представляются глазам и Божьими. Поистинъ, воспринимать Бога актомъ до-духовнаго инстинкта, значитъ воспринимать не Бога, а теми ую бездну человьчество видъній; и въдревности ихъ принимали за боговъ. И тотъ, кого тянетъ въ эту бездну, можетъ и нынъ сказать вмъстъ съ тоскующимъ англичаниномъ, въ которомъ Индія пробудила эти видънія: «я не разъ чувствоваль, что могъ бы поклоняться развъ только имъ, этимъ страшнымъ богамъ нашей прародины»...²)

Таковъ религіозный предѣлъ, къ которому ведетъ художе ственный актъ Бунина.

## 10.

Мы изучили художественный актъ Бунина, эстетическую матерію его произведеній и содержащієся въ нихъ эстетическіе образы. Намъ остается указать тотъ художественный предметъ, который скрытъ и явленъ въ его созданіяхъ.

Этотъ предметъ опредъляется прежде всего и больше всего строеніемъ его акта.

<sup>2</sup>) «Братья». 89—90.

<sup>1) «</sup>Роза Іерихона». «Августъ». Стр. 259. Курсивъ мой.

Бунинъ-художникъ подобенъ монолиту-въ актѣ, въ стиль, въ образахъ и въ предметь. Онъ—художественный одно= думъ и единовидецъ: силою своего чувственно-инстинктивнаго акта онъ постигаетъ и раскрываетъ чувственно-инстинктивныя, до-духовныя нѣдра чело= в в ческаго существа. Человъкъ до духа и внъ духа -индивидуаленъ только въ біологическомъ смысль; а по существу жизнь его заполняется инстинктивными пережия ваніями и родовыми содержаніями. Его земной составъ имъетъ свою земную «кривую»; но духовной судьбы и духовнаго творчества онъ не имъетъ. Такихъ людей можно наблю дать. на нихъ можно дивиться и ужасаться, - но принять ихъ къ сердцу, художественно полюбить ихъ невозможно. Это — зорко подмѣченные и убѣдительно показанные вихри родового хаоса, отпрыски животнаго въ че: ловъчествъ; неръдко — безкрылые стервятники; стоны; вой и хохоть ночного филина, несущеся изъ человъка.

Таковъ предметъ Бунина: человѣкъ, какъ ор угдіе первобытнаго родового инстинкта, систинкта размноженія, наслажденія, хищничества. Или, иначе: человѣкомъ владѣетъ темное, родовое начало, жаждущее наслажденія и влекущееся къ родовымъ цѣлямъ; сметающее на своемъ пути многое, все, даже самого носителя инстинкта; но не вѣдающее или почти не вѣдающее ни Бога, ни духа, ни добра. Это темное начало глубже всякой культуры и цивилизаціи; оно вѣчно зіяетъ въ человѣкѣ первобытнымъ гладомъ, требовательною похотью; оно вѣчно готово къ страшнымъ и свирѣпымъ дѣламъ; и даже не дѣламъ, не поступкамъ (ибо въ поступкѣ есть воля, характеръ, духовность), — а къ ожесточенымъ состояніямъ, сокрушительнымъ взрывамъ, изверженіямъ, паденіямъ...

Именно такою развертываеть Бунинь передъ читателемъ человъческую жизнь. Вся она (- и не русская только!...) первобытна, какъ Деревня; вся глухоманна, какъ Су= ходолъ. Человъкъ есть дътище природы, особь, медіумически или лунатически осуществляющая ея волю: Божье Древо . . . ; древо — бога темнаго и слѣпого, властно-безпощад» наго, страшнаго и неотвратимаго. Какъ нѣкая неумирающая Роза Іерихона, вложень въ нась волчець этого природнаго инстинкта, дающій намъ родовую «мудрость», родовую память, родовыя влеченія, всегда для насъ неосмысленныя и потя рясающія наше естество до корня. Отъ колыбели своей, отъ своей Первоначальной Любви, и до могилы, до своего Послъдняго Свиданія, человъкъ несеть свою Чашу Жизни, боясь расплескать ее и все-таки всегда расплескивая ее по волѣ этого «темнаго, слъпого и непонятнаго начала»... 1) Никто и ничто не оградить его отъ настигающаго его Солнечнаго Уда: ра: ему подверженъ и мальчикъ съ его Митиной Любовью, изрълый мужъвъего Жизни Арсеньева.

<sup>1) «</sup>Начальная Любовь». 165.

Это она, эта родовая сила стонеть въ насъ воплями филина; это она Крикомъ и убійствомъ отвѣчаетъ на противопо ставляемыя ей преграды и отказы. Свершившій ее, осуществившій всю Грамматику Любви и не погибшій въ этомъ, отойдеть изъжизни, какъ Древній Человъкъ; а не свершившій — будеть настигнуть смертью безсмысленной и внезапной, какъ Господинъ изъ С. Франциско... И тогда онъ покинетъ Темныя Аллеи своей земной жизни, чтобы исчезнуть въ темномъ провалѣ небытія...

Эту силу можно условно назвать «любовью». Но что же это

за любовь? И какова ея роковая «грамматика»?...

Вотъ основныя свойства и законы этой «любви».

Она «темна, слъпа и непонятна». 2) Она неодолима, сверя шая свой ходъ наперекоръ всему; и сами «силы небесныя не могуть остановить ее;» ея приходь есть «чась страшный и неотвратимый» <sup>2</sup>) и люди не могутъ или даже «не смѣютъ проти₂ виться» ей. <sup>3</sup>) Она ненасытна, подобно той «страшной могилѣ богача и скряги», что «провалилась въ ту же минуту, какъ только засыпали  $ee^{x}$ ; (a) — a, можеть быть, и вообще неутолима. (a)Иногда она приходитъ всего разъ въ жизни – и тогда она ломаетъ судьбу человъка. 6) И не человъкъ выбираетъ въ любви; онъ самъ дълается невольникомъ ея, а иногда и безумцемъ на въкъ. Т) Она приходитъ взрывомъ въ нъкой таинственной связи съ дуновеніями и зовами природы, съ ея огнями, лучами, грозами и опьяненіями. 8) Она даеть человѣку счастье и въ то же время такое несчастье, что онь чувствуеть себя сразу постарѣве шимь на десять лѣтъ. <sup>9</sup>) Такая любовь не можеть длиться и «изе бъгаеть брака». <sup>10</sup>) А когда она приходить къ молодой душъ впервые, — какъ первая любовь, — то душа человъка перее живаетъ «сама того не вѣдая, жуткій расцвѣтъ, мучительное раскрытіе, первую мессу пола». 11) — то въ нѣжно-цѣломудрень номъ, сомнабулически-дѣвственномъ трепетѣ, 12) то въ обнажень но-безнравственномъ, играюще-безстыдномъ, беззаботно-легкомъ дыханіи, 18) то въ бользненно-томительномъ, духовно не озарень номъ и безплодномъ надрывѣ... 14) И, въ довершение всего, -

<sup>2</sup>) «Сынъ». 90. 91. Сб. Господинъ изъ С. Франциско».

4) «Деревня». 26. Срв. «Деревня». 120; «Идолъ». 71-72. Сб. «Божье Дре-

<sup>7</sup>) «Грамматика Любви».

9) «Солнечный Ударъ. 16,

11) «Дъло Корнета Елагина». 48.

14) «Митина Любовь».

<sup>1) «</sup>Осенью». 165. Сб. «Начальная Любовь».

в) «Суходоль». 358. Срв. «Солнечный Ударь», «Мордовскій Сарафань», «Святые» (въ сб. Чаша Жизни»).

во» и др.

<sup>5</sup>) «Дѣло Корнета Елагина». 71. сб. «Солнечный Ударъ». 6) Грамматика Любви», Дъло Корнета Елагина», «Митина Любовь», «Ида», «Игнать», «Солнечный Ударь».

<sup>8) «</sup>Солнечный Ударъ», «Метеоръ», «Страшный Разсказъ», «Суходолъ» 356-357.

<sup>10) «</sup>Дѣло Корнета Елагина». 46. Сб. «Солнечный Ударъ».

<sup>12) «</sup>Клаша». Сб. «Господинъ изъ С. Франциско». <sup>13</sup>) «Легк. Дыханіе». Сб. «Грамматика Любви».

она таинственно связана со смертью, ведя человъка то къ убій:

ству своей возлюбленной,  $^{1}$ ) то къ самоубійству . . .  $^{2}$ )

Таковы законы этой первобытной «грамматики любви», или, върнъе, – грамматики бездуховнаго и додуховнаго чувственнаго инстинкта. Первобытная душа томится жаждой наслажденія, («желаніемъ сладкаго обмана жизни») <sup>3</sup>) и стражомъ смерти, которой всв обречены и которая возвращаетъ насъ въ лоно Всеединаго. 4) Она содрогается, пред» чувствуя это поглощение и растворение, на подобие того, какъ въ Индіи, «въ черныя, знойныя ночи, въ горячечномъ мракъ, чувствуещь, какъ таетъ, растворяется человъкъ въ этой чернотъ, звукахъ, запахахъ, въ этомъ страшномъ Все-Единомъ. – только тамъ понимаемъ (мы) въ слабой мъръ, что значить эта наша жалкая личность». 5)

Воть эстетическій предметь, которому посвящено творчея ство Бунина; вотъ, какое обстояніе развертываетъ онъ въ своя ихъ образахъ и въ своей словесности. Есть, повидимому, двъ равно-сильныя и равно-вфрныя правды: одна — «жизнь неска» занно прекрасна»; <sup>6</sup>) и другая— «жизнь мыслима лишь для су» масшедшаго». 7) И эти двѣ правды, — упоеніе несказанной прекэ расностью чувственнаго міра и дарами чувственнаго инстинкта, и содроганіе отъ безконечной отвратительности челов'ька и жиз вотнаго, - Бунинъ даритъ своимъ читателямъ щедрою, безжалостною рукою, въ видъніяхъ яркихъ, слишкомъ яркихъ и остя рыхъ, не у-мъренныхъ властью духа и духовнаго созерцанія и не со-размъренныхъ ни съ благостью Господа, ни съ силами одинокаго и безпомощнаго читателя, можетъ быть совсѣмъ не» способнаго — выносить эти видънія звъринаго зрака и не впадать при этомъ въ соблазнъ...

Бунинъ разверзаетъ передъ нами міровой мракъ, черное, провальное естество человъческой души, не въдающее добра и зла, и творящее зло въ мъру своей похоти. Онъ разверзаетъ его съ великою силою, художественной наглядностью и холодной точностью. Именно такъ онъ видить міръ; и, честный въ своемъ видъніи, онъ показываеть его именно такимъ. Онъ видитъ эт у «половину» міра — лютую и бездуховную;

<sup>1)</sup> Легкое Дыханіе», «Дѣло Корнета Елагина», «Игнать», «Сынь», «Пет» листыя Уши».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Солнечный Ударъ». 15. «Митина Любовь». 20. 21. 92. «Сынъ». 93. «Святые». 150.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>) «Братья», 66. Сборникъ «Чаша Жизни».

<sup>4) «</sup>Братья». 88. «Господинъ изъ С. Франциско». 32. «Жизнь Арсеньева» 37. 148. «Воды Многія». 144. 150. «Божье Древо». 48. 59. «Роза Іерихона». 148-150. 160. 196-197.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) «Братья». 91—92. Сборникъ «Чаша жизни».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Срв. «сладка жизнь». «Оброкъ». 60, сборникъ «Послѣднее Свиданіе»; «какъ хорошо жить на свѣтѣ». «Антоновскія Яблоки». 11. Сб. «Начальная Любовь»; «ахъ, хороша любовь на свъть живетъ». «Оброкъ». 63; «истинно тонулъ въ радости существованія». «Роза Іерихона». 161; «какъ все таки прекрасна жизнь». «Роза Іерихона». 163.

<sup>7)</sup> Срв. разсказъ о безумномъ художникъ, который хотълъ написать «Рождество» и «на земл'в миръ», а написаль «Распятіе», міръ въ пожар'в и бойнъ.

и живописуетъ эту темную силу. «Сколько ея не только вообеще въ мірѣ, но и въ человѣкѣ!¹) восклицаетъ онъ самъ. Она слагаетъ цѣлую стихію, тотъ «древній міръ, гдѣ отъ вѣка побѣдитель крѣпкой пятой стоитъ на горлѣ побѣжденнаго»:²) гдѣ зрячій способенъ отъ жадности повалить слѣпого и «камнемъ перебить ему горло»;...³) гдѣ самъ поэтъ, насмотрѣвшись этихъ видѣній, начинаетъ вздыхать и стонать: «все-таки самое страшное на землѣ — человѣкъ, его душа»;...⁴) и еще: «страше ны пути твои, Господи!»...⁵) И непонятнымъ остается, какъ можно повѣрить послѣ всего этого въ «божественную прелесть человѣческой души», въ которую вдругъ увѣровала за чтеніемъ произведеній Бунина его незнакомая корреспондентка, его «неє извѣстный другъ», заочно и безотвѣтно ищущая знакомства съ нимъ... 6)

Бунинъ видитъ въ человъкъ мракъ и хаосъ. Онъ правъ: человъкъ содержитъ и то, и другое; и самъ трепещетъ, когда это развязывается и начинаетъ кощунственно пировать въ немъ. И трепещетъ потому, что въ немъ самомъ естъ и иное, — святъйшее и властное, духов ное и божественное. Это иное, — мы знаемъ это, — есть въ душъ самого Бунина; и его душа въ ужасъ осязаетъ невыносимость такого міра. Но чтобы явить этотъ иной міръ, нуженъ ангельскій зракъ, нужна духовная очевидность. Лишь краемъ своего зрънія касается Бунинъ этихъ сферъ и не пріемлетъ ихъ цъликомъ — ни любовью, ни върою, ни художественнымъ видъніемъ.

А между твмъ этотъ иной міръ живетъ въ той же самой человвической душв, которая носить въ себв начало мрака. Духъ обитаетъ въ дъйствительности — не въ и н ы хъ людяхъ, а въ тъхъ же людяхъ, въ которыхъ живетъ инстинктъ. Люди законченной бездуховности — стоятъ не въ центръ мірозданія, а на краю. И созерцаніе ихъ обнаженнаго естества — мучительно до невыносимости. Кто насмотрится этихъ видъній вослъдъ за Бунинымъ, тотъ вострепещетъ и умолкинетъ, какъ бы при видъ Медузы-Горгоны, не будучи въ силахъ ни принять такое, ни отвести глаза, ни забыть эти «теминыма аллеи» гръха...

<sup>2</sup>) «Братья». 76. <sup>3</sup>) «Весенній Вечеръ.

<sup>1) «</sup>Ермилъ». 88. Сборникъ «Послѣднее Свиданіе».

<sup>4) «</sup>Страшный Разсказъ». 84. Сб. «Солнечный Ударъ».

 <sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) «Старая Пѣсня». Раннее изданіе т. IV, стр. 90.
 <sup>6</sup>) «Неизвѣстный Другь». 163. Сбориикъ «Роза Іерихона».



## ТВОРЧЕСТВО А. М. РЕМИЗОВА.

«Если бы даны были всѣмъ глаза, то лишь одно желѣзное сердце вынесло бы весь ужасъ и загадоч» ность жизни»...

Ремизовъ.

## ТВОРЧЕСТВО А. М. РЕМИЗОВА.

ı

Вотъ мастеръ слова и живописецъ образовъ, художествень и духовный обликъ котораго настолько своеобразенъ и необычаенъ, что литературный критикъ, желающій постигнуть и описать его творчество, оказывается передъ очень тонкой и сложной задачей. Ремизовъ, какъ писатель, не укладывается ни въ какія традиціонно-литературныя формы, не поддается никакимъ обычнымъ «категоріямъ»; и притомъ потому, что онъ создаетъ всегда и во всемъ н о в ы я, с в о и формы, а эти новыя литературныя формы требуютъ новыхъ «категорій» и, что еще гораздо важнѣе, — требуютъ отъ читателя и отъ критика какъ бы новыхъ душевныхъ «органовъ» созерцанія и постиженія.

Своеобразны всѣ люди. Всѣ мы единственны въ своемъ родѣ, неповторимы и, взятые въ цѣломъ, ни на кого не похожи. Каждый рождающійся человѣкъ приноситъ съ собою цѣлый новый міръ и каждый умирающій уноситъ съ собою единственный въ своемъ родѣ зарядъ энергіи и неповторяющееся сочетаніе жизненныхъ задачъ. Но всѣ эти своеобразные личные міры одарены не слишкомъ непохожими другъ на друга органами тѣлеснаго и душевнаго воспріятія, созерцанія и выраженія, и потому они способны общаться и до извѣстной степени понимать другъ друга. Мало того, многіе люди имѣютъ даръ улавливать чужое своеобразіе и приспособляться къ нему, — какъ бы видоизмѣняя «на ходу» свои воспріятія, созерцанія и выраженія. И вотъ, творчество Ремизова требуетъ именно такого видоизмѣненія и приспособленія.

Т в о р я щ і й человѣкъ всегда отличается особымъ свое образіемъ по сравненію съ нетворящимъ: ибо творчество есть всегда созданіе «новаго», небывалаго. И дѣйствительно каждый художникъ по своему видитъ и не видитъ, по своему воспринимаетъ и изображаетъ, и потому требуетъ отъ своего читателя и критика, чтобы они вѣрно уловили актъ этого художественнаго своеобразія, точно увидѣли показываемый образъ и скрытый за нимъ художественный предметъ, и вѣрно осознали мѣру и силу осуществленной художественности.

И тъмъ не менъе во всемъ этомъ своеобразіи и во всъхъ уклоненіяхъ отъ обычнаго есть нъкоторая устойчивая и привыча ная средина, какъ бы нъкое тяготъніе къ классическо

м у, т. е. мфрно-вфрно-образцовому способу художественно видьть и изображать. Есть какъ будто бы нъкій «центръ», къ которому всь художественные повъствователи прямо тяготьють или съ которымъ они по крайней мъръ считаются, памятуя о немъ или не отвергая его. Этотъ «центръ» опредаляется повидимому «среднимъ укладомъ читательской души» и желаніемъ, чтобы читатель «меня» «понялъ». Ибо въ конечномъ счетъ искусство создается «для другихъ», «для людей», не только «для самого себя». Художникъ всегда остается какъ бы «ораторомъ», «педагогомъ», «пророкомъ», или «дающимъ»; и потому онъ доля жень и вынуждень помнить о «силахъ», «средствахъ» или «органахъ» берущаго. Нельпо показывать слымы картины; безнадежно играть на рояли для глухого; никто изъ насъ не воспри» метъ заумные образы, созданные въ четвертомъ измърении. И потому окрыленному фантасту нельзя забывать о трезвой, прозаической безкрылости средняго (а можетъ быть и не только средняго) читателя.

Идя по новымъ путямъ, художникъ долженъ вести съ собою и уводить; иначе онъ уподобится проповѣднику въ пустынь. Созерцая по своему, необычайно, утонченно или капризно, онъ не долженъ оставлять своего читателя въ безпомоще номъ состояніи «непоспъвающаго». Онъ имъетъ безспорное право требовать отъ читателя довърія, усилій и даже напряженій, какъ бы говоря ему: «художественный предметъ потребовалъ отъ меня, художника, особаго, новаго акта; имъ я созерцаю, изъ него пишу; онъ, можетъ быть, необычаенъ, своеобразенъ, труденъ, — но въ этомъ нътъ моей вины; попытайся же чита» тель, усвоить этотъ актъ и постигнуть написанное: художестя венный предметь вознаградить тебя за твои усилія»... И тоггда у читателя должно быть увъренное чувство, что «это необходимо и обосновано», что этихъ усилій дійствительно потре: боваль «самъ предметь» и что эти усилія художест» венно оправдываются и вознаграждаются. Художественный предметъ властно потребовалъ спецификаціи акта, стиля и образа; надо ему повиноваться: и на че нельзя было; но было только такъ; приспособляйся же, восприния май и обогащайся. Таковъ, напримъръ, стиль Достоевскаго – хаотическій, часто нагроможденный, неуклюжій, какь бы изнемогающій отъ своего собственнаго бремени, а иногда (при описаніи подпольныхъ натуръ и переживаній) впадающій просто въ дурной тонъ, да еще и съвызовомъ: этого потребовалъ отъ не го его художественный предметь. Совсымь иначе воспринимаеть ся стиль и актъ Андрея Бълаго: писатель какъ будто долго выворачивался и выламывался наединь съ самимъ собой, внъ вся каго отношенія къ художественному предмету, изобрътая такія слова, словопослѣдованія, акценты и ритмы, которыхъ нигдѣ и никогда не бывало, которымъ совствив и не слта довало бы быть, - мучительно слагая вымученную, извращенную ткань словъ и образовъ, кокетничая съ читателемъ своя ими изобрѣтеніями, вызывающе подмигивая ему и дразня его; и за всъмъ этимъ обычно не укрывается ничего предя

метнаго; читатель нисколько не вознаграждается въ худо» жественномъ отношеніи за свои усилія и скоро отвертывается съ негодованіемъ отъ всей этой безвкусной игры въ «сумасшед» чинку», явно принимаемой самимъ авторомъ за «теніальность»...

Чтобы читать и постигать Ремизова надо «сойти съ ума». Не помѣшаться, не заболѣть душевно, а отказаться отъ своего привычнаго уклада и способа воспринимать вещи. Надо привести свою душу въ состояніе нѣкоторой гибкости, лѣпкости, подъвижности; и, повинуясь его зову, перестраивать ладъ и строй своей души почти при каждомъ новомъ прочизведені и Ремизова. Своеобразіе его акта и стиля очень велико, очень неустойчиво и по отношенію къ читателю требовательно до неумолимости: «не поспѣваешь, не умѣешь — твое дѣло, — я иду дальше». Нѣтъ ничего удивительнаго вътомъ, что многіе читатели изнемогають, не умѣютъ такъ перестраиваться, не справляются съ этой задачей и откровенно говорять, что они «Ремизова не понимаютъ».

Правда у Ремизова есть произведенія болье обычныя, позволяющія читателю спокойно странствовать по полямь своего воображенія въ обычной и привычной читательской установкь; 1) но и въ нихъ внимательный и чуткій умъ найдеть слъды, а иногда и цьлыя гньзда другого Ремизова, требующаго «схожденія съ ума»; а этоть «другой» Ремизовъ, создавый едва ли не половину всьхъ его твореній, никогда не исчезаеть совсьмъ.

Следовало бы прямо поставить вопрось, имеется ли въ исторіи міровой литературы писатель съ такимъ своеобразнымъ актомъ, видѣніемъ и стилемъ. И если бы пришлось отвѣчать на этоть вопрось, то надо было бы обратиться къ капризнъйшимъ фантастамъ и куріознѣйшимъ романтикамъ всѣхъ временъ и на= родовъ, къ такимъ, которые имѣли смѣлость снять со своей фантазіи рѣшительно всякіе запреты, грани и удержи. Пришлось бы упомянуть прежде всего о міровой сказкь: о «Тысяча - и - одной - ночи», повъствованія которой оказались бы слишкомъ истовыми и эпически-правдоподобными по сравненію съ Ремизовымъ: и о Метаморфозахъ Овидія, поэмы котораго оказались бы полными богословскаго замысла и художественно законченными сравнительно съ иными фантастическими «кувырколлегіями» <sup>2</sup>) нашего мастера. Подобно этому и русская сказка, въ томъ классическомъ видѣ, какъ мы находимъ ее въ собраніи Афанасьева, слишкомъ трезва, слишкомъ обременена образной фабулой, слишкомъ стройна въ своемъ развитіи, отъ завязки до развязки, для того, чтобы къ ней можно было возвести «миоъ», творимый Ремизовымъ. Русская сказка, да и вообще настоящая народная сказка всегда хочеть выразить что то своими образами; она имъетъ нъкій эпически-предя метный зарядь; она никогда не порываеть окончательно сь нѣ> которымъ правдоподобіемъ. Тогда какъ у Ремизова можно най-

2) Терминъ Лѣскова.

<sup>1)</sup> Напр. Прудъ, Пятая Язва, Крестовыя Сестры, Безпріютная, Оля.

ти такіе прихотливые вихри полусобытій, такія оборванныя гирлянды невообразимостей, такое нагроможденіе неправдоподобія, что читателю остается только диву даваться. И тѣмъ не менѣе его фантастика близка русской народной сказкѣ, именно тѣмъ образнымъ узламъ, тѣмъ сгусткамъ химерическаго видѣнія, въ которыхъ миюъ приближается къ галлюцинаціи, а галлюцинація навязывается читателю разъ на всю жизнь. Вотъ два примѣра, оба изъ миюа о бабѣ ягѣ.

Русская сказка сказываеть: «Вдругь закрутилося-замутилося, въ глаза зелень выступила; становится земля пупомъ, изъ подъ земли камень выходить, изъ подъ камня баба-яга, костяная нога, спина 1) жиленая, на жельзной ступь вдеть, жельзнымъ толкачемъ погоняеть, пестомъ упираеть, помеломъ слъдъ заметаеть, сзади собачка побрехиваеть»... 2)

Или еще: въ избушкѣ на курьихъ ножкахъ — «лежитъ — въ одномъ углу ноги, въ другомъ голова, губы на притолокѣ, носъ въ потолокъ уткнулся»... «откроетъ заслонку, достанетъ жареную Алёнку — и на столъ: ѣла-ѣла, пила-пила, и выйдетъ на дворъ, и станетъ валяться по травѣ: — покатаюся, поваляю ся, алёнкина мясца наѣвшись»... 3)

Въ міровой литературѣ надо обратиться къ самымъ необычайнымъ фантастическимъ играмъ и стилистическимъ дерзаніямъ Пушкина (Бъсы, Гусаръ), Гоголя (Вечера на Хуторъ, Вій), Э. Т. А. Гофмана, Тика, Жана Поля Рихтера, Эдгарда По, Анатоля Франса, Гюстава Флобера, или къ Карлейлю въ его столь же знаме, нитомъ, сколь неудобно-постигаемомъ «Sartor resartus» (Воскрес» шій Портной); или наконець — ко второй части Фауста Гёте, чтобы дать приблизительное представление о томъ, къ чему надо быть готовымъ у Ремизова. Но всь эти указанія отнюдь не следуеть понимать въ томъ смысле, что Ремизовъ заимствоваль у кого-нибудь изъ поименованныхъ вихре-видцевъ или подражаль имь; нать, Ремизовь совсамь самобытень, совсѣмъ самостоятеленъ и творчески - оригина» ленъ во всемъ, – и въ своихъ художественныхъ достиже, ніяхь, и въ томь, что врядь ли удовлетворить читателя и криг тика.

2

Можеть быть верне и лучше всего подходить къ фантастике Ремизова не отъ другихъ авторовъ, а отъ долитературныхъ богатствъ докультурнаго человека, отъ того «матеріала» образовъ, которымъ полна и с п у г а н н а я и к о л д у ющ а я душа первобытнаго существа, склоннаго о л и ц е т в ор я т ь в с е и не знающаго потомъ, какъ заклясть жуткое

<sup>1)</sup> Въ подлинникъ другое слово.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Сказки Афанасьева. II. 94 — 95. <sup>3</sup>) Сказки Афанасьева. I. 166. III. 79.

дътище своего собственнаго олицетворенія. Сказки, миюм, легенды; апокрифы христіанскіе и особенно византійскіе; смутные, недорожденные образы, скрытые въ «цвътущихъ садахъ народянаго словотворчества» (фольклоръ!); чуть видная нежить примъть, обычаевъ, обрядовъ, бытовыхъ преданій, шутокъ, поговорокъ, пословицъ, повърій, суевърій, въдовства и колдованія; — словомъ все то, что живетъ въ подпольт всенароднаго сознанія въ неоформленномъ видъ, и то грезится въ сумеркахъ, то снитяся по ночамъ, то зрится въ страшныхъ морокахъ, то тревожитъ душу поэта, — вотъ скопище и обиталище ремизовскихъ виядъній и повъствованій. И чъмъ чуднъе обитатели этого жилияща, тъмъ они ему милъе. И то, что ему мило, — цвътетъ у него во всей неуемно - бродящей, играющей, поющей и творящей силъ русскаго литературно-грамотнаго, а подчасъ и долитературя но безграмотнаго языка.

Ремизовъ не только напитанъ, но и пропитанъ всѣмъ этимъ. Этимъ бродящимъ и въчно неперебродившимъ виномъ – онъ упился до пьяна. Онъ «піанъ» ирраціональной стихіей русскаго мина, русскаго воображенія, русско-сказочнаго небывалаго быта и русскаго языка. И, какъ полагается русскому человѣку, переступившему грань трезвости, Ремизовъ сверхъ всего еще и и граетъ (слегка!) этимъ «піанствомъ». У читателя иногда даже возникаеть ощущение, что авторъ пишеть не изъ самозабвеннаго упоенія, не изъ наивной вѣры въ реальность своей грё зы, - а какъ будто въ шутку, или въ шалость; что онъ самъ не принимаетъ въ серьезъ своихъ образовъ, литературно подмигивая читателю, не то рисуясь передъ нимъ и не скрывая, что рисуется, не то дразня его «ненавърностью» своего разсказа, не то дурача совмъстно съ читателемъ – кого то третьяго; кого? И тогда начинаетъ казаться, что Ремизовъ слишкомъ сознате» ленъ и уменъ для самозабвеннаго миносозерцанія, что онъ самъ является «маловъромъ» собственной фантазіи, что онъ все это «не вправду, а нарочно»...

Но этоть художественно опасный и вредный моменть проходить и мы снова въ подлинномъ мірѣ таинственнаго. Этотъ міръ, въ которомъ онъ пребываетъ, - міръ немыслимый, неопредълимый, неръдко даже неуловимый и неописуемый. Слъдить за нимъ бываетъ часто нелегко, но всегда интересно, подчасъ увлекательно, иногда потрясающе, умудряюще и въ этомъ умудя реніи — усладительно. Серьезно и «честно» отдаваясь этому міру, Ремизовъ является во всей своей творческой силь и славь: туть онь — единственный въ своемъ родѣ. Онъ окруженъ цълыми стаями фантастическихъ сущностей, всегя да волшебныхъ, полусуществъ-полувещей, не то «духовъ», не то «гномовъ», не то застывшихъ существъ, не то ожив» ш и х ъ вещей, не то игрушекъ, не то чертей; можетъ быть это - призраки, а можетъ быть и подлинныя метафизическія естества; они бывають то благія, то злыя, и очень часто - каверзныя и жуткія. Появляются ниоткуда, гдѣ другой человѣкъ ничего не найдетъ и не увидитъ; утверждаются и пребываютъ; таинственно молчать, чьмъ то чреватыя; выкидывають какуюнибудь штуку; и исчезають неизвѣстно куда, иногда оказавши жизненную помощь и вызвавь душевное умиленіе, иногда напуравь и навредивь ... Иногда это такія «существеца», что даже не знаешь, представляешь ты ихъ себѣ, хоть какъ-нибудь, или нѣть ... Что такое «коловертышь»? Понятно, что онъ все время «вертится» гдѣ то «около»; но какой онъ? А воть какой: «трусикъ не трусикъ, кургузый и пестрый, съ обвислымъ, пустымъ вялымъ зобомъ» — «въ родѣ собачьяго сына», и проситъ: «съѣшъте меня, ради Бога, мнѣ скучно!» 1) А не сродни ли онъ Соллогую бовской «недотыкомкѣ»? 2) Какъ представить себѣ «Вѣдогонь» или «Ауку»? А «чучелу-чумичелу»? А можетъ быть лучше совсѣмъ не представлять себѣ «Прибируку» или «двѣнадцатиглазаго Ховвалду», — чтобы не вышло ужъ очень отвратительно, до невыносимости? . . . Ибо когда самъ авторъ пытается иллюстрировать эту «не́зримь», то обычно ея зримыя формы не привлекаютъ, а отталкиваютъ.

Вотъ отрывокъ изъ такой невообразимой гирлянды, несущейся на «вертимый пиръ». За въдьмами («Роганой», «Летавищей», «Лобастой» и «Кощой»...) — несется «Нежитъ» — компьютьются сивыя космы».

- « Нежить безъ души, безъ обличья.
- То медвъдемъ переступитъ, то утишится тише тиз хой скотины.
- То перекинется въ кустъ, то огнемъ прожигаетъ.
- То какъ старикъ сухоногій, то разудалымъ

мальцомъ.

— И опять, какъ доска — безъ души, безъ обличья.

«А за Нежитомъ нежить и нечисть —

изъ трущобъ, пропастей и разсѣлинъ —

рѣчные, луговые, озерные,
домовые и домихи,
дупляные, моховые, полевые,
обломъ, костоломъ, кожедеръ,
тяжкунъ, глатунъ, хитникъ,
лядащикъ, голохвостъ,
ярунъ, шпыня, куреха,
шандыръ - шептунъ и шептуха» . . .

«Видимъ» ли мы что-нибудь изъ этого? Можетъ быть здѣсь достаточно прислушиваться къ вихрящимся въ сердцѣ страхамъ или къ легкому холодку, струящемуся отъ затылка по спинѣ? Во всякомъ случаѣ за читателемъ остается право, — если воображеніе его изнемогаетъ, не представлять себѣ рѣшительно ничего; или же итти отъ брошеннаго слова-названія, чтобы хоть какъ-нибудь «поспѣть» за этой колдовской кухней. Какъ бы дразня первобытные рол

<sup>8</sup>) Русалія. 32 — 33.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Посолонь. 200 — 201.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Срв. Ө. К. Соллогуба - Тетерникова. «Мелкій Бѣсъ» и нѣкоторыя сти≈ хотворенія,

довые страхи или зазывая въ вѣчно крутящійся вихрь фантазіи, такое слово несетъ намъ что то зыбкое, вертячее, скользящее, то сгущающееся, то исчезающее; видится-невидится какой то маленькій чудоморъ, уродышъ, озябышъ, таинственный вѣду>нокъ, себѣ на умѣ, съ затѣями; а за нимъ — другое имя — совсѣмъ иной гаденышъ — гладенышъ; третье имя — топорщит>ся лохматый, шершавый недотепа, опять совсѣмъ иной, хотя и родственный тѣмъ, ублюдочекъ...; и всѣ вмѣстѣ они составля>ютъ неизобразимый хороводъ симпатичныхъ полу-отвратниковъ; онъ вихрится и кружится, творя свое назначеніе и судьбу человѣка, около котораго они всѣ — «коловертыши»...

— Вотъ единственная въ своемъ родѣ атмосфера, въ когторой живетъ, видитъ и творитъ А. М. Ремизовъ, о которой и и зъ которой онъ повѣствуетъ, и которая почти никогда не исчезаетъ въ его произведеніяхъ; а читатель, читая, безпомощно карабкается по чуднымъ именамъ этихъ таинственныхъ чудомориковъ, чтобы хотъ черезъ имя добраться до какого-нибудь обличія этихъ небывалыхъ реальностей. И авторъ, гдѣ возможно, помогаетъ читателю: Коловертышъ — онъ «кургузый», смахиваетъ на «войлокъ», «заячьимъ ухомъ залежанный»; а Болибошъ ка — онъ «весь измодѣлый, востренькій носикъ, рукастый»; а у Чучелы-чумичелы — «мышиная головка» ¹).

Что всего замъчательнъй во всей этой фантастической картинъ. это то, что художественный міръ Ремизова почти неотдълимъ отъ него самого, отъ его личности, отъ его жизни и быта. Онъ самь это знаеть и не отдъляеть себя оть своихь созданій. Онь всъмъ своимъ существомъ обрътается не в н ъ своихъ лите: ратурныхъ произведеній и описанныхъ въ нихъ образовъ. Не только въ томъ смыслѣ, что онъ самъ въ нихъ говоритъ, взды хаетъ, плачетъ и посмъивается; но и въ томъ смыслъ, что его «герои» нерѣдко окружаютъ его въ жизни: это не выдумки, не литературно-книжные фантомы, но реальныя вещи, пребываю: щія въ его обстановкъ. Онъ въ самомъ дъль окруженъ ими, конечно не всъми и не всегда; но онъ живетъ съ ними и въ нихъ. Это его жизненная свита, составъ которой мъняется и обновляется. Поэтому многія произведенія его какъ бы автобіографичны ... Вродъ дневниковъ, – посвященныхъ единой семьъ, въ коей онъ есть глава: главный волхвъ, главный истолковательи, можеть быть, главная жертва. Гдв бы онь ни жиль, куда бы судьба его ни забросила, - въ Петербургъ, въ Берлинъ, или въ Парижь, къ океану или въ чешскій католическій монастырь, эта свита быстро отыскиваетъ его или возникаетъ вокругъ него, входить въ е г о жизнь и вовлекаеть его въ свою собствен= ную.

Иногда эти коловертыши оказываются простыми, живыми людьми: въ такомъ положеніи оказываются его знакомые или гости, всѣмъ извѣстные писатели, партійные политики, ученые, которые входятъ въ его воспріятія и грезы, въ его воспоминания и сны, и описываются именно какъ проносящіяся видѣнія,

<sup>1)</sup> Русалія. 26 — 31.

часто не имѣющія ничего общаго съживымъ имярекомъ, который въ дѣйствительной жизни является носителемъ совсѣмъ иныхъ свойствъ; 1) но иногда духовная сущность этихъ липъ улавливается Ремизовымъ съ мѣткостью и нещадностью настоящаго прозорливца... 2)

Все это осложняется и затрудняется обыкновеніемъ Ремизова записывать свои личныя сновидънія, — яркія, фантастическія, иногда глубокомысленныя, но иногда совершенно нелъпыя, и вплетать ихъ въ повъствованіе. Сновидънія эти невыдуманныя; онъ ихъ въ самомъ дълъ видитъ. И смъшиваетъ такимъ образомъ, — д н е в н у ю я в ь, н о ч н ы е с н ы и фантас с т и ч е с к і я в и д ъ н і я. И, читая эту прихотливую ткань, не всегда можно ръшить, что непрогляднъе — сонъ или дневная дъйствительность; что болъе страшно и зловъще — дъйствительность или сонный образъ; и что фантастичнъе, — греза, трезвое событіе или нагроможденія и провалы сонной души...

3.

Художественный критикъ имѣетъ свою, строго опредѣлен» ную задачу, которой онъ долженъ былъ вѣренъ: В) онъ изслѣду етъ произведенія искусства и осуществившій ихъ творческій актъ, ане жизнь и не личность самого художника; критикъ — не историкъ и не біографъ, онъ судить о созданіяхъ искусства, а не о создавшемъ ихъ человѣкѣ.

Но творчество А. М. Ремизова является прямымъ исключеніемъ. Онъ самъ не только не устраняетъ свою личность изъ своихъ созданій, какъ этого требуетъ зрѣлое и законченное хугдожество, но сознательно вплетаетъ себя въ нихъ. Прометей самъ участвуетъ въ хороводъ своихъ чадъ. Герои Ремизова неръдко оказываются живыми участниками его личной жизни, а авторъ выступаетъ самъ среди своихъ образовъ. 4) Этимъ онъ даетъ нѣкоторыя права своему критику и даже заставляетъ его обратиться къ живому первоисточнику изслѣдуемыхъ произвегденій. Этотъ первоисточникъ есть лучшее и необходимое поясъ

<sup>1)</sup> См. напр. Ахру. Повъсть Петербургская о «философъ» Ященко; или еще — Андрей Бълый — какъ «ангелъ небесный, слетъвшій въ нашъ ровъ львиный». Ахру. 41; про него же: «очарованъ. Безгръшный и чистый — бълый». Кукха. 34: о Горькомъ: «какой умный и сердечный человъкъ)» Кукха. 36.

Кукха. 34; о Горькомъ: «какой умный и сердечный человѣкъ!» Кукха. 36.

2) Напр. о евразійцѣ Сувчинскомъ у Ремизова опубликовано такое сонное видѣніе: «... пришелъ въ театръ, въ оперу и вижу, сидитъ въ первомъ ряду П. П. Сувчинскій, грибы чиститъ, поганки. Я съ нимъ поздоровался и сѣлъ рядомъ. «Самъ собиралъ, — сказалъ Сувчинскій, — по новому способу, въ закрытомъ помѣщеніи». Взвихренная Русь. 131 — 132. Или: онъ видитъ во снѣ Авксентьева, министра внутреннихъ дѣлъ при временномъ правительствѣ,— «Я подошелъ къ Авксентьеву да палъцемъ его въ животъ,—а изъ него пакля». Взвихренная Русь. 234. Керенскій обѣщаетъ подарить ему «дудочку-кукуш» ку». Тамъ же 162.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) См. Введеніе.

<sup>4)</sup> Срв. напр. "Взвихренную Русь", "По Карнизамъ", "Ахру", "Кукха".

неніе для многаго въ его творчествъ. Чтобы увидъть Ремизовахудожника, существенно вступить съ нимъ въ личное общеніе, что мы и попытаемся слълать, соблюдая всяческую мъру, почтительность и любовность.

Алексъй Михайловичъ Ремизовъ родился въ Москвъ въ 1877 году, въ московскомъ Замоскваръчьи, откуда и Шмелевъ

родомъ, бытомъ и духомъ.

Въками это Замоскваръчье было гнъздомъ народнъйшаго, коренного и консервативнаго купеческаго слоя, который быль какъ бы сердцемъ, истокомъ и живымъ водохранилищемъ торговой православной Руси. Здесь хранились древніе нравы и уклады, связанные съ церковностью, а нередно и съ старообрядческой церковностью; они хранились и въ большомъ, и въ мая ломъ, и въ священномъ, и въ пустяковомъ, какъ бы нѣкая ос-нова жизни и сокровище. Въ этой средѣ вѣра и необразованность срастались нередко въ суеверіе, а суеверіе отъ искренней наивности возносилось на уровень въры и чуть ли не догмата. Быть срастался съ обрядомъ, а изъ подъ обрядоваго быта биль струей неистовый русскій темпераменть, оть котораго выдеря жанное скопидомство смѣнялось внезапно щедрымъ мотовствомъ, а мотающее буйство заканчивалось покаяннымъ обрядомъ. <sup>1</sup>) Это среда, гдъ широкая и богатая торговля въками совершалась безъ документа, а кредитъ строился безъ векселей – на честное слово, на памятную зарубочку у дверей и на страхъ возможная го отказа въ будущемъ; и все вершилось съ върностью, кръ постью и успѣхомъ... Это среда, гдѣ «сонъ», сказка, священная легенда и дурная примъта - принимались и толковались съ одинаковой опасливой серьезностью; гдф благоговфино чтили Церковь и Писаніе, - и незам'ьтно напитывались церковно славяня ской словесностью, со всемъ ея обще и древле-славянскимъ богатствомъ и пареніемъ; гдѣ царилъ великолѣпный и пѣвучій, «желанный» московскій говорь и выговорь, воспринятый и утвержденный Императорскимъ Московскимъ Малымъ Театромъ; гдъ этоть языкъ шель прямо «изъ нутра», свободно отчеканивая и темпераментное ново-словообразованіе, и крѣпкую, зазорную ругань, и солено-горькую, гвоздемъ впивающуюся пословицу, часто мудрую и всегда лаконичную, и - художественно-проник> новенную молитву. Это среда, гдв не было религіозныхъ сомньній, но гдь въ то же время върили въ гаданіе – на гушь, на картахъ, на бобахъ, съ зеркаломъ, пътухомъ, кольцомъ, оловомъ, воскомъ, въ банъ, у амбара и съ уличнымъ окликомъ встръч» наго человъка; гдъ върили до страха, до муки и пота – и въ домовыхъ, и въ въдьмъ, и въ чертей, которыхъ явственно ловили на себъ съ перепоя..., – и во всю тысячельтнюю нежить и нечисть русскаго мина; гдь странники и странницы, чудотворы, знахари, бабки, монахи и всевозможные юроды <sup>2</sup>) — прини»

<sup>1)</sup> Срв. «Чертогонъ» Лъскова, драмы Островскаго, разсказы Шмелева.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Срв. «Чертогонъ» лъскова, драмы Островскато, разсказы паменена.
<sup>2</sup>) Срв. въ «Бъсахъ» у Достоевскато; у Островскато и въ мастерскомъ описаніи Бунина. См. у Ремизова «Прудъ», «Оля» и особенно «Пятая Язва» и «Крестовыя Сестры». 42.

мались, привъчались, кормились-поились, выслушивались, нагоняли страхъ, отгащивали свое и плелись дальше, — съ ихъ темными ръчами, въщаніями, присловіями и несмысліями. Все вмъстъ взятое — цълое озеро народнаго быта, народной были и небывальщины; богатство предчувствій, страховъ и видъній; родникъ русско-народнаго слова и мечты, струящій свои фонетическія и миюологическія воды черезъ въка въ въка.

Мнъ неизвъстно, въ какихъ жизненныхъ формахъ и въ какомъ возрастъ пріобщился А. М. Ремизовъ этимъ живымъ водамъ русскаго мина и фольклора; объ этомъ однажды подробно разскажеть его жизнеописатель. Но воды эти струятся въ его творчествъ, еще богаче и живъе, чъмъ у Н. С. Лъскова и у В. И Даля. Это и понятно. Онъ вступиль въ жизнь съ исключительно нъжной, сверхвпечатлительной душой, какъ бы отъ рожденія обреченной на то, чтобы мучиться въ земной жизнидолго, остро и всесторонне. Такія души живуть какъ бы съ въчно обнаженнымъ чувствилищемъ, для котораго весь міръ, отъ удара камнемъ до легчайшаго дуновенія, — и можетъ быть именя но и особенно въ легкомъ дуновеніи, — почти уже нестерпимъ. Это души, которыя ранятся съ особенной силой отъ каждаго проявленія черствости, грубости, жестокости; мало этого — отъ каждой нелюбовности, неделикатности, несправедливости, и страдають даже оть воображаемаго страданія... Такіе люди въ дътствъ замкнуты. «завернуты» въ свой внутренній мірь («ин» тровертированы»), одиноки и фантастичны. Они живуть «какой то своей жизнью», 1) внутренно-богатою, 2) «затаенною» 3) и не похожею на жизнь другихъ дътей. Они слишкомъ рано начи: нають понимать, что «люди вообще существа грубыя... и глу» пыя... и лютыя»; 4) и сердце ихъ никогда не перестаетъ содрогаться отъ этого. Они какъ бы изначально и навсегда «ранены», а «если ты ранень, — и самь вольный воздухь растравить тебъ рану». <sup>5</sup>)

Отъ этой сверхчувствительности, отъ этой такъ сказать обнаженности «сердечныхъ нервовъ»,—такіе люди еще болѣе замыкаются; они уходятъ въ себя хотя бы уже для того, чтобы не выставлять на показъ и не выдавать свое страданіе. Тогда имъ начинаетъ грозить великое одиночество въ жизни, которое можетъ стать полнымъ, если они не встрѣтятъ въ жизни другую, родную, столь же нѣжную душу и не срастутся съ нею пожизненно. Такой даръ Божій А. М. Ремизовъ имѣлъ въ лицѣ своей жены, которой онъ и посвящаетъ всѣ свои произведенія. 6)

Но ему необходимъ еще и творческій исходъ. И прежде всего какъ бы нѣкая «защитная скорлу»

<sup>1) «</sup>По Карнизамъ». 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) «По Карнизамъ». 11.

<sup>4) «</sup>Пятая Язва». 32; срв. «Крестовыя Сестры». 15. Срв. «По Карнизамъ», 79 — 86 и др.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) «Пятая Язва». 27.

б) Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, ученый палеонтологь; скон чалась 13 мая 1943 г, въ Парижѣ.

п а» въ которую онъ могъ бы творчески прятать ся, т. е. такой душевный актъ, который избавляль бы его отъ излишней, непроизводительной и разрушительной боли. Этотъ творческій актъ должень быть въ то же время нѣ кимъ духовнымъ вентиляторомъ, т. е. творческимъ исходомъ для накапливающагося матеріала сердца и фантазіи; и, въ довершеніе всего,—источникомъ радости, компенсирующаго утѣшенія, удовольствія, отвлеченія и развлеченія. Необходимъ ключъ живыхъ утѣхъ, который быль бы всегда съ нимъ, въ немъ самомъ, чтобы онъ всегда могъ вознаградить его за всѣ тѣ огорченія, боли и раны, которыя умножаются въ немъ отъ общенія съ внѣшнимъ міромъ и людья ми.

Люди съ сильной волей создають въ себъ особую болье или менће трудно проницаемую оборонительную скорлупу; они пріучають себя многаго не видеть, не замечать, «итти мимо»; и находять въ себъ способность изживать свои аффекты, душевные водовороты и бури - въ активныхъ поступкахъ, въ противодъйствіи, въ борьбъ. Но люди, предназначенные къ чувствованію и созерцанію, а не къ волевымъ напряженіямъ или къ борьбъ. – оказываются неспособными къ этому. Изъ того тягостнаго опыта, который ждеть ихъ на каждомъ шагу и осложняется угрызеніями ангельски - чувствительной сов'єсти, - они возвращаются въ себя съ новымъ бременемъ, предостави ленные себь самимъ и не найдя никакого жизненно-поборающаго исхода. Та компенсація, безъ коей душевный организмъ человъка можетъ потерять свое равновъсіе и сломиться въ душевной бользни, - можеть быть добыта ими только во внутреннихъ процессахъ.

О томъ, какъ эта творческая компенсація начала слагаться у Ремизова, онъ самъ разсказываетъ въ первой главѣ своей за мѣчательной по исповѣдной искренности и по сердечной обна женности книгѣ «По Карнизамъ».

«Изъ трехъ моихъ братьевъ — двое лунатики» ... «А я и не лунатикъ, и не во снѣ, и не въ луну, я и с к а л ъ г о л о в о к р у ж и т е л ь н ы х ъ к а р н и з о в ъ». ¹) У него съ дѣтства была странная потребность и с к а т ь о п а с н о с т и: какъ бы будить въ себѣ внѣшними поводами и обстояніями — с т р а х ъ. Лазать по трухлявой лѣстницѣ на гнилую крышу третьяго этажа: «вотъ рухнетъ, и я сорвусь!» ²); садиться въ лодку такъ, чтобы она опрокинулась; или перегибаться изъ лодки на глубокомъ мѣстѣ, чтобы сорвать цвѣтокъ; ходить между маневрирующими паровозами, чтобы то и дѣло «шибало» возгрухомъ и паромъ; переходить улицу подъ мчащихся пожариныхъ... Это былъ своего рода «лунатизмъ», который такъ опасно прерывать окрикомъ: «какъ это страшно — проснуться, стоя съ протянутыми руками на карнизѣ!» ³)

<sup>1) «</sup>По Карнизамъ». 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же. 8. в) Тамъ же. 7 — 9.

Эта потребность в н в ш н е р а з б у д и т ь въ себ в страхъ объясняется твмъ, что э т о т ъ с т р а х ъ б ы л ъ п р о б у ж д е н ъ в ъ н е м ъ и с к о н н о, «первоздан» но» и таился въ глубинв, не находя себ в внышнихъ причинъ, путей и проявленій. Это былъ внутренній, м е т а ф и з и ч е с к і й у ж а с ъ б ы т і я, родившійся одновременно со столь же м е т а ф и з и ч е с к о й б о л ь ю б ы т і я. На до было отдаться страху во всей его острот и глубин в; включить его въ свою жизнь, прикрыпить къ причинамъ и основаніямъ внышняго порядка. И когда это совершилось и страхъ дыйствительно сталь овладывать душою и тыломъ («съ упавшимъ сердцемъ я едва передвигалъ ноги») 1 — тогда были най дены первые источники его художественнаго творчества: б о л ь и с т р а х ъ.

Второй источникъ «далъ ему» собиратель бабочекъ, жив» шій на томъ же дворѣ. Онъ влюбилъ мальчика въ красоту неу» ловимаго «махаона» и заразилъ его желаніемъ поймать эту ба» бочку. И однажды эта «красавица» «бабочка» слилась у него въ полусонномъ полувидѣніи со странной, молча страдающей женщиной, забредшей къ нимъ на дворъ и отогрѣвавшейся въ дворницкой: она вдругъ «замахаонилась» и . . . къ утру исчезла. И вотъ, мальчикъ «словно перешелъ еще какой то мостъ» и «по» палъ на еще какую то землю»; въ его «затаенность» «съ этихъ поръ вошло новое чувство». 2) Онъ началъ неотрывно читать «взрослыя» книги; а когда онъ отрывался отъ книги, его «раз» бирало выдумывать всякія небылицы !» И все это таинственно связалось на всю жизнь съ Э. Т. А. Гофманомъ . . .

Такъ случилось съ нимъ то, что описано въ одномъ изъдътскихъ стихотвореній Лермонтова:

«Въ умѣ своемъ я создалъ міръ иной И образовъ иныхъ существованье, Я цѣпью ихъ связалъ между собой, Я далъ имъ видъ, но не далъ имъ названья»... 3)

Онъ началъ предаваться тъмъ махаоннымъ мечтамъ, той полусонной фантастикъ, которою когда то спасался Гофманъ и которая давала Ремизову — и защитный механизмъ («скордупу» 1), и творческій исходъ, и ключъ живыхъ утѣхъ, вознаграждающихъ боль и преодолѣвающихъ страхъ. Онъ науя чился наслаждаться страхомъ, рождая изъ него страшную художественную мечту и содержаніяхъ творчески пребывая въ мечты — на грани сна и бодрствованія, серьезной въры и шутки, колдовства и игры, на грани страха и наслажденія, трепеща отъ страха и блаженствуя въ наслажденіяхъ этого трепея та: блуждая... «по карнизамъ».

<sup>3</sup>) Лермонтовъ. Русская Мелодія. 1829 г.

<sup>1) «</sup>По Карнизамъ». 9. 2) Тамъ же. 9 – 11.

Вотъ откуда эти волшебныя дѣйства или эта игра въ воле шебство, которая составляетъ его жизненную и творческую ате мосферу.

4.

Я звоню вечеромъ у его двери и вдругъ вижу, что на двери, — это въ Парижѣ, а тамъ именныхъ дощечекъ не полагаетъ ся... — виситъ на кнопкѣ зеленый нитяный хвостъ...¹) Это— знакъ его жилища; по этому знаку его находятъ многочислень ные посѣтители, знакомые и незнакомые — образуя у него «толкучку». Сначала рядомъ съ хвостомъ висѣла еще «денежка» — «неразмѣнное су»; но «не дружные»²) и злорадные французскіе ребятишки сначала похитили у него монетку, потомъ «оторвали хвостъ», потомъ «содрали и кнопку», и оставили его съ одной дыркой отъ кнопки; по ней то онъ и находилъ свое жилище, жалуясь въ печати: «Нынче осенью, знаете, хвостъ у меня оторъвали! Я еще подумалъ: теперь конецъ, шабашъ толкучкѣ! — безхвостье мое всѣхъ запутаетъ»... — «Разъ хвоста нѣтъ, стаяло быть, не я!» ³)

Но я звоню. Тихіе, мягко шлепающіе шаги за дверью; отворяють, — онь самь, въ домашнихъ теплыхъ туфляхъ. 4) Магленькій, худой, согбенный, 5) какъ бы настороженно прислушивающійся или присматривающійся къ чему то, съ аскетическимъ, бритымъ лицомъ, съ огромнымъ лбомъ мыслителя, — волосы обычно назадъ, вдохновенными вихрами или пучками... За большими черными «дипломатическими» очками — очень уменые глаза; они то прячутся въ вѣкахъ и стеклахъ, сощуренно исчезая въ мигъ блаженствующей улыбки, то серьезно смотрятъ въ посѣтителя, колюче, пристально, въ два темныхъ бурава. На плечахъ старый пледъ, сложенный вчетверо: онъ всегда немного зябнетъ (не отъ жути ли?), а зимой носитъ до трехъ вязаныхъ «кофтъ», одну на другой — «шкурками». 6) Видъ блѣдный, боглѣзненный, усталый, — какъ послѣ долгой болѣзни или муки (не за другихъ ли?).

Онъ всегда занятъ; особенно позднимъ вечеромъ и до глужкой ночи: <sup>7</sup>) ему нужна тишина. Онъ не можетъ «заниматься ни на людяхъ, ни на воздухѣ» — «нѣтъ скрыти»; <sup>8</sup>) а онъ любитъ «затворъ» и «молчаніе»: <sup>9</sup>) «тишина мнѣ хорошо»; <sup>10</sup>) и такъ до третьяго пѣтуха: «а послѣ третьяго — пора спать». <sup>11</sup>)

Онъ или читаетъ, — охотнъе всего первоисточники: чъмъ древнъе, тъмъ милъе; чъмъ народнъе, тъмъ упоеннъе; на раз-

 $<sup>^{1}</sup>$ ) «По Карнизамъ. 79 — 86 — сл.  $^{2}$ ) Тамъ же. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Тамъ же. 86 — 87; срв. 79. 92. <sup>4</sup>) «вечеромъ надъваю туфли, чтобы не топать». «По Карнизамъ». 85.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> «Или меня взять — червякь въ три дуги согнутый». «Ахру». 24. <sup>6)</sup> «По Карнизамь». 115. <sup>7)</sup> Тамъ же. 15. 85. <sup>8)</sup> Тамъ же. 93. <sup>9)</sup> Тамъ же. 103.

<sup>10)</sup> Тамъ же. 103. 11) Тамъ же. 82.

ныхъ языкахъ, - высшее счастье, если попадется древняя рукопись, которую надо переписать, по возможности — fac simile! Онъ страстный каллиграфъ. – во всъхъ стиляхъ, съ невъроят» нъйшими выкрутасами; ему извъстны всевозможные пріемы, стили, прописи, образцы; у него настоящій даръ «факсимили» ста», а росчерки его и посвященія, - и вязью, и клиномъ, и съ греческими буквами, - кончаются обычно чемъ то вроде х в о с т а, то коротенькаго, то со страшенными взвивами и петлями, начинающимися отъ греческаго «кси» въ словѣ Алексѣй...¹)

Или онъ пишетъ что-нибудь свое: «работа моя: пере» бирать слова, какъ камушки, и нанизывать слова-раковинки строчить «преодолѣвая матеріаль», со всѣмь ошущеніемь ост= рымъ упора отъ бумаги, пера и чернилъ !» 2) «Можетъ быть, да и навърное, все написанное мною совсъмъ неважно и безслъдно — совсъмъ неизобразительно, а въдь въ этомъ все лъло письма! но для меня всякій разъ, когда я писалъ, казалось важнымъ, и мнъ хотълось еще жить на бъломъ свъть, чтобы начатое непремѣнно кончить». <sup>8</sup>)

Или онъ рисуетъ, – фантастическіе, иногда дътски-безпомощные рисунки: обычно это иллюстраціи къ чему-нибудь, къ своимъ химерамъ, или къ чужимъ снамъ. 4) Эти рисунки надо разсматривать, какъ явленіе метафизической фантастики, пребывающее по ту сторону умънія и неумънія, правдоподобія и неправдоподобія, приличія и неприличія. Они всегда выразительны, по своему стильны, подчась даже утонченны, иногда (въ нея чисти!) отвратительны и всегда первобытны какой то родовой, доисторической первобытностью.

Но больше всего онъ любитъ «клеить и красить». «Оттого ли» пишетъ онъ, «что прадъдъ мой — суздальскій красильный мастеръ или... такимъ зародился я на свътъ: мой стихъ и страсть — весь міръ склеилъ бы и выкращу въ самыя яркія краски!»...<sup>5</sup>) Пови димому это отвъчаетъ его сказочнымъ мечтамъ — о всеобщемъ соединеніи и примиреніи, о «махаонной» жизни на землъ. Въ этомъ же порядкъ онъ оклеиваетъ стъну и даже цълую комнату «серебряной бумагой» — отъ шоколада, чтобы потомъ уса≠ дить ее «всякими чучелками», <sup>6</sup>) — творить серебряныя палаты и въ нихъ невиданную жизнь...

<sup>1)</sup> Срв. «Взвихренная Русь». 289; такъ и подъ своими показаніями въ чрезвычайкъ Ремизовъ дълаетъ росчеркъ: «и въ концъ подпись свою вывелъ съ голубемъ, со змѣей, съ безконечностью — съ крылатымъ «з», со змѣинымъ «кси», съ «ѣ» въ Алексѣѣ, съ «ижицей» въ Ремизовъ и съ заключительнымъ твердымъ знакомъ»...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «По Карнизамъ». 15. <sup>3</sup>) Тамъ же. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Онъ началь большую коллекціонерскую работу по выбиранію сновиданій изъ художественной литературы— изъ Гоголя, Тургенева и другихъ. Онъ пытается ихъ иллюстрировать. Срв. Россія въ снахъ. І. Тридцать сновъ Тургенева. На французскомъ языкъ: Tourgueniev, poete du rêve. Paris. Hippocrate. и др.

<sup>5) «</sup>По Карнизамъ». 92.

<sup>6) «</sup>Взвихренная Русь». 74. 207. 257. 276. 307. 356; срв. также «По Кар» низамъ». 107.

Я повидимому отвлекъ его отъ работы. Къ нему ходятъ слишкомъ много и сидятъ у него слишкомъ долго: отвлекаютъ его отъ мечтательнаго труда и сновидческаго созерцанія. 1) Онъ даже гдв то записаль, будто «есть художественная казнь» для писателей — это отрывать и разсвивать, ни на минуту не оставляя въ поков, ни на минуту не давая человъку сосредоточивать мысли»...<sup>2</sup>) Но онъ — сама доброта и деликатность, не показываеть этого. Улыбаясь, - сразу мечтательно, лукаво и загадочно, улыбкой блаженной и какъ бы прикровенно-уходящей, онъ ведетъ меня къ своему широкому, неполированному столу, за которымъ онъ работаетъ. Столъ заваленъ книгами, начатыми рисунками, клочками бумаги, рукописями, карандашами, резиночками, орудіями клейки и всевозможною загадочною гилью... Я задъваю за что то головой и наклоняюсь: на веревочкъ черезъ всю комнату, какъ въщаютъ бълье, виситъ гирлянда странныхъ химеръ, полувещицъ-полусуществъ, часто отвратительныхъ. иногда человъко-образныхъ, въ общемъ – цълый хороводъ жут» кой нежити.

Вотъ примърное исчисление участниковъ этого хоровода. 3) «Хвостъ Бабы-Яги, и съ ней летить еловая шиш» ка, а за шишкой вътренникъ; Миша-медвъдь съ паля кой на лыжахъ скачетъ по чистому полю изъ лѣса въ лѣсъ, ни= кого не боится; крылатая ящерица — яшмовый глазъ... лежитъ въ сухихъ листьяхъ; въ красномъ колпакъ цвергъ – тролъ-садовникъ, потому у него въ рукахъ лейка; к у ры и курицы клюють - хвостиками потряхивають; у на тергрундикъ (мэтровскій); с врый пыльникъ, который пыль подымаеть на улиць, на ногахъ автомобильныя шины: л в совикъ, замшилый двдъ; летучая черная кошколокольчикъ-звончикъ; чортикъбултыжникъ въкрасномъсъ вилкой; чортикъторопыжникъ черный: тоненькая обезьянка пробирается съ оглядкой; серебряная Звѣзда-Коляда летитъ, какъ хвостъ, выше Бабы-Яги; четыре Михеля четыре пряника; пятый по середкв...; пвтушокъ изъ домика выскакиваеть; обезьянья-вельможа вь ко= ронѣ — «велобезквелкинъ»; а подъ вельможей идетъ о б е з ь (на ниточкѣ); прыгунъ-хампельманъ лягушатый; заяць — Schneehase — бѣлый, какъ снѣжокъ; чернецъ-сучекъ голубятникъ; два ломанныхъ Михеля — очень страшные; мышка И мышкина лодка: обезьянье знамя...; фарфоровая баварская трубка; и занозия стый фетюхъ». Отдъльно — «самъ гешиенстъ»... «чернющійvхоглазъ — и все хвосты . . . мягкій !» ⁴)

Всѣ эти существа приходять къ нему с ам и <sup>5</sup>) и «лѣ» зутъ на стѣну». <sup>6</sup>) Вотъ напр. деревяннаго «чура» онъ нашелъ

6) «Взвихренная Русь». 22.

 <sup>«</sup>И въ молчаніи замѣчать сны». «По Ккрнизамъ». 103. Срв. «Взвихрен» ная Русь». 353 — 356, особ. 359. 391.
 «Взвихренная Русь». 140.
 Изъ временъ берлинскаго пребыванія (начало двадцатыхъ годовъ).

<sup>4) «</sup>По Карнизамъ». 18 – 21. 5) «Взвихренная Русь». 104. 114–115.

въ хозяйской «меблированной» подушкѣ...¹) Другое ему дарять; третье - приходить по почть; четвертое онь находить на прогулкъ. Онъ называеть эту коллекцію своей «паутинкой», «морскимъ дномъ», «игрушками». 2) Онъ знаетъ, что это «пыль» ные сучки, въточки, палочки, лоскутки» ... 3) и что это собственные разсказы о нихъ: «когда я говорю, они принимаютъ та» кой видь, какой мнь хочется — и всь видять» . . . «А сними я ихъ со стѣны, и безъ меня никто не разберетъ, гдѣ и кто»... - «они только со мной живуть, ишь, глядять! усатые, носатые, трехрукіе, одноногіе» . . . <sup>4</sup>)

Но продать ихъ американцу-коллекціонеру, онъ ихъ не могъ... 5) И когда въ Парижъ его повалилъ и чуть не раздае виль автомобиль, то онь благодариль дома своихъ чудомория ковъ, за то что они въ послѣднюю секунду прилетѣли и «по» достлались» и спасли его отъ смерти . . . <sup>6</sup>) А какъ горько ему было, когда какой то русскій сосѣдъ укралъ у него все это

«морское дно» ! . . . <sup>7</sup>)

Составъ этихъ существъ мѣняется, Каждое изъ нихъ имѣ, еть свою исторію, которую онь мнв туть же и разсказываеть съ великой миоически-сказочной серьезностью. Это маленькая «Лысая гора» или Вальпургіева ночь на Брокень, шабашь въдьмъ и карликовъ; если угодно - парникъ для домовыхъ, какая то чертова дътская. Шутливо и страшновато поблескивая глазами онъ повъствуетъ мнъ, кто откуда взялся, и что успълъ уже на творить... И если кто-нибудь изъ нихъ «скроется», то «развъ можно насильно вернуть? а если надо, они всв опять появятся, не одни, такъ другіе! ...» 8)

Что это — бредъ? Нътъ, — поэзія страха. Мог жетъ быть – безуміе? О, нѣтъ; онъ и «былъ и есть»  $^9$ ) – въ здравомъ умѣ и твердой памяти. А разсказъ его есть ж и в о е ми о о творчество, — не отчетъ, не докладъ, а творе чески-играю щее волхвованіе. Я, конечно, принимаю въ серьезъ эти коротенькія сказки и мнѣ уже хочется спросить, что же «тоненькая обезьянка» и «обезьянъ на ниточкъ» признають ли они авторитеть «обезьяньяго вельможи»» и не ссорятся ли другъ съ другомъ – «чортикъ бултыжникъ» и «чор» тикъ торопыжникъ»?... А когда появляется чай, то я уже привыкъ ко всемъ этимъ уродцамъ и мне кажется, что они посматривають на меня съ дружелюбіемь и пониманіемь..,

Чай заваривается не спроста: обрядъ торжественный, волх вующій. И самый чай особенный, и засыпается онъ по особеня ному; появляется еще одинъ ветхій плодъ, чайникъ тщательно укрывается... Тихо, съ ласковосамозабвенной улыбкой стоитъ

<sup>1) «</sup>Взвихренная Русь». 99 — 100.

<sup>2) «</sup>По Карнизамъ». 107.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>) «Взвихренная Русь». 356. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Тамъ же. 356. <sup>5</sup>) Тамъ же. 356 — 357.

<sup>6) «</sup>По Карнизамъ». 106. 111.

Тамъ же. 110 — 115.

Тамъ же. 112.

<sup>9)</sup> Тамъ же. 8. Его слова о самомъ себъ.

самъ вѣдунъ надъ закрытымъ чайникомъ, возложивъ на него обѣ руки... и молча волхвуетъ, чтобы чай удался... и ждетъ, пока новое, душистое существо не сварится, не созрѣетъ подъ покрышкой...

А какъ вкусенъ этотъ чай ... и какія играющія и страдающія прозрѣнія произносятся во время его распиванія ... объ этомъ я не сумѣю разсказать своими словами ... Уходя домой съ первыми пѣтухами, я прощаюсь и съ ремизовской «паутинкой». Мнѣ кажется, что его коловертыши не будутъ вредить мнѣ, уже въ силу одного того, что они научились у него самого добротѣ; но завести такое «морское дно» у себя, — я бы не хотѣлъ ...

5.

Побывавъ въ «волшебномъ царствѣ» 1) Ремизова и воспринявъ кое что отъ его химеры и отъ его творчества, мы можемъ попытаться найти вѣрныя слова для предметной оцѣнки его лиговатуры

Ту «компенсацію», которая была ему необходима съ самаго начала, онъ нашелъ не сразу и пока онъ не находилъ ея, онъ пребывалъ въ нѣкоторомъ о ж е с т о ч е н н о м ъ ч е р н ов и д ѣ н і и; онъ видѣлъ въ людяхъ и живописалъ т е м н о е н а ч а л о, черные провалы зла и злобы, соблазна и порока.

Вступивъ въ жизнь съ душою нѣжною и сверхвпечатли» тельною, съ зарядомъ метафизической боли метафизическаго страха, онъ, повидимому, еще въ дътствъ скопилъ множество тягостныхъ впечатлъній, изранившихъ, оскорбившихъ и взбудоражившихъ его душу и безъ того трепетавшую отъ собственныхъ внутреннихъ причинъ. И первымъ способомъ изжить это бремя явилось для него и с к а ніе внѣшнихъ страховъ. Найдя ихъ, онъ выработаль себь новый, второй путь: выдумки и шалости. «Меня разбирало выдумывать всякія небылицы! — я ходилъ, ничего не замъчая, въ своемъ міръ, и ужъ чего только не вытворяль, городя, и въ смѣхъ и въ страхъ». 2) «Прохохоталь всю дорогу», записываеть онъ осенью 1905 года: «такое выдумывается, не дай Богъ l» 3) Мы не знаемъ, какимъ шалостямъ онъ предавался въ дътствъ. Но тъ шалости, которыя онъ описаль (или записаль?) въ своемъ кошмарномъ «романѣ» «Прудъ» (1908) — свидътельствують о томъ ожесточе ніи, которое можеть овладъвать его воображеніемь. 4) Такое

<sup>1) «</sup>По Карнизамъ». 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же. 11. 12. <sup>8</sup>) «Кукха». 24.

<sup>4)</sup> Этоть «романъ», върнъе эта э п о п е я з л а, была написана, повидимому, подъ вліяніемъ «Мелкаго бъса» Өеодора Соллогуба (Тетерникова), см. «Кукха». 24: «брежу мелкимъ бъсомъ», запись отъ 1905 года. Четверо

же ожесточение замѣтно и въ его раннихъ разсказахъ, относя щихся къ девятисотымъ годамъ. Черно-вйдѣніе изъ повседневнаго быта переносится въ быть политическій и тюремно-ссылочный, 1) непосредственно извъстный автору по его арестамъ и ссылкамъ за близость къ партіи соціалистовъ-революціонеровь. 2) Въ дальнъйшемъ это черно-видьніе начинаетъ сосредоточиваться на тъхъ бользненныхъ, загадочныхъ и неръдко отвратительныхъ событіяхъ и случаяхъ, которые каждому изъ насъ нетрудно отыскать въ жизни. <sup>8</sup>) Здѣсь чувствуется вліяніе Гофмана, а можеть быть и Соллогуба. Авторъ все еще ищеть себя, свое самостоятельное творческое созерцаніе, свою свободу, свою силу, свою тему. Онъ ищетъ выхода къ мину и минотворчеству, къ сказкъ; онъ какъ будто перебираеть различныя художественныя установки и способы творить; и медленно идеть къ своей сферв, къ своему эстетическому стилю, - къ освобожденію своего воображенія отъ всякихъ услов ностей, литературныхъ формъ и запретовъ. Его душа ищеть свободной игры, вольнаго колдованія въ образахъ, въ темахъ и словахъ. Въ ней бродитъ стихія «неуемная»; 4) въ ней живуть поиски, не терпящіе ника кихъ ограниченій, никакихъ партійныхъ или «направленческихъ» трафаретовъ.

Ремизовъ ищетъ выхода къ художественно мую родству и литературной вседозволен» ности. И постепенно находитъ этотъ выходъ. И, когда находитъ, тогда его черновѝ дѣніе уходитъ въміръ фантазіи, а міръ людей начинаєтъ открываться ему вътомъ страдающемъ и сострадающемъ воспріятіи, которое было искони присуще ему и которое нѣког да и довело эту нѣжную и сверхвпечатлительную душу до ожесточенія и бытового черновѝдѣнія. Компенсація найдена; худо

1) Срв. разсказы «Кръпость». «Серебряныя ложки». «Опера». «Казенная

4) См. его разсказъ «Неуемный бубень».

мальчиковъ изъ купеческой замоскварѣцкой семьи, какъ бы одержимыхъ и «мелкимъ» и «крупнымъ» бѣсомъ, заполняютъ всю свою жизнь злымъ, непристойнымъ, хулиганскимъ и кощунственнымъ озорствомъ, вызывающимъ въ дуг мѣ читателя прямое отвращеніе; въ дальнѣйшемъ главный «герой» оказывается членомъ партіи соціалистовъ-революціонеровъ изъ окруженія Каляева (по рогману «Катинова») и переходитъ отъ разврата и политической тюрьмы къ уголовному дѣянію. Ко всѣмъ этимъ дѣламъ причастны и монахи московскаго Андроніева монастыря... Читая это по истинѣ ч е р н о е произведеніе русской литературы, написанное изъ какого то безпросвѣтнаго мрака стилемъ отчаянія и ожесточенія, невольно содрагаешься и за русское художественное вѝдѣніе, и за Россію. Это произведеніе невѣрно и неубѣдительно п р е для е т н о; психологически неправдоподобно въ планѣ о б р а з а; мучительно и нагроможденно въ с т и л ѣ. Авторъ правъ: это «уродливо-кошмарная жизнь» (стр. 37); отъ нея «сердце прогниваетъ до пустыхъ жилъ» (115); и кажется, что дѣйствительно «гдѣ то за потолкомъ... ворчить и катается страхъ-страшное, безглазое чудовище»... (49).

дача». «Эмаліоль».

2) Срв. «Взвихренная Русь». 89 — 90. 108. 139. 172. 173. 175. 178.

«Чомтикъ». «Судъ Божій». «

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Срв. разсказы «Чертыханець». «Чортикь». «Судь Божій». «Жертва». «Занофа».

жественное творчество его создаеть себь новыя, необычайныя литературныя формы; ожесточение стихаеть и главныя темы его жизни и творчества—о бщая обреченность, брать ство, состраданіе и вина всьхъ за всьхъ, — находять себь мъсто и признаніе.

Такъ, постепенно, Ремизовъ становится въ русской литера»

турѣ «юродивымъ вѣдуномъ».

Когда я говорю о его «юродствѣ», то я отнюдь не имѣю въ виду какое-нибудь «сумасшествіе». Вмѣстѣ съ самимъ авторомъ я убѣжденъ въ томъ, что сверхчувствительность и сверхъ-фаньтастичность дѣлаютъ человѣка оригинальнымъ и исключительнымъ, но не безумнымъ. Онъ страдаетъ больше другихъ; онъ воображаетъ иначе и иное, нежели другіе; у него образуется особый характеръ и укладъ жизни, но онъ трезво несетъ, и жизненно и художественно, свою духовную силу и отвѣтственность.

Русскіе юродивые отказываются обычно отъ разума, культуры и общепринятаго бытового и трудового уклада. Чего ради? Во имя чего? Не всегда – ради одного и того же. Церковь знаеть «Христа ради юродивыхь» и чтить ихъ, какъ праведни» ковъ, именно за предпочтение Христа всему на свътъ. Человъкъ отрицался всего, что мъшало ему пребывать во Христь - отъ собственности, отъ труда, отъ удобствъ, отъ правъ и обязанно стей «міра сего,» и можеть быть даже отъ земного разсудка... Славный русскій угодникъ Андрей - Юродивый, - ходилъ въ одной рубахъ, босикомъ, зиму и лъто, уходилъ на кладбище и, обнявь какой нибудь надмогильный крестъ молился обливаясь слезами: и молитва его была односложна, одинъ неустанный воскликъ оть полноты сердца: «Господи! Господи!!» Такіе юродивые были искони подвижниками, молитвенниками, правдовъ щателями и обличителями. Въ русской художественной литературь они показаны со всею краткостью и силою, таковы: Николка - юродивый у Пушкина («Борисъ Годуновъ»), юродивый Гриша у Л. Н. Толстого («Дътство и Отрочество»), Вася-блаженный у А. К. Толстого («Князь Серебряный»); и - многи» ми ступенями ниже - юродивый Семенъ Яковлевичъ у До: стоевскаго («Бѣсы»).

Русская исторія и русская литература знають, конечно, и иныхь «юродивыхь», — искавшихь не Бога, а своей похоти. Съ нещадной точностью показываеть ихъ Бунинъ, цѣлой вереницей: обжорства ради юродивый, чая ради, блуда ради и еще иные, хуже и ниже...¹) И при этомъ — все люди различной сознательности, вмѣняемости и духовнаго уровня.

И тымь не меные у всыхы юродивыхы есть единое основоположение: все, что мышаеть жить для «главнаго», отвергается и совлекается; — все, что не позволяеть предаться «единому», ради чего стоить жить, отодвигается и обезцынивается — вплоть до разсудка и всяческой формы...

<sup>1)</sup> См. «Суходолъ», «Слава», «Деревня», «Божіе Древо».

Въ ряду замѣчательныхъ русскихъ «юродивыхъ» А. М. Ремизовъ есть явление особое, небывалое. Онъ юродивый въ пред ѣ лахъ культуры, — умный, образованный, даровитый художникъ, со своимъ, значительнымъ, но юродивымъ видъніемъ, съ самобытнымъ, но юродивымъ литературнымъ словомъ. Онъ отводитъ традиціонную литературную форму, разумъ и разсудокъ – но не всегда и не во всемъ, а лишь постольку, поскольку они мѣшаютъ ему жить сердцемъ и выра: щивать изъ воображенія свои личныя химеры; постольку онъ отводить и все прочее, творя беззав в тя но и беззапретно, видоизмъняя все на свой собственный ладъ. Онъ есть «сердца ради юродивы й» и «ми в а ради ю родивый»; ибо юродствуеть онъ именно изъ своего терзающагося сердца и ради рождающихся въ его воображеніи поэтически-фантастическихъ химеръ. И именя но постольку онъ всегда готовъ перешагнуть черезъ всѣ услов ности, традиціи и «обязательныя» формы литературнаго бытія.

Для Ремизова жить — значить мучиться сердецемь; страдая — мечтать; мечтая — улыбаться; улыбаясь — писать. Писаніе же у него подобно запою: «И это какъ пьяниць скажуть такъ — Но что подълаешь, я не могь отказаться и не писать»...¹) И въ то же время онъ самъ испытываеть свое писаніе, какъ своего рода молит в у: «А писать и молиться одно и то же. Я въ церкви разъ увидъль, какъ молилась одна женщина, и вдругь поняль: въдь я тоже молюсь, ей Богу, ну совсьмъ какъ эта женщина, когда пишу — «отложивъ попеченіе»...²)

Эта черта «отложеннаго попеченія» характерна и для остальной его жизни и сближаєть его особенно съ юродивыми.

Я не знаю, какъ это произошло въ его жизни, но только онъ задолго до революціи остался безь средствъ къ существованію и съ тахь поръ живеть въ чрезвычайной необезпеченности, которая періодами обостряется до нужды и до настоящаго голода. Онъ прежде всего поэтъ и фантастъ; и потому къ бюрократической службъ не склоненъ и почти неспособенъ. Свою неприспособленность къ борьбъ за существование онъ знаетъ. «Я давно хорошо поняль разницу между собой и тѣми, кто въ жизни «хозяинъ». «Въ жизни» онъ «всегда, какъ посторонній»; «въ минуту ожиданій» онъ «всегда, какъ въ чужомъ домѣ». «Все-равно, на волю судьбы!» И онъ покорно окаменъваетъ». 3) Счеть для него діло чужое: «А горе мое: счеть для меня, ну никакъ не могу, всегда въ цыфрахъ путаюсь» . . . 4) Добывать «видъ на жительство»—«для меня это всегда ужасно». 5) Домъ на улицѣ отыскать не трудно, «а квартиру никакъ не могу; это моя постоянная мука — всегда не въ ту дверь». 6) Вотъ почему

<sup>1) «</sup>Кукха . 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>) «По Карнизамъ». 38.

<sup>4)</sup> Тамъ же. 23.

<sup>5)</sup> Тамъ же. 31. 34.

в) «Взвихренная Русь». 331.

такъ тягостны для него всякія денежныя «заботы, отъ которыхъ т у т ъ сжимаетъ» . . . <sup>1</sup>) И когда его кто-нибудь притъсняетъ, онъ только безпомощно жалуется: «Ребятишки отняли мою де» нежку»...<sup>2</sup>) А когда люди не отзываются на эту жалобу, онъ идетъ къ тихому тополю и шепчетъ ему:. «денежку у меня от» няли»...; и тополь «шелестить — слушаеть — слышить»... $^{8}$ )

Вотъ почему онъ самъ называетъ свою жизнь «кавардашною». 4) Улица для него мучительна: «какъ помню себя, я все дълалъ, чтобы обходить улицу». «И я не могу гулять — какъ это принято среди людей, и среди рыбъ, и среди звърей – я только могу итти зачъмъ-нибудь, чтобы какъ можно скоръе забиться въ свою нору, откуда я могу, когда хочу, тогда и выйду». «Безъ кротовой норы — безъ моего затвора я ежъ безъ иглъ» . . . <sup>5</sup>) «И отъ каждаго ръзкаго или случайнаго звука сердце у меня стучить, какъ птичье»... <sup>6</sup>) Волевые люди ему страшны и непонятны («хозяева въ жизни»): они «какъ сталь» «холодной сферой окружены», «и въ этой стали бьется живая воля и эта воля безпошадна». А онъ иной: я «самъ то, какъ ки» сель, и моя воля — не разлучная»; 7) «вотъ ужъ никакой стали, никакого жельза». 8) Поэтому онъ не борется въ жизни, а пріемлетъ судьбу. «Глупые! Развѣ можно убѣжать — отъ судьбы никуда не уйти». 9) Ее «никакой волей не повернешь l» 10) «Судьба не страшна, а ужасна; это - какъ безглазый (а по своему зорче стрълка!) тяжелый камень или пролетить или расплющить». <sup>11</sup>) Въ эпоху революціоннаго террора онъ записываеть: «... покор» ный судьбѣ, я подставляю спину подъ плети и лицо плевкамъ... Я не знаю, зачемъ нужны все мои униженія и зачемъ весь мой страдный путь? За себя мнѣ не страшно, не за себя ...». 12) Вотъ откуда у него это чувство «безвыходности и страшно сказать... пропада», 18) который онъ называеть еще «дока́номъ» (отъ «доканать»). И когда «накатитъ» такая «черная волна», тогда лицо его дълается мрачно-сосредоточеннымъ, безысходно страдающимъ; и въ одну изъ такихъ минутъ онъ прислалъ мнъ открытку со словами: «доколь, о Господи»!... Такой онь съ дътства: «съ дътства все такъ — какая то робь, все чего то стъсняещься». 14) Страхъ тревожитъ его вездъ и всегда, и на яву и во снѣ; 15) и когда нѣтъ ничего страшнаго вокругъ, то онь, самъ какъ ребенокъ, играетъ съ ребенкомъ въ воображае»

<sup>1) «</sup>По Карнизамъ». 81. 2) Тамъ же. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Тамъ же. 80.

<sup>4) «</sup>Взвихренная Русь». 169.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Тамъ же. 103. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Тамъ же. 104; срв. «По Карнизамъ». 38.

<sup>7)</sup> Т. е. не отрывающая человъка отъ человъка. «Взвихренная Русь». 88.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Тамъ же. 93. <sup>9</sup>) Тамъ же. 94.

<sup>10) «</sup>По Карнизамъ». 116.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Тамъ же. 106.

<sup>12) «</sup>Взвихренная Русь». 302.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) «По Карнизамъ». 69.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Тамъ же. 73.

<sup>15)</sup> Срв. напр. «По Карнизамъ». 50. 52. 60. 91.

мые страхи, 1) — или же творить литературные страхи для себя и для читателя... Онь знаеть, что «надо же какь-нибудь прожить положенный срокь !»; 2) и когда дълается совсъмъ трудно до невыносимости, то ждеть ч у д а, которое явится своевременно и отведеть и «пропадъ» и «доканъ». «И существую то я только чудомъ»... 3) И живя такъ, онъ самъ, по добротъ, отрадеть каждому, что кто попроситъ, и столько, сколько онъ пороситъ, и все, что тотъ захочеть.

Вотъ почему ему такъ необходимо утишать свою боль и свой страхъ творчествомъ и игрой. И сътъхъ поръ, какъ онъ нашелъ свой «юродивый актъ», творчество его стало — какъ игра, а игра его стала, какъ творчество. И, добавляетъ онъ самъ, — какъ молитва.

ĥ.

Ремизовъ настолько уменъ и зорокъ, что знаетъ самъ о «юродивости» своего творческаго акта; и владъетъ при этомъ такимъ юморомъ, который позволяетъ ему комически освъщатъ и самого себя. И такъ, при полной серьезной и мучительной трагикъ своего душевно-духовнаго уклада, онъ силою юмо ра художественно играетъ своимъ юродствомъ, шутитъ надъ нимъ, утверждая его и утверждаясь въ немъ, предаваясь ему по дътски, чуть чуть кокетничая имъ по женски и сосредоточенно пребывая въ немъ и творя изъ него по мужски.

Сущность этого юродства состоить въ освобождении души отъ требованій трезваго разсудка и отъ дневной цензуры разума; отъ обязательныхъ способовъ чувствовать, воображать и разсуждать; отъ всего того, что намъ внушаетъ преувеличенножеманное цъломудріе; отъ традиціонных влитературных формъ, темъ и стилей. Надо признать, что всемъ этимъ настоя щій канонъ художественности 4) не только не потрясается, но и не колеблется. Подлинно художественное произведение можеть быть создано не силою дневного мышленія, не-трафаретнымъ актомъ, внѣ всякой «pruderie», за предѣлами традиціонныхъ стилей, темъ и формъ. Художеству предстоятъ еще великія свершенія, не связанныя съ условностями и привычя ностями прошлаго. Но Ремизову такое освобождение кажется настоящимъ ниспровержениемъ всъхъ граней, не только эстетия ческихъ, но и иныхъ... Онъ переживаетъ это освобожденіе, какъ водвореніе нѣкой «вседозволенности» и связываеть его съ анархіей, и съ революціей, и даже съ безстыдствомъ, понимае. мымъ въ духѣ В. В. Розанова, котораго онъ безконечно чтитъ

<sup>1) «</sup>По Карнизамъ», 120 — 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же. 84. в) Тамъ же. 88.

 $<sup>^4</sup>$ ) См. мою книгу «Основы художества. О совершенномъ въ искусствѣ». Особенно главы 7-12.

и безмѣрно переоцѣниваетъ. 1) И все это онъ развертываетъ въ формѣ «обезьяньяго» миоа, который есть сразу и литературное созданіе, и попытка эстетически канонизировать свой новый творческій акть, и сатира на нигилизмъ и большевизмъ вооб. ще, 2) и игра взрослыхъ людей въ воображаемое и нисколько не осуществляющееся обновление міра въ сторону «природы», «естественности» и «свободы»...

Въ порядкъ такого жизненнаго миоотворчества Ремизовъ изобрълъ и учредилъ нъкое новое общество подъ названіемъ «Обезьянья великая и вольная палата», или въ сокращеніи «Обезвел-вол-паль». Во главъ этого общества стоить обезьяній царь Асыка, при палать коего самъ Ремизовъ состоитъ «забъглымъ политическимъ комиссаромъ» и «канцеляристомъ», и отъ лица коего Ремизовъ выдаетъ своимъ друзьямъ и знакомымъ особыя обезьяньи грамоты, титулы, ордена, разрисовывая ихъ фантастическими заковыками и красками, и снабжая ихъ «собственно» хвостными» подписями Асыки. Повидимому «обезвелволпаль» помъщался въ «серебряной игрушечной комнать» и до извъст. ной степени совпадаль съ нею. 3) Обезвелволпаль имъль своего старъйшаго «князя», своего «епископа», «музыканта», пословъ, кавалеровъ и даже свою обезьянью «монету».

Отъ лица этого общества въ печати появился рядъ «доку» ментовъ». Приведемъ изъ нихъ три: «Конституцію», «Манифестъ Асыки» и обезьянье «свидътельство». 4)

#### 1) Конституція.

1. Обезвелволпалъ... есть общество тайное, происхождение темное, цъли и намъренія неисповъдимыя, средствъ никакихъ.

2. Царь обезьяній - Асыка - Валахтантарарахтарандаруфа-Асыка-Первый-Обезьянъ Великій: о немъ никто ничего не знаетъ, и его никто никогда не виделъ.

3. Есть асычій нерукотворенный образь — на головь корона, какъ пътушиный гребень, ноги – змъи, въ одной рукъ въ нокъ, въ другой треххвостка.

4. Гимнъ обезьяній: я тебя не объель, ты меня не объе

ъщь, я тебя не объъмъ, ты меня не объълъ! <sup>5</sup>)

- 5. Танецъ обезьяній: «вороній» въ плащахъ, три шага на носкахъ, крадучись, въ стороны и подпрыгъ наоборотъ съ присядомъ, и опять сначала.
- 6. Семь князей. Семь старъйшихъ кавалеровъ-вельможъ, ключарь, музыканть, канцеляристь и сонмъ кавалеровъ и изъ нихъ служки и обезьяньи полпреды.

5) Повидимому указаніе на то, что въ обезьяньемъ царствів нівть взаимя ной эксплуатаціи и притівсненія?...

<sup>1)</sup> Срв. всю книжку «Кукха», посвященную Розанову и долженствующую показать его мнимую глубину и геніальность. «Взвихренная Русь». 96. 97. 299— 300. Духовной соблазнительности и ложной (темной I) глубины Розанова — Рег

мизовь повидимому не замѣчаеть и не постигаеть.

2) Срв. особенно «Взвихренная Русь». 294 — 295.

3) «Взвихренная Русь». 74.

4) По «Взвихренной Руси», и по «Ахру», въ зависимости отъ того, гдѣ тексть полнѣе. Стр. 272 — 274 и срв. 274 — 275 и особенно 294—295. 296 — 297. «Кукха». 38—39. 51. 66.

- 7. Три обезьяньихъ слова: «ахру» (огонь), «кукха» (влага), «гошку» (ѣда).
  - 8. Принято отвъчать на письма.

### 2. Манифестъ.

«Мы, милостью всевеликаго самодержавнаго повелителя л $\mathfrak{b}$  совъ и всея природы —

Асыка Первый,

верховный властитель всъхь обезьянь и тъхъ, кто къ нимъ добровольно присоединился, презирая гнусное человьчество, омрачившее свътъ мечты и слова, объявля и бесхвостымъ, въ шерсти и плешивымъ, хвостатымъ привержениамъ нашимъ, что здъсь въ лъсахъ и пустыняхъ нать маста гнусному человаческому лицемарію, что здъсь въсъ и мъра настоящіе и ихъ нельзя поддълать и ложь всегда будеть ложью, а лицем вріе всегда будеть лицемьріемь, чьмь бы они ни прикрыва: лись; а потому тъмъ, кто обмакиваетъ въ чернильницу кончикъ хвоста, или мизинецъ, если обезьянъ безхвостъ, надлежитъ помнить, что никакакія ухищренія пузатыхь отравителей въ своемъ рабьемъ присядъ, какъ будто откликающихся на вольный кличь, но не допускающихъ борьбу за этотъ кличъ, не могутъбыть допустимы въ яснооткровенномъ и смѣломъ обезьяньемъ царствъ, и всякія попытки подобнаго рода будутъ караться изгнаніемъ въ среду людей человьческихъ, этихъ достойных в сообщников лицем вров и трусливых в рабовъ изъ обезьянь, о чемъ объявляемъ во всеобщее свъдъніе для исполненія; данъ въ дремучемъ лѣсу на лѣвой тропѣ у со= роковца и подмазанъ собственнохвостно; скрѣпилъ и деньги серебряной бумагой получиль бывш. канцеляристь, забытлый политкомъ обезвелволпала – cancellarius Алексъй Ремизовъ».

# 3. Свидательство.

«Обезьянье свидътельство замъняетъ визы во всъ государства и даетъ безконтрольный пропускъ въ лъса, въ поля, въ болота и прочія трущобы всего земного шара.

Дано сіе свидътельство кавалеру обеззнака (имя рекъ) въ томъ, что онъ поименованный кавалеръ обеззнака имъетъ негограниченныя права переходить, переъзжать и перелетать всъ границы и черезъ любыя заставы, поставленныя «свободолюбивыми» человъческими ячейками, и не связанъ никакими обязательствами и клятвами и никому ничего не долженъ — воленъ дълать, что хочетъ, и думать, какъ взбредетъ въ голову, храня хвостъ»...¹)

Это анархически-освободительное значение «обезвелволпала» явствуеть также изъ позднъйшихъ формулировокъ: ника кихъ обязанностей, а права безграничныя

<sup>1)</sup> Курсива въ подлинникѣ нѣтъ.

иничего не признается: ни пространства, ни времени, и образъ дъйствія любой, прогтивъ нормальнаго мышленія!»; «этотъ знакъ есть символъ воли и независимости: доглой «нормальное мышленіе» и больше никакихъ!»...¹)

Несомнънно, что во всей этой игръ или шуткъ есть зерно серьезнаго замысла: возстаніе творческаго воображенія противъ «нормальнаго мышленія» и прорывъ его на свободу. Несомнън но также, что въ провозглашеніяхъ «обезвелволпала» есть значительная доля преувеличенія: такая нигилистическая сво бода не нужна никому и меньше всъхъ самому Ремизову. Ему нужно вернуть себъ «свъть мечты и слова»; ему надо освободить себя отъ условныхъ путь «лжи и лицемърія»; ему необходимо было утвердить за собою право на то, чтобы быть «откро» веннымъ», «смѣлымъ» и «независимымъ» въ своемъ творчествѣ и не трепетать передъ стъснительными запретами такъ называе, маго «нормальнаго мышленія». Ему нужно было провозгласить свое право на художественное юродство; и вмѣсто того, чтобы сдѣлать это въ порядкѣ серьезной статьи, или храбро приступить къ осуществленію своего юродствующаго акта, онъ выбралъ форму все-преувеличивающей шутки, п о ю родски провозглашая свое право на юродство. Впрочемъ онъ, повидимому, самъ испытывалъ свой бунтъ не только какъ переходъ къ новымъ образамъ, но и какъ прорывъ въ безобразіе.

Съ этимъ надо поставить въ связь его страсть къ шалостямъ въ жизни. Онъ самъ не разъ описываетъ ихъ въ своихъ книгахъ; и обычно онъ не лишены символическаго или мово» творческаго смысла. «Признаюсь», пишеть онь, «страсть творить безобразія и въ самые тягчайшіе годы и въ унылые часы жизни никогда не покидала меня. 2) То онъ перекинетъ качалку съ пи» сателемъ, извъстнымъ своими самодовольными парадоксами (впрочемъ безъ всякаго вреда для онаго писатели...); 3) то распустить про своего пріятеля, упивающагося собственной безплодной діалектикой, слухъ, будто онъ горькій пьяница; 4) или вотъ, при большевикахъ во время голода: якобы уполномоченный пріятелемъ именинникомъ, онъ наглашаетъ къ нему на скудный и небольшой пирогь изъ черной муки — знакомыхъ и незнако» мыхъ, полную квартиру, причемъ многіе изъ зазванныхъ не зная ють хозяина даже и въ лицо; и потомъ, создавъ миоъ «пира на весь міръ», ужасаясь и раскаиваясь, онъ следить за возния кающими мучительными неловкостями . . . 5) И такъ далве . . .

Таковъ Ремизовъ, мѣшающій жизнь съ литературой, искусство съ біографіей, выдумку съ фольклоромъ, созерцаніе съ шаглостью, мудрость съ юродствомъ; и роняющій, въ видѣ дневниг

<sup>1) «</sup>По Карнизамъ». 57. Курсивы принадлежатъ мнъ.

<sup>2) «</sup>Взвихренная Русь». 344.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) «Кукха». 34.

<sup>4) «</sup>Кукха». 27. «По Карнизамъ». 22. 5) «Взвихренная Русь». 343 — 348.

ковой записи или Исповеди, страницы такого глубокаго, детскичистаго, мученическаго лиризма, что подчасъ у читателя закипаетъ сердце въ незримыхъ слезахъ... Боже мой, какъ сухи, какъ черствы, какъ безжалостны люди другь къ другу и къ животнымъ, безъ основанія злобствуя и безцъльно вредя!... Бываетъ такъ, что даже душу некому издить...

# 7.

Послъ всего сказаннаго литературный профиль Ремизова долженъ быть ясенъ: и въ актѣ, и въ образахъ, и въ стилъ, и въ предметъ.

Попытаюсь прежде всего описать строение его художествень наго акта.

1. Я сказаль, что жить — значить для него страдать. Съ этого все и начинается. Все, что онъ воспринимаетъ въ мірь, онъ воспринимаеть страдающей жалостью. У него какъ бы «грудная клътка открыта и внутренности обнажены»; «съ такой обнаженностью горящей» онъ и живетъ, и всякое впечатльніе становится для него какъ бы «прикосновеніемъ къ больному мѣсту». 1) Вотъ почему у него «душа измучена, кожа съ нея содрана»...²) А «если ты раненъ — и самъ вольный воздухъ растравитъ тебъ рану». в) И когда онъ разсказываетъ въ «Пятой Язвѣ» о матери следователя Боброва, то онъ пишеть въ сущности о самомъ себъ: «А ей судьбой даны были глаза – такіе воть самые. И она видъла. И все, что она видъла, шло ей въ душу. И она мучилась оттого, что все видъла. И еще мучилась, что, какъ есть, одна была»... <sup>4</sup>) Вотъ почему у него «сердце захлебывается отъ гложущей боли»; 5) и самый трудъ его есть «одна живая боль»...<sup>6</sup>)

«Если что еще бодрить духъ мой, это скорбь. И эта скорбь связываетъ меня съ міромъ. Скорбь же даетъ мнѣ право быть». 7) «Все, что я вижу, и все, что я слышу, проникнуто болью»... и все больно бьетъ «меня по сердцу». 8) «Весь міръ, всь вещи какъ слились со мной, прохожу черезъ груды, отрываясь, протискиваюсь, и за мной тянется цалый хвость, а къ рукамъ отъ плечъ и до пальцевъ тяго. тять тягчайшія крылья и сердце стучить, какь тысяча сердець всего живого отъ человъка до «бездушной» вещи. И мнъ жал» ко всѣхъ». 9) И сердце его стучитъ «отвѣтно со стукомъ серд» ца всей страды міра». 10)

<sup>8) «</sup>Пятая Язва». 27. <sup>2</sup>) Тамъ же. 1) «Взвихренная Русь». 317. 4) «Пятая Язва». 26.

<sup>5) «</sup>Взвихренная Русь». 450.

<sup>6)</sup> Тамъ же. 251.
7) Тамъ же. 248. Курсивъ мой.
8) Тамъ же. 269.
9) Тамъ же. 93. Срв. «По Карнизамъ». 55.
10) «Взвихренная Русь». 105.

2. Съ «изгвожденнымъ сердцемъ» 1) у него неразрывно связаны укоры совъсти и чувство вины. Совесть его отзывается и трепещеть укоромъ при всякомъ чужомъ страданіи. Мучаются ли больные, 2) или бѣдные, или кричить на улиць сльпой, замерзающій китаець 3) — его совъсть отзывается живою мукою. Онъ видитъ въ церкви бедняка, которому не на что купить свѣчку, - хочетъ отломить ему половину своей, это не удается, и воть онь стоить и «не смфеть» молиться. 4) Истомленный жизнью при большевикахъ, «побиральщикъ, околачивающій пороги», «загнанный» и «просто пропащій», но «открытый для всего», онъ помышляетъ жалостью и совъстью «о волкахъ, лисицахъ и всякихъ зайцахъ», его «братьяхъ и сестрахъ безгласныхъ», 5) Сколько въ жизни муки и безпросвътности — «и я никакъ не могу забыть». 6) «И не знаю, куда мнь дываться и что сдылать, когда я такъ вижу, и не знаю, какъ поправить»...<sup>7</sup>) «Совъсть болитъ – все дурное, что сдъ лалъ людямъ, до мелочей, до горькихъ нечаянныхъ словъ, все вспоминаю». 8) «Господи. чъмъ поправлю? Господи, не могу забыть !» 9) «Самое тяжкое — совъсть жизни такой». 10) И воть почему у него бываеть «такое чувство, точно» онъ «виновать передъ всѣми»; и тогда ему «хочется прощеніе просить у всякаго» . . . <sup>11</sup>)

3. Естественно, что Ремизовь, воспринимая мірь, какъ потокь живого мученія, и встрьчая этоть потокь жалостью и чувствомь вины, не можеть освободиться оты вычаго трепета и страха, 12) который присоединяется у него кы первоначальному заряду метафизическаго ужаса. Напрасно онь уговариваеть себя, что «ничего не надо бояться»... 18) Мірь глядить на него страхомы и будить вы немь чувство беззащитности и обреченности. Такой мірь непріемлемь, развы только выминуты «особеннаго» религіознаго подъема, когда душа «токова все принять и поднять самый тягчайшій труды», — «потому что такы надо»... 14) И воть оты непріемлемости этоко міра его душа ищеть спасенія вы молитвы, вы чудь, вы волшебныхы фантазіяхы и вы снахы. И изь всего этого—страданія, жалости, вины, страха, молитвы, чуда, волшебства и сною

<sup>1) «</sup>Взвихренная Русь». 472.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «По Карнизамъ». 55.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) «Взвихренная Русь». 249 — 251. <sup>4</sup>) «По Карнизамъ». 95 — 96.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) «Взвихренная Русь». 455.

<sup>°) «</sup>Взвихренная Русь». 455. °) «По Карнизамъ». 316.

<sup>7) «</sup>Взвихренная Русь». 316.

<sup>8)</sup> Тамъ же. 93. 9) Тамъ же. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) «Кукха». 83.

<sup>11) «</sup>Взвихренная Русь». 313.

 <sup>12)</sup> Онъ различаетъ «трепетное чувство» и «страхъ». «По Карнизамъ». 61.
 18) Тамъ же. 73.

<sup>14) «</sup>Взвихренная Русь». 310.

видънія-слагается его художественноюродивый актъ.

Вотъ образецъ его молитвеннаго подъема: «Знаю, много неправды... Знаю, много граха вопість на небо — надо грахь очистить, гръхъ отгрудить. И ты благослови меня въ послъднюю минуту, ради чистоты земли моей родимой, принять кротко мою обреченную долю!» 1) Это — молитва обреченнаго существа. Но именно въ этой обреченности Ремизовъ всегда и во всемъ ищетъ чуда, жаждетъ его и предвос» хищаетъ его явленіе. Онъ, какъ всѣ «страждущіе и неу» тьшные, не чающіе себь утьшенія оть людей, отчаявшіеся въ нашемъ грѣшномъ мірѣ», бредетъ «за чудомъ — къ святому, освященному върою въ въкахъ». 2) «Душа не острупълая, душа не задохнувшаяся въ мертвыхъ тискахъ, еще живая — и щ е тъ ч у д е с ъ. И въ этомъ ея послъднее спасеніе. Хочетъ воплотить не бывшее, но всемь сердцемь желаемое и всемь духомь требуемое». 3) А когда объективное чудо медлить и не приходить, то онь творить субъективное «чудо» въ фантазіяхъ и въ сновиденіяхъ.

4. Вотъ почему воображеніе является второй ос новной творческой силой въ его художественномъ актъ.

Воображение Ремизова знаетъ конечно и чувствен» ный опыть, но не прильпляется къ нему. Внышнее онъ лолжень подмѣтить жалостью или страхомъ. тогда онъ передаетъ его съ большимъ мастерствомъ. И когда онъ замътить что-нибудь жалостью, то изобразительность его, не подобная ни чувственной зоркости Бунина, ни скульптурной символикъ Шмелева, - бываетъ исполнена своей особой лирической, за душу хватающей, нъсколько стилизованной, Нестеровской прелести. Воть они — глаза Въры Николаевны: «потерянные глаза Святой Руси, оробъвшей, съ вольнымъ нищенствомъ... все выносящей, покорной терпъливой Руси, которая гроба себъ не построить, а только умъеть сложить костерь и сжечь себя на кострѣ»... 4) Бывають еще и такіе глаза: «ихъ возжигаетъ какой-нибудь очень высокій ангелъ»... <sup>5</sup>) А воть старушка Акумовна: «маленькая, черненькая, лицо смуг» лое — жукъ, а улыбается и поглядываетъ какъ то пою родивом у не прямо, а изъ стороны, голову немножко на бокъ, и кроткая — никогда ни на кого не осердится». 6) Та: кіе образы, — сд'яланные н'ясколькими сердцемъ уловленными штрихами, не забываются: они остаются въ душт навсегда.

А то, что онъ замътитъ страхомъ, онъ передаетъ или съ точностью, доводимой до отвращенія, 7) или же съ шаловливой зоркостью сказочника. Однако внъшнее воспріятіе не плъняеть его и не ведетъ его искусства.

<sup>1) «</sup>Звенигородъ Окликанный» 146 — 147.

<sup>2) «</sup>По Карнизамъ». 17. Срв. 56.
3) «Взвихренная Русь». 238.
4) «Крестовыя Сестры». 101. Срв. 63.
5) «Три Серпа». 1. 140.
6) «Крестовыя Сестры». 47.
7) Срв. напр. хожденіе Акумовны по мукамъ. «Крестовыя Сестры». 48 — 50; или въ сновидѣніяхъ.

Въ отличіе отъ многихъ другихъ писателей, которые идутъ наблюденія къ изображенію, Ремизовъ должень сначала творчески вообразить, чтобы потомъ и з о б р а з и т ь. 1) И такъ какъ онъ часто видитъ то, чего другіе не видять, то «изобразительность» «письма» становится для него главной задачей. 2) Дневной міръ трезвыхъ вешей и отчетливыхъ очертаній мішаеть ему; поэтому у него «са» мый лучшій чась для писанія — сумерки: утро — контроль, ночь — запись, а писать — сумерки»...<sup>3</sup>) Въ сумерки у него, какъ у дътей «глаза ясные», «не забиты вещами»; 4) въ это время онъ «глазатъ», «стрекозьимъ глазомъ». 5) Имъ то онъ и созерцаеть, и пишеть свою зыбкую «воздушную постройку», которую могуть «сдуть» «пустяки последніе, слово, движеніе»... <sup>6</sup>) Его фантазія — «недотрога» . . . <sup>7</sup>) Ему нужень не «развитой мозгъ», который «втиснутъ въ эвклидово жельзо», но именно поэтому «слъпъ, не видитъ»... а «недоразвитой мозгъ», «кото» рый видитъ», и «зрячъ» при всей своей безпомощности... «А воть, когда станеть тесно и все аксіомы разорвутся, какъ цепи, ты и не хочешь, а увидишь - и басаркуновъ, и полудницъ, и полдневнаго, и кикиморъ, и эспи, и гешпенста, и всякихъ цверговъ — «бѣсовъ», но ужъ не такъ, не съ пустыми руками»  $^{8}$ ).

Гдв здвсь конецъ трезваго наблюденія, и гдв начало двйствительнаго «духовидьнія»? И гдь здысь дневная фантазія оплодотворяется сномъ, гдв она смвшивает ся сь нимь, и гль вытьсняется имь — сказать не возможно. Такъ напр. свой поэтическій лепеть о цвѣткѣ, о «мо» нашкѣ», принесшемъ «зеленую вѣточку» — этимъ лепетомъ на чинается волшебная книга «Посолонь», - Ремизовъ самъ харак» теризуетъ, какъ «полусонъ-полуявь», что впрочемъ не мѣшаетъ ему угостить этого аллегорическаго «монашка»... «турецкими баранками» (?!) ...<sup>9</sup>)

У него бываютъ сновидънія и во снъ, и на яву. И замъ чательно, что онъ къ своимъ соннымъ сновиденіямъ относится столь же серьезно, какъ и къ дневнымъ. Не то, чтобы онъ ихъ толковаль предсказательно, хотя онъ прекрасно владъетъ русскимъ народнымъ сно-толкованіемъ и иногда съ полусерьезной улыбкой преподносить его слушателю или читателю; но онъ воспринимаетъ приснившіеся ему образы такъ, какъ если бы это были зрълые и равноцънные художе ственные образы. Это не сновидения его «героевъ», какъ бываеть у другихъ писателей, описывающихъ сны ради «психоло» гическаго» изображенія своихъ персонажей ... Это его соб-

<sup>5</sup>) Тамъ же. 19.

<sup>1)</sup> Въ романахъ «Прудъ», «Пятая Язва» и «Оля» онъ ближе къ наблюденію, чѣмъ къ фантазіи.

2) «По Карнизамъ». 36.
3) Тамъ же. 115. Срв. 91.

<sup>4)</sup> Тамъ же. 19. Срв. «Посолонь». Предисловіе.

<sup>6) «</sup>Взвихренная Русь». 117. 7) Тамъ же. 117

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) «По Карнизамъ». 67. 9) «Посолонь». Предисловіе. 9. Стр. 13 — 14. «Кукха». 88.

ственныя сновиденія, которыя по его мненію ничуть не хуже другихъ описываемыхъ имъ «образовъ». А сны у него яры кіе, неожиданные, то «костяные» и «кровавые», 1) то каррикатуря ные, то символическіе, то нельпые и ни на что непохожіе... Это на нихъ онъ понялъ, что «дурь» и «безтолочь»-суть отецъ и мать «всего сущаго»...<sup>2</sup>) Такимъ образомъ онъ в с е силе таетъ въ единое повъствованіе, обычно даже не предупреждая читателя, что вотъ, начинается «сонъ», а только укорачивая для «сновъ» — строчку на страницѣ. 3) И когда описываемый имъ главный рядъ образовъ оказывается кошмарнымъ, - какъ совътскій быть въ эпоху революціи во «Взвихренной Руси, тогда возникаетъ своеобразный художественный эффектъ: объективный бедламъ событій и субъективный бедламъ сновидьній отражаются другь въ другь, какъ два сошедшихъ съ ума зеркала; - изъ «внъшняго» и «внутренняго» возникаетъ единое отврати: тельное и мучительное умопом вшательство, прерываемое лирия ческими отступленіями и глубокомысленными формулами, идущими изъ души автора.

5. Естественно, что преобладаніе чувства и вооб раженія въ художественномъ актѣ Ремизова, должно отодвинуть на дальній планъ волевое начало. Такъ это и есть. «Художественно - юродивый» акть, трепещущій болью и страхомъ, и склоняющійся передъ судьбою, покоряется прежде всего тому потоку образовъ, который льется изъ безсознательнаго. Вспомнимъ, что волевое начало въ творчествъ было устранено Ремизовымъ въ лицъ «нормъ» и «формъ», «традицій» и «запретовъ». И потому художественно обезьяній бунть от крываетъ ему путь не къ «волъ и независимости», 4) а къ независимости отъ воли, къ безвольному плаванію по океану фантазій и сновидѣній.

Искусство Ремизова обычно, если не всегда, возникаетъ безвольной сумеречности, изъ нѣкоторой фантазирующей полудремы, льющей матеріаль своихь содержаній въ его перо. Автору, конечно, лучше знать – «вынашиваетъ» ли онъ свои произведенія и строгъ ли тотъ «отборъ», которому онъ подвергаетъ свои образы. Но у критика накопляется и отстаивается непреоборимое впечатльніе, что авторь не власт вуетъ надъ своимъ матеріаломъ, а покоряется ему. Его фантазирующая дрема посылаеть въ его писательское «поле» — то глубокомысленные, сверлящіе, сіяющіе, подчасъ пров сто геніальные лучи и образы, то капризно-лукавые прыжки въ сторону, то странно-жуткія химеры, то дерзновенныя преувеличенія, то совершенно-беспредметные сны, которые Ремизовъ самъ называетъ «сонной несообразицей» <sup>5</sup>) или своей «абракадаброй»... <sup>6</sup>)

<sup>2</sup>) «Кукха». 116.

<sup>1) «</sup>По Карнизамъ». 124.

<sup>3)</sup> Короткая строчка впрочемъ не всегда означаетъ у Ремизова начало сна. Напр. «Взвихренная Русь». 9. 10. 76. 77. 100. 180—189. 197 и др. 4) «По Карнизамъ». 57.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) «Кук**ха**» 116.

<sup>6) «</sup>Взвихренная Русь». 415.

Тутъ и зрѣлое, и незрѣлое; прекрасное и отталкивающее; изяще ное и безвкусное; молитвенно-священное и подчасъ приближаює щееся къ кощунству. Авторъ безволенъ въ своемътворческомъ актѣ; онъ какъ-будто не хочетъ или не умѣетъ владѣть потокомъ своихъ ассоціацій и образовъ; онъ повидимому освободилъ себя отъ строгаго, творческаго «нѣтъ!»; онъ не творитъ, а «уносится»; не строитъ, а тонетъ.

Вотъ почему искусство Ремизова, при всемъ его содержательномъ разнообразіи и богатствѣ, пріобрѣтаетъ характеръ с у б ъ е к т и в и з м а, д у ш е в н а г о и м п р е с с і о н и з м а или, если угодно, «а у т и з м а»; аутизмъ же есть склонность воспринимать, цѣнить и формировать объективную реальность согласно собственнымъ, личнымъ, аффективно-фантастическимъ потребностямъ, «убѣдительнымъ» только для самого автора... И такой «аутизмъ» характеренъ особенно для художниковъ-фантастовъ, склонныхъ какъ можно меньше считаться съ объективными законами образа, предмета и эстетической матеріи.

6. Въ тъсной связи съ этимъ «безволіемъ» художественнаго акта стоитъ у Ремизова потребность не стъснять себя силою и обязательностью художественнаго замысла.

Ремизовъ — на рѣдкость умный человѣкъ и глубокій мыслитель. Въ его произведеніяхъ разсыпано цѣлое богатство философическихъ прозрѣній, интуитивныхъ обобщеній, глубокомысленныхъ афоризмовъ. Этотъ фантастъ все время пребываетъ въ состояніи философическаго вопрошанія, — искренняго, бережнаго, трепетнаго; онъ все время созерцательно ищетъ и обрѣтаетъ. Онъ мыслитъ сердцемъ и любитъ помысломъ. Но какъ воображающій художникъ, — онъ юродствуетъ, сознательно и принципіально возставая «противъ нормальнаго мышленія».

Мысль его уходить и смолкаеть, когда воображение берется за свое художественное дело. Она почти не участвуеть въ цензурованіи, отборь и расположеніи матеріала. Она безвластна и не чинить препятствій ничему. Она не подбираеть подходящее и не стремится «свести концы съ концами». Воображение творить «самозаконно» и «самовольно» (т. е. безвольно); такъ, какъ если бы кто-нибудь, собирая веревочки въ одинъ большой клубокъ, привязывалъ бы ихъ одну къ другой, въ случайномъ порядкъ ихъ «прихода»: толстую бичевку, шелковую ленточку, тор ненькую ниточку изъ аптеки, пестрый шнурокъ изъ магазина и т. д., - всегда готовый покорно продолжить клубокъ или внезапно закончить его на любомъ звенъ... Напрасно было бы спрашивать, почему «тамъ» началось? Почему «тутъ» кончилось? Произведенія Ремизова нерѣдко не заканчиваются, а обрываются; и когда они обрываются катастрофой («Прудъ», «Пятая Язва», «Крестовыя Сестры»), то у читателя все-таки остается впечатль ніе «вытолкнутаго», а не благодарно и завершительно отпущен» наго зрителя...

А всѣ мысли, интуитивные проблески, обобщенія и тѣ свое образные, столь характерные для Ремизова лирически-философи ческіе вздохи, которыми такъ богаты его писанія—все это обыч

но остается голосомъ автора, вставкою «отъ себя», комментаріемъ къ разсказу 1) или «нравоученіемъ»; и рѣдко рождается изъ ткани художественнаго образа.

Таковъ художественный актъ Ремизова въ его основномъ очептаніи.

8.

Если мы обратимся теперь къ плану художественныхъ образовъ, то мы найдемъ слѣдующее.

Въ художественномъ творчествъ есть два необходимыхъ «мига» (или, длительно говоря, два «періода» и два «слоя): мигъ, когда живетъ авторъ, и мигъ, когда живетъ его худож е ственный образъ. Если не будетъ живого трепета въ душ в художника, то образъили совсемъ не возникнетъ (н е изъ чего!...) или окажется выдумкой, искусственнымъ «гомункуломъ». Если не затрепещеть рождающій» ся образъ, то никакое богатство духа и опыта не сдъдаетъ человъка авторомъ и художникомъ. На самомъ дълъ оба эти процесса творческаго трепета протекаютъ одновременно и параля лельно.

Но есть между ними нъкое закономърное соотношеніе, а именно: если авторъ (подобно актеру) 2) переживаетъ с в о й жизненный опыть слишкомъ остро, глубоко и мучительно, то можеть оказаться, что образь его не передаеть ни этой остроты, ни этой глубины. Человъкъ изживеть въ своемъ лицъ слишкомъ многое изъ того, что должно было войти «зарядомъ» въ его художественные образы. «Человъкъ» обезсилитъ «автора»; мученикъ помъщаетъ художнику. Первоначальная субъективная сила личнаго огня окажется столь интенсивной, что на объективизацію художественныхъ образовъ пойдуть лишь остатки ея. И тогда форма художественнаго творя чества не удовлетворить самого писателя: онъ увидить самъ, что не можетъ ни «выдохнуть», ни «выстонать» свои афя фективные заряды въ художественныхъ образахъ – и обратится къ полухудожественной, полу-біографической формъ «воспоми» наній», «дневника», «исповьди» и т. под. Чьмъ глубже и остръе личное переживаніе, тъмъ большей должна быть и способность «перевоплощенія» или «объективизаціи». Въ этомъ смыслѣ Тургеневу, какъ художнику, было гораздо «легче», чъмъ Достоев скому; Шмелеву, какъ художнику, необходима гораздо большая сила перевоплощенія, чъмъ Лъскову или Чехову; если бы Шекспиру или Ибсену быль присущь дарь объективизаціи въ техъ скудныхъ размърахъ, которыми обладалъ Метерлинкъ, то они навърное не создали бы ни одной драмы.

<sup>1)</sup> Особенно въ сказкахъ. Напр. «Сказки русскаго народа». Стр. 13. 2) См. объ этомъ въ книгахъ К. С. Алексъева-Станиславскаго.

И воть, въ творчествъ Ремизова обнаруживается именно эта диспропорція. Его тонкая и нѣжная, сверхчувствительная и хрупкая луша («обнаженная»!) мъшаетъ «автору»; мученикъ растрачиваеть заряды художника. И авторъ обращается къ литературной форм'ь «испов'ьди», «дневника» и «воспоминаній», къ созданію произведеній, которыхъ главнымъ «героемъ» оказыя вается самъ авторъ и гдь «предметъ» трактуется въ не художественной или полухудожественной формь («Взвихренная Русь», «По Карнизамъ», «Кукха», «Ахру»). Я устанавливаю это не въ смыслѣ «осужденія», но ради постиженія: строеніе художественнаго акта у Ремизова таково, что имѣющаяся въ его распоряженіи сила перевоплощенія не справляется съ глуби ной, остротой и сложностью начувствован наго имъ (вълюбви, въжалости и ужасѣ) жизненна го матеріала. Воображеніе не успѣваетъ и не можетъ переработать въ образы все то, что несеть ему аффектъ сердца; и автору приходится искать себь особыхъ путей. Эти пути вскрыты уже выше: выработка юродствующаго акта; уходь вь минотворчество; отказъ отъ чисто-художественной объективизаціи.

Именно этимъ и опредъляется образный составъ его произведеній.

1. Перевоплощеніе дается Ремизову тымь легче и оказывается тымь совершенные, чымь больше создаваемые имь образы допускають ми в и ческое построеніе и произвольное насыщеніе. Ремизовь, творящій мивь, оказывается иногда болые изобразительнымь и художественно-убыльтельнымь, чымь Ремизовь, творящій психологическій романь сыживыми людьми.

Такъ, когда онъ одушевляетъ вещи, то читатель или слушатель въритъ ему легно и охотно. Да, «вещи живутъ своей
жизнью!» 1) «Вещи страдаютъ!... это сущая правда. Вещи
иногда больнъе чувствуютъ, чъмъ занятые дълами люди, которымъ ни до чего». 2) «Вещь — это духъ живой!» 3) Что думаетъ «корябала»; какъ «фейермэнхенъ» скликалъ гномовъ и
цверговъ», на помощь бъдному автору, когда онъ «брякнулся»
на улицъ подъ автомобиль...; 4) почему вдругъ съ ниточки
«пропалъ гешпенстъ»; и какъ это ночью, во снъ «оно» вдругъ
«вылъзло бокомъ», «изъ шкапа», «изъ стънокъ» «расщепляя,
какъ проръзаясь: тоненькій, двъ руки, три ноги, какъ полагается»... 5) Что такое «банная нежить» — «она въ сырости заводится изъ человъческихъ обмылковъ, — а потому страсть любопытна» 6) и многое другое — все это воспринимается нами съ
мгновеннымъ и подлиннымъ сочувствіемъ. Съ довърчивой жутью

<sup>1) «</sup>По Карнизамъ». 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же. 112. Срв. 113, ссылку на Франциса Жама. Сравните также «Взвихренная Русь». 193.

в) «Взвихренная Русь». 483.ч) «По Карнизамъ». 106.

<sup>5)</sup> Тамъ же. 39.

в) «Посолонь». 127.

читаемъ мы и про Бабу-Ягу съ ея «коловертышами», не всегда видя воображеніемъ, но всегда пугаясь наивною глубиной нашею со дѣтскаго сердца. И когда мы замѣчаемъ, что многіе, извѣстыне намъ изъ сказокъ общенародные образы видоизмѣняются у Ремизова, пріобрѣтаютъ новыя свойства или участвуютъ въ новыхъ похожденіяхъ, то и этотъ новый «ремизовскій» миюъ и «ремизовскій» фольклоръ мы нерѣдко готовы воспринимать, какъ новыя, достовѣрныя извѣстія изъ жизни старой знакомой нечисти.

Осложненія и затрудненія начинаются съ того момента,

когда Ремизовъ переходитъ къ міру живыхъ людей.

2. Здѣсь перевоплощеніе дается Ремизову тѣмъ легче и оказывается изобразительно тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ проще, чѣмъ элементарнѣе описываемое человѣческое существо.

Понятно, почему это такъ обстоитъ. Сила перевоплощенія пробуждается у Ремизова на путяхъ жалости или стра ха. Онъ вчуствуется и объективируется съ творческой легкостью, когда душа его содрогается отъ состраданія или когда она воспринимаеть нѣчто пугающее. Но жалость и страхъ суть аффекты первичные и первобытные: они упрощають и воспрія тія, и самое воспринимаемое содержаніе; они приковываютъ субъекта къ его собственному состоянію, и не уводять его въ глубину предмета; они не показывають сложность образа, а дають его вь целостно - упрощенномь очертаніи, — желаемаго или пугающаго. Душу непосредственную, не дифференцированя ную, плывущую въ быту и не осложняющую свою жизнь ни сильными дъяніями, ни сложной рефлексіей – легче и проще показать изъ акта жалости: взять ее чувствомъ и вызвать къ ней состраданіе. Таковы страдающіе герои ремизовскихъ с к а= зокъ; таковы почти всъ дъйствующія лица въ романъ «Кре» стовыя Сестры»; таковъ «Пфтушокъ»; такова въ сущности и главная героиня романа «Оля».

Но, какъ только начинаются душевныя осложненія и духовныя углубленія въ душѣ героя, такъ изображеніе его требуетъ иной, болѣе могущественной силы воспріятія, и повышень ной, прямо таки — скульптурной силы воплощенія. Слѣдователя Боброва («Пятая Язва»), Маракулина («Крестовыя Сестры»), Николая Огорѣлышева («Прудъ») — нельзя ни воспринять, ни изобразить жалостью или страхомъ. Они требуютъ не только пѣлостнаго акта (дифференцированной жизни чувства, объективирующаго воображенія, волевой стихіи, перевоплощеннаго мышленія), но еще и индивидуализирую щей худою жественной скульптуры: такого героя нельзя показать внѣшнимъ описаніемъ, достаточнымъ для «Неуемнаго Бубюна», но недостаточнымъ для сложной внутренней жизни; его нельзя показать и однимъ проникновеннымъ и пронизываюющимъ лучомъ состраданія.

Здѣсь необходима пластинка внутрення го опыта, скульптура духа, убѣдительно показываю щая личностное единство и психическую цѣльность изображаемой сложной души. И тамъ гдѣ это

необходимо — изображеніе Ремизова становится менће убћди» тельнымъ, а образы становятся иногда мучительно - непроглядя ными

3. Такіе образы рисуются Ремизовымъ, не какъ «обособлен» ные», объективированно-отръшенные, а какъ «прикръпленные»: они остаются прикръпленными къ личности самого ав» тора и, сообщаясь съ нимъ, получаютъ свою сложность и свои черты въ порядкъ заимствованія отъ него самого.

Есть два способа творить художественный образъ: способъ «обособляющій» и способъ «прикрѣпляющій».

Обособляющій способъ ищеть для художест, веннаго образа полной самостоятельности, законченнаго «бытія о себъ». Авторъ перевоплощается и исчезаеть; его нъть; онъ растворился въ образъ, переплавился въ немъ; вливая въ него всь свои особенности, онъ перечеканиваль ихъ въ чистое, законченное бытіе самого героя. Герой можеть быть и чувстя вуеть такъ, какъ свойственно самому автору, можеть быть думаетъ, и поступаетъ подобно ему; но онъ сталъ самостоятельнымь, законченнымь организмомь, художественно объективной величиной. Такъ пишутъ всегда Достоевскій и Чеховъ; не всегда Л. Н. Толстой (Безухій, Левинь, Нехлюдовь – больють не своими заданіями, а «идеями» заимствованными отъ автора); Бунину это прекрасно удается при изображеній примитивовъ; Шмелевь достигаеть въ этой скульптурѣ образа боль « шого совершенства: Мережковскому это не удается почти ния когла.

Напротивь, прикръпляющій способъ не ищеть для своего образа законченной самостоятельности и скульптур ности; онъ не заботится о томъ, чтобы авторъ «замеръ» или «умеръ» въ своемъ художественномъ созданіи; онъ не «замѣ» таетъ слъдовъ». Образъ остается художественнымъ «выдъле» ніемъ» творящей души, не отдъляющимся отъ него, подобно инымъ «духамъ» на спиритическихъ сеансахъ. Авторъ не перея воплощается, а только «наряжается». Или — онъ не показыя ваетъ своего героя - «вотъ, такъ есть», смотри: это онъ, онъ самъ, и обо всемъ забудь!».... а только разсказываетъ о немъ, и при томъ такъ, что герой сквозитъ черезъ автоя ра, а авторъ выглядываетъ изъ героя или изъ-за героя. Тогда читателю не удается забыться въ душъ героя: онъ тоже не перевоплощается, а только воображаеть, «представляеть себъ», наблюдаетъ и «освъдомляется» о происходящемъ. Герой не поглощаеть читателя, а читатель не върить до конца въ реальность героя. Читатель жал веть героя или ужасает ся на него и за него, но не исчезаеть въ немъ и не забываеть въ немъ – ни себя, ни автора. Такъ пишеть часто Тургеневь; такъ иногда — сознательно и намфренно — показываетъ — разсказываеть Лъсковь; такъ выводить Бунинъ Митю въ «Митиной Любви» и Корнета Елагина; такъ создано почти все у Мережковскаго. И вотъ именно такъ показываетъ своихъ трагически-сложныхъ героевъ Ремизовъ.

Ни Коля Огорълышевъ, ни слъдователь Бобровъ, ни Маракулинъ – не воспринимаются нами, какъ законченныя, самостоя тельно-обособленныя индивидуальныя личности (именно «такъ» сущіе). Это душевныя пространства, полныя муки; и изъ этой муки мы то и дъло слышимъ – остро и нъжно чувствующаго, умнаго и не волевого автора. Это котлы, въ которыхъ кипитъ хаось сомнъній и отчаяній, или, какъ въ душь Огоръльшева хаось ожесточенныхь и злыхь страстей. И этоть хаось осложе няется — въ одномъ случав непреодолвннымъ развратно-хули» ганскимъ детствомъ (Огорельшевъ), въ другомъ — запоемъ (Бобровъ), въ третьемъ – явной склонностью къ душевной депрессіи (Маракулинъ). И вследствіе всего этого, читатель воспринимаеть ихъ со стороны, освъдомленіемъ и наблюде: ніемъ. а не художественнымъ отождествле: ніемъ, и, разставшись съ ними, вспоминаетъ о нихъ, какъ о подсмотрѣнномъ и, слава Богу, окончившемся тягостномъ сновидъніи...

4. Вотъ почему у Ремизова бываютъ произведенія, въ которыхъ герои остаются совсѣмъ не показанными, никакъ, – ни вившне-чувственно, ни внутренно-душевно. Въ такихъ произведеніяхъ, напоминающихъ романы Писемскаго или Лъскова («Некуда», «На ножахъ»), авторъ просто описываетъ внъшнюю обстановку и разныя происшествія изъ жизни героя, нисколько не заботясь о его единомъ скульптурномъ образъ.

Такая опасность намѣчалась уже въ раннихъ романахъ Ремизова — «Прудъ», «Крестовыя Сестры», «Пятая Язва». Она окончательно настигаеть его въ романѣ «Оля».

Этотъ романъ разсказывается какъ бы по воспоминаніямъ 1) главной героини — сначала ребенка, потомъ гимназистки, наконенъ революціонно-настроенной курсистки. Е я внъшность показана; остальные герои только именуются, но не показываются чувственному воображенію читателя (за исключеніемъ брата и сестры Карауловыхъ). Поэтому всв они проносятся передъ читателемъ, какъ именованныя тѣни имгновенно забы ваются. О нихъ сообщается не мало занимательнаго и курья езнаго: почти все согрѣто любовно-теплымъ отношеніемъ автора къ героямъ, въ особенности къ главной героинъ – Олъ. Но психологическая скульптура Оли не только не удается, но просто не состаивается.

Авторъ все время стремится внушить читателю умиленное преклоненіе передъ Олей. Читатель быстро улавливаєть это, на стораживается и начинаетъ сопротивляться. Олѣ повидимому присущъ извъстный зарядъ темперамента и внъшней привлека» тельности: она своевольна и настойчива. Но это и все, что автору удается показать. Напрасно онъ увѣряетъ насъ на словахъ, что Оля «смышленая», «умница»; ²) ибо вслѣдъ затѣмъ онъ повъствуетъ о множествъ ея словъ и поступковъ, свидътельстя вующихъ объ обратномъ: 3) о ея безпредъльной довърчиво-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Срв. «Оля». 104. 111. <sup>2</sup>) «Оля». 43. <sup>3</sup>) Напр. «Оля». 34. 42. 45. 55. 59. 60. 182. 183. 230. 237. 244. 283. 310.

сти, <sup>1</sup>) недогадливости, узкомъ доктринерствѣ и т. д. Напрасно онъ говоритъ о ея добротѣ и жалостливости: <sup>2</sup>) множество не чуткихъ,  $^3$ ) до жестокости недобрыхъ,  $^4$ ) безтактныхъ  $^5$ ) поступ ковъ ея говорять убъдительные автора. Если у нея «пламенная воля» и «пробужденный духъ» <sup>6</sup>) — то надо это художественно показать, а не увърять въ этомъ читателя на словахъ. Если она «неисчерпаема», <sup>†</sup>) то читатель долженъ это почувствовать и увидъть, какъ у Достоевскаго; а вмъсто этого ему сообщають о ея узкихь сужденіяхь и плоскихь критеріяхь. 8) Если она «не можеть долго находиться на людяхь», то почему же она такъ наслаждается на балахъ 9) и такъ блаженствуетъ въ революціонной общественности? У читателя слагается убъжденіе, что Оля ни минуты не можетъ побыть одна!... Читатель съ изумленіемъ узнаетъ, что вдругъ, ни съ того ни съ сего, все революціонное стало для Оли «завѣтнымъ» и святымъ; 10) а впоследствін, что она вдругь полюбила всехъ своихъ домашь нихъ... 11) Психологическаго единства нътъ. Душевная субстанція Оли не показана. Внутренняя скульптура отсутствуеть; и любовь автора къ Олѣ не передается читателю.

5. Съ этимъ недостаткомъ объективной душевной скульп туры тысно связано затрудненное фабулированіе,

присущее всъмъ произведеніямъ Ремизова.

Герои Ремизова безвольны. Они имѣютъ существованіе, или, если угодно, — они «предстоятъ». Но они не дъйствуютъ, не совершають поступковь. Ихъ бытіе — не динамическое, а статическое. Если же они совершають какіе-нибудь поступки, какъ Оля или Николай Огоръльшевъ, то эти поступки возния достаточнаго художественнаго кають безъ основанія: ихъ возникновеніе, ихъ волевая мотивація въ душь героя остаются непоказанными.

Поэтому фабула у Ремизова («ходъ событій») не заложена въ герояхъ, въ ихъ свойствахъ и страстяхъ. Онъ долженъ брать ее «извиѣ». Если же она не приходитъ, то повъствование превращается въ нанизываніе происшествій 12) или человъческихъ фи гурь. 13) Свершенія, развитія, восхожденія, крушенія, борьбы, драмы – нътъ. Есть острова – и провалы между ними. Таковы не только романы Ремизова, но и сказки его: вотъ завязка, эпизодъ, еще эпизодъ, а развязка не наступаетъ, потому, что завязка была случайна и не динамична. Въ «Олѣ» ему помогаетъ

<sup>1) «</sup>Оля». 110. 113. и др.
2) Тамъ же. 11. 171. 263. 325.
3) Тамъ же. 120. 126. 156. 237. 251.
4) Тамъ же. 130. 177. 181. 233. 235.
5) Тамъ же. 164. 189. 223. 260.
6) Тамъ же. 207.
7) Тамъ же. 231.
8) Ната же. 231.

в) Напр. «Оля». 239. 241. 303.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) «Оля». 233.

<sup>10)</sup> Тамъ же. 200. <sup>11</sup>) Тамъ же. 325.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) «Прудъ», «Оля».

<sup>13) «</sup>Крестовыя Сестры». «Пятая Язва».

«біографія», «воспоминанія»: въ «Посолони» — времена года: въ сказкахъ и легендахъ — помощи нътъ ни откуда. Поэтому его повъствование иногда обрывается «ни-на-чемъ» и читатель изумленно спрашиваетъ: «и конецъ? но почему же?!...» 1) Да потому что — конецъ!... Взвиваются и разсвиваются мечты поэта. Образы сгустились... И разрѣдились... По греческому философу Анаксимену... Ихъ принесло, - такъ, «ни почему», и такъ же унесло. Это художественные профили, игры, комбинаціи. Реальности въ нихъ нътъ: и законамъ они не полчинены. Аутистически творящій фантасть — даеть не «необходимое», а «возможное»: а это «возможное» возникаетъ изъ его личныхъ особенностей и потребностей; онъ поеть, исходя изъ своего желанія, себъ на радость; и радуется, если другіе люди тоже радуются его играмъ. А самъ онъ не лепитъ и не формируетъ, а наслаждается мукою и страдаеть въ наслаждении. Если его потребность и радость случайно совпадають съ върной дорогой – то выйдеть художественное; а если нътъ – ну, что же дълать, не взышите!...

6. Все это указываеть на то, что образный планъ у Ремизова не подчиненъ закону художественной необходимости. Образная ткань его повъствованій не имъеть единаго русла, той единственной возможности, которая дается художественно-зрълымъ замысломъ и создаеть «художественную форму». И въ этомъ смыслъ его ранніе романы «Крестовыя Сестры» и «Пятая Язва» и особенно разсказъ «Пътушокъ» являются счастливымъ исключеніемъ.

Въ изложеніи своей повъсти Ремизовъ не движется по главному «проспекту», но вовлекаетъ въ дѣло и «боковыя улищы», и «переулки». Составъ его «дѣйствующихъ лицъ» обширенъ и случаенъ. Такъ обстоитъ даже въ «Пятой Язвѣ», гдѣ цѣлыя главы заняты вычерчиваніемъ «профилей», и гдѣ множество людей только упоминается, только снабжается какой-нибудь одной, мѣтко схваченной, обычно компрометирующей чертой. Это даже не «герои», а какъ бы типическіе статисты. Это обиліе не дѣйствующихъ лицъ» смущаетъ читателя и въ «Олѣ»; и кончается тѣмъ, что читатель ихъ просто не запоминаетъ, или забываетъ...

Такъ же обстоить дѣло и съ эмпирическимъ описаніемъ обстановки. Гдѣ только возможно Ремизовъ включаетъ въ разсказъ матеріалъ быта и фольклора, самъ по себѣ можетъ быть и «любопытный», но художественно не оправдываемый. Вотъ двѣ страницы — подробная опись «бабушкинаго» приданаго; ²) вотъ полстраницы — исчисленіе пасхъ, тортовъ и наливокъ; ³) еще полстраницы — выписка изъ поваренной книги: рецептъ брусничной пастилы; ⁴) еще столько же отведено подъ святочь ную колядку . . . ⁵) На ряду съ этимъ всюду вставляются «сны»; 6)

¹) Напр. «По Карнизамъ» — разсказы Esprit. La Matière. «Пять бубликовъ». «Бику». «Сказки русскаго народа». Христовъ Крестникъ. Сторона Небывалая. Разсказы: Галстукъ. Сказки «Е». Вторая сказка. Пятая сказка».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Оля». 25 — 44. <sup>8</sup>) «Оля». 44. <sup>4</sup>) «Оля». 173. <sup>5</sup>) «Оля». 197. <sup>6</sup>) Напр. «Оля». 217 — 219. 278 — 279.

и читатель часто не знаеть, что съ ними делать и какъ ихъ художественно осмыслить. Въ довершение всего иногда появляются такія «вставки», отъ которыхъ читатель совершенно растеривает» ся. Такъ напр. въ романъ «Оля», дъйствіе коего развертывается льть за десять до первой міровой войны, имъется вставка въ три страницы — изъ «бъженскаго быта», объ эмигрантскомъ Парижѣ и Берлинѣ... И вообще о черствости людской и неумирающей сплетнъ... Включая такія трагическія или лиричем скія вставки «отъ себя», Ремизовъ повидимому не представляетъ себь, до какой степени эти вставки, совершенно независи» мо отъ ихъ содержанія, срывають въдушѣ читате: ля художественную установку, — вниманіе, дов'єріе, всю работу эмоціональнаго и созерцающаго воображенія, самое желаніе читать дальше.

Есть неумолимый художественный законъ, согласно которому все. что можетъ быть исключено изъ произ» веленія, должно быть исключено изъ него: все лишнее, немотивированное, утомляющее, развлекающее, растя рачивающее вниманіе читателя. И съ этимъ закономъ Ремизовъ не считается.

7. Это отсутствіе заботы объ органической цѣль ности произведенія и о его образной правдоподобя ности выразилось у Ремизова съ особенной наглядностью въ его двухтомномъ произведеніи «Три Серпа, Московскія люби» мыя легенды». Фантастическіе разсказы о Св. Николаъ, Мирликійскомъ чудотворцѣ, 1) составлены авторомъ такъ, что читатель съ первыхъ же страницъ испытываетъ художественный испугъ и разочарованіе, и не разстается съ этими чувствами до конца.

Дело въ томъ, что въ этихъ разсказахъ бытовой и образный матеріаль берется сразу изъ первыхъ въковъ послъ Рождества Христова, изъ среднихъ въковъ европейской жизни, изъ православной Руси, изъ большевицкой революціи, изъ современнаго эмигрантскаго быта во Франціи и изъ русской сказки. И все это обрушивается на читателя.

Воть въ концъ третьяго въка плыветь по Черному морю пароходъ, на немътри православныхъ куп: ца изъ Ростова Великаго и на билетахъ у нихъзначится: «Cabine de luxe 200». Все это происходить при жизни еще не прославившагося Св. Николая, а купцы ему уже молятся и онъ ихъ спасаетъ. <sup>2</sup>.

Воть Св. Николай летить на аэропланъ въ Алекпередаль власть патріарху, сандрію, гдв «цикъ» патріархъ вельль архонтамь надыть синее камло. 3)

Воть Св. Николай летить на коврѣ-самолетѣ дарить герою разсказа волшебную «самогудную скрипку» и волшебный кремень для вызыванія трехъсказочя ныхъ «ухорѣзовъ» . . . 4)

<sup>1)</sup> Изъ нихъ не менъе 14 было напечатано ранъе въ книгъ «Звенигородъ Окликанный. Николины притчи».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Три Серпа». І. 11—18, <sup>4</sup>) Тамъ жъ II. 97—115. 3) Тамъ же. II. 35-45.

Вотъ мальчикъ Василій, сынъ Агрика; онъ «снесъ яйцо»; онъ и его семья «православные», крестьяне во Франціи, в в рятъ въ Крокмитэна; автомобили, электричество; корсары, сарацины похищаютъ мальчика, эмиръ кормить его швейцарскимъ шоколадомъ и дълаетъ его «оберъ-главъ-дотелемъ»; онъ молится Св. Николаю и тотъ его спасаетъ...¹)

Сущность художества состоить, вообще говоря, въ томъ, показать образъ, правдоподобный реальности, вызвать довъріе наглядный дο читателя и завладъть его воображеніемь; и черезъ такой образъ ввести ему въ душу художественный предметъ. Между тымь хаотическое смышение эпохы, бытовыхы стилей, бытовыхъ темповъ и, что еще хуже, смѣшеніе священнаго сь волшебнымъ, святого всемогущества колдовствомъ и съ техникой все это вызываетъ въ душћ читателя отказъ дов фрять, воображать и сосредоточивать художественное внима: ніе. Ему разсказывается такое, что завѣдомо никакъ могло быть, такъ что и авторъ и читатель оба знаютъ, что этого никогда не было. Это полчер⊳ киваемое авторомъ сознаніе неправдоподобности и нереальности образа — оказывается губительнымъ для художе ственнаго акта. И если спросить себя, откуда же взялось это смъщеніе, то отвъть будеть прость и кратокъ: Ремизовъ пытается перенести механизмъ всесмѣ шивающаго сновидънія въ сферу искус ства; онъпытается сновидствовать въ худо» жествъ; и художество отъ этого гибнетъ.

Правда, съ точки зрвнія художественно-сльпого сознанія фантастическая сказка тоже не правдоподобна; а съ точки зрѣ нія религіозно-мертваго сознанія — чудеса не реальны. Но х у дожественное изложение священныхъ легендь обращается именно къ художественно-зрячей и религіозно-живой душь; и автору остается только заботиться о внышней наглядности и о религіозно-духовной обоснованности образовъ. И вотъ внѣшняя нагляд≠ ность гибнетъ отъ безвкусно-сновидческаго всесмъщенія; а религіозная обоснованность гибнеть отъ смфшенія святого всемогущества съ гръшнымъ волшебствомъ и эмпирической техникой. Такую легенду нельзя увидьть художественно; это искуся ство не состоялось. Въ такую легенду нельзя повърить религіозно; этоть акть въры — подорванъ и скомпрометированъ. И разочарованный читатель съ изумленіемъ спрашиваетъ себя: почему же такія легенды именуются «мо» сковскими» и «любимыми»?1...

Такъ слагается образный составъ въ произведеніяхъ Ремия зова; и нътъ сомнънія въ томъ, что всъ основныя особенности этого состава были предръшены строеніемъ его художественнаго акта.

<sup>1) «</sup>Три Серпа». І. 93 — 112.

Совершенно особаго вниманія заслуживаеть эстетиче с кая матерія въ произведеніяхь Ремизова, — уже въ силу одного того, что она сама утверждаеть и подчеркиваеть свою самобытность, свою независимость — не только отъ вся кихъ литературныхъ традицій, но и отъ своего соб ственнаго художественнаго предмета.

Словесно-литературный составь этого искусства—не простъ и не обыченъ. А. М. Ремизовъ писатель не только своеобразный, но совершенно небывалый; его стиль столь же оригиналень, сколь его художественный актъ. Но насколько онъ развязыя ваетъ строеніе своего художественнаго акта, настолько онъ обыч» но трудится надъ своею словесностью. Когда онъ пия шетъ, онъ не отдается непосредственному вдохновенію легковылетающаго слова, но ищетъ словъ, цензуруетъ ихъ, выбираетъ, нанизываетъ ихъ. «А работа моя», — нишетъ онъ: «перебирать слова, какъ камушки, и нанизывать слова раковинки». 1) Это работа мозаичная, можеть быть да: же — ю в е л и р н а я; работа напряженной словесной лексіи. Въ ней рідко чувствуется легкій и свободный вздохъ. его нътъ ни въ словъ, ни въ сочетании словъ, ни въ ритмъ, ни въ акцентъ, ни въ каденціи. Здъсь онъ самъ знаетъ за собой «придирчивую волю» и «глазъ ремесленника». <sup>2</sup>) Своему акту и своему образу — онъ безсознательный слуга. Но надъ словомъ своимъ — онъ сознательный господинъ. Здѣсь — его волевая культура; здѣсь онъ отвъчаетъ за свой выборъ и за свое ръшеніе.

Это естественно и понятно. Для тъхъ необычайныхъ содержаній, которыя онъ должень изобразить, нуженъ необычай» ный словесный и литературный матеріаль. Онь знаетъ это: онъ понимаетъ это. Онъкакъбы опасается «ис» портить діло» дешевкой обычныхь, заізженныхь словь. А такъ какъ его художественная воля оказывается нерастраченной, то она сосредоточивается надъ словесной ризой... Здъсь его тревожитъ чувство отвътственности и можетъ быть даже нъкотораго недов'трія къ своему словесно-творческому аппарату. Онъ подыскиваеть нужное, «придирается», требуеть... Такъ обсто» итъ обычно. Впрочемъ не тогда, когда онъ начинаетъ лите: ратурно шалить и шутить. Тогда цензура от: падаеть и въ литературный акть вторгается струя юродия ваго каприза и стилистической вседозя воленности. Ремизовъ, какъ литераторъ, – или ювелиръ или безудержный шалунъ. когда онъ пишетъ, какъ ювелиръ, то стиль его получаетъ харакя

<sup>1) «</sup>По Карнизамъ». 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же. 55.

теръ нѣкоторой волевой нарочитости. А когда онъ пишеть, какь безудержный шалунь, то онь создаеть некое разно-стиліе или без-стиліе..., на которое чита: тель иногда дивуется, а иногда неголуеть, но которое не даеть художественнаго наслажденія...

Ремизовъ мастеръ слова, хотя въ его мастерствъ слы шится нарочитая изысканность на подобіе изысканности Лѣскова, любившаго подъ часъ шалить словами; но истоки у Ремизова иные. И воть, это мастерство поднимается на настоящую высоту въ тотъ мигъ, когда къ нему присоединяется в дохновен і е,въ моменты молитвеннаго подъема или прозрѣнія, идущаго изъ скорби, изъ совмъстной муки или изъ чувства космической вины. Тогда всякая нарочитость отпадаеть, слова становятся просты, прозрачны, искренни и жизненно-трепетны ... 1)

Это мастерство родится изъ неутомимой потребности влить въ слово ту страдающую раскаленность чувства, которая собирается въ его сердцѣ и жжетъ его острою болью. От• сюда эта интенсивность, накаленность его слова; отсюда эта крвпость, мвткость, вдкость, «ядреность» его выраженій. Ремия зовъ какъ-будто ищетъ на сытить слово до отказа, сосредоточить въ кратчайшемъ словъ сильнъйшій зарядъ – и бросить это слово швыркомъ... Вотъ откуда у него склонность къ образованію односложныхъ, гвозде подобныхъ, ударныхъ словъ, изъ коихъ некоторыя вероятно сохранятся въ русскомъ литературномъ языкъ. Мы находимъ у Ремизова цьлую фалангу ихъ: «дзябъ», «грёкъ», «скрыть», «рынь», «грёмъ», «рывъ», «хапъ», «вздвигъ», «взъершъ», «крѣпь», «чавкъ», «крать», «дыхъ», «парь», «хракъ», «плёвъ», «кипь», «мыкъ», «лють», «быстрь», «липь», «грюмь».

Если слово насыщено, то оно насыщено тъмъ образомъ, который оно передаетъ. Взятое въ одиночку, само по себъ, оно уже изобразительно. И Ремизовъ ищетъ его неустанно – и для внутренняго опыта, и для внъшняго, не считаясь съ требовая благозвучно незамътности слова и его сти. Онъ пишетъ: «есть непробиваемая человъческая у пръ»! <sup>2</sup>) Воля «лежебокъ вскнутнётъ»...<sup>3</sup>) «Взвивъи в звихрь б ѣ с я ч і й» . . . <sup>4</sup>) «Жундять жуки», «пичужки чувырчуть», стрекозы «вьются — рекозять»...<sup>5</sup>) «Ночь легко и колыбельно зыблила, какъ журь источника во дворикъ»... <sup>6</sup>) «Панельная сворь»...<sup>7</sup>) «Дико козить бородами»...<sup>8</sup>) «Вѣтеръ взвіиль»...<sup>9</sup>) «Въ непроходъ, въ непроъздъ, въ непрорыскъ...<sup>10</sup>) «Звукъ щекный»...<sup>11</sup>) «Человъкъ онегоженъ»...<sup>12</sup>) «Дразнящее нес-

ныя мѣста во «Взвихренной Руси», въ «Крестовыхъ Сестрахъ» и др.

2) «Взвихренная Русь». 517. Слово «упрь» до отказа насыщено чувствомъ преткновенія.

3) Тамъ же. 481.

4) «Кукха». 78.

<sup>1)</sup> Таковъ его лирическій отрывокъ: «Дѣла Человѣческія» (1914). Первая часть «Ункрады» («Звенигородъ Окликанный»). И многія лирически-молитвен

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) «Ахру». 41. 42. <sup>6</sup>) <sup>7</sup>) «Взвихренная Русь». 459. 6) «По Карнизамъ». 46.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Тамъ же. 8. 8) «Axpy». 16.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) «Axpy». 39. <sup>11</sup>) «Оля». 55.

<sup>12) «</sup>Взвихренная Русь». 494,

быточье»...¹) «Псивое житье»...²) «Наброжье безчастное», «чернедь безпрокая»...³) «Путь протягливый»...⁴) «Древяни» цы и травяницы томнуютъ» по лугу...⁵) «Мля газообразная»... ⁶)

Й бываетъ такъ, что глубинное чувство языка, безсознательно живущее въ каждомъ изъ насъ, встревоженно спрашиваетъ: «можно ли такъ?!» — и быстро или постепенно успокаивается: «да, можно...» — и тогда погружается въ ново-рожденное (или въ древнихъ языковыхъ курганахъ откопанное?...) слово, и художественно наслаждается: ибо слово, семейотически насыщенное, даетъ особую творческую радость языка...

Но бываетъ и такъ, что чувство языка, проснувшись въ душѣ читателя, недоумѣнно останавливается передъ неслыхань нымъ словомъ, не наполняетъ его никакимъ значеніемъ и сконфуженно (за свое ли невѣжество? за дерзость ли автора?) ищетъ спасенія въ бѣгствъ. Какъ постигнуть это, какъ прозрѣть въ эти слова? «Щечавый звѣрь»... <sup>7</sup>) «Тайкій, какъ постень»... <sup>8</sup>) «Раставрался боръ»... <sup>9</sup>) «Въ заповѣдное, гдѣ жила человѣчья небластилось, и самъ дебренный звѣрь загужался»... <sup>10</sup>) «Вжбулчалъ старшина»... <sup>11</sup>) «Перепалъ попъ»... <sup>12</sup>) Тяжки и плящи морозы... <sup>18</sup>) «Бѣднищголь»... <sup>14</sup>) «Постоятъ они, сдынутъ свой щитъ, не дадутъ врагу ободать тебя»... <sup>15</sup>)

А бываеть еще и такъ, что чувство родного языка начинаетъ горько жаловаться и протестовать, не постигая, зачемъ нужны эти уклоненія отъ словесной формы и эти искаженія звука, преподносимыя не отъ лица «простонароднаго» героя, а отъ лица самого автора: «теплая пламень» 16); «за при» горкой» 17); «заяцу» 18); «шкуровь», «плюшковь», «картинковь», «конфетовъ»  $^{19}$ ); люди «дохаютъ», какъ лошади  $^{20}$ ); «а скуло вотъ-вотъ разнесетъ»  $^{21}$ ); «безъ шевеля поплыли»  $^{22}$ ); «озерну» лись»  $^{23}$ ); «чего» вмъсто «что»  $^{24}$ ) и т. д. Или еще: «надо какая то работа» <sup>25</sup>); мальчики «кидаются въ нее» (въ гимназистку) «воскомъ» 26); «собаки на голову визжали» 27); «Оля никогда одна» <sup>28</sup>); «обезкровавленныя ноги» <sup>29</sup>); «очень они бѣдно жили и съ каждымъ днемъ бѣдовѣе» <sup>30</sup>); «пускаться на всѣ тяж» кіе»...<sup>31</sup>) Читатель съ недоумъніемъ спрашиваетъ себя: «для чего это?» Что это такое — стилистическій недосмотръ, или особый «юморъ», или нарочитое приближение къ простонародя дности? И если все это 32) начертано сознательно и намъренно, то примириться съ такимъ разламываніемъ русскаго языка можно только при томъ условіи, что это художест

<sup>1) «</sup>Прудъ». 36. 2) Взвихренная Русь». 160. 8) «Звенигог родъ Окликанный». 143. 4) Тамъ же. 150. 5) «Русалія». 48. 6) «Ахру». 24. 7) Тамъ же. 8. 8) «Звенигородъ». 105. 105. 105. 112) Тамъ же. 141. 12) Тамъ же. 141. 13) «Русалія» 18. 14) «Ахру». 36. 15) «Звенигородъ». 144. 16) Тамъ же. 7. 8. 17) «Е». 7. 18) «Е» 8. 19) Тамъ же. 13. «Ахру». 30. 15. «Одя». 315. 20) «Одя». 212. 21) Тамъ же. 296. 22) «Три Серпа». I. 14. 28) Тамъ же. 286. 26) «Прудъ». 23. 27) «Оля». 35. 28) Тамъ же. 201. 29) Тамъ же. 286. 30) «Три Серпа». I. 20. Вмѣсто «бѣднѣе». 31) «Три Серпа». 11. 58. 32) Такихъ примѣровъ може но привести немало: «По Карнизамъ». 79. «Оля». 73. 237. 268. 286.

венно оправдано, т.е. что этого потребовалъ художественный предметъ. Но усмотръть это чия тателю не удается и онъ вынужденъ признать, что во всъхъ этихъ случаяхъ Аргусъ стилистической цензуры задремаль и эстетическая матерія стала жертвою шутливой вседозволенности.

любитъ шутить читателемъ, съ совершенно независимо отъ того, соотвътствують ли эти шутки тому стилю, котораго требуеть эстетическій предметь даннаго произведенія или нѣтъ. Такъ, игриво-фривольный тонъ, можеть быть и умъстный въ «отчаянныхъ» воспоминаніяхь о В. В. Розановъ и о его безудержной эротической болтовнъ, 1) совершенно неумъстенъ въ легендахъ о Николав Чудотворцъ; но именно въ этихъ легендахъ онь господствуетъ надо всѣмъ. Врядъ ли этотъ стиль подходить и къ Оль, жизнеописаніе которой задумано, какъ своего рода «житіе»; но онъ прорывается отъ времени до времени и здѣсь. 2) Ремизовъ вообще не принадлежить къ тѣмъ писателямь, которые вынашивають задание стиля примвния тельно къ единому предмету и выковыва: стиль, единый ненарушаемый никакими отступ» леніями. Стиль его обычно неуравновъшень, капризень, чревать неожиданностями и отступленіями отъ требованій вкуса. И только, въ лучшихъ произведеніяхъ его: «Крестовыя Сестры», «Пятая Язва», «Русалія» онъ бываеть выдержань и целень.

И когда его стиль выдержань, тогда та особая жалующая ся и вздыхающая пъвучесть – надрывно-скорбная, съ въчнымъ подъемомъ кверху и безъ финальной, разрешительной каденціи, присущая ему почти всегда, пріобрѣтаеть нѣкую хватающую за сердце предметную силу и выразительность. Тогда стиль его в о рожитъ: онъ овладъваетъ душою, подчиняетъ ее себъ и заставляеть ее или скорбно воспроизводить всь свои скорбно-быя товые ритмы («Крестовыя Сестры»), или же піанственно качать ся на весеннихъ волнахъ Русаліи вмѣстѣ съ неописуемо описаня ной и все же недопоказанной нежитью: «Тышится Чучела. Не отстають за чумичелой въ острыхъ хохолкахъ пери и мери, шуды и луды — шуты и шутихи ягчиные: сцвпились куцые нога» ми и руками, катаются клубкомъ, какъ гаденыши». 3)

Таковъ самобытный, ни на что не похожій, своенравный и вь сущности говоря художественно-беззаконный, анархическій, юродивый стиль Ремизова, которому недостаеть простоты и предметности. Такова его эстетическая матерія, лишенная равновѣсія, чуждающаяся мѣры и строгаго вкуса<sup>4</sup>)— «противъ нормальнаго мыш»

ленія»...

<sup>1) «</sup>Kykxa».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Напр. «Оля». 163—168. 177. 285—287.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>) «Русалія». 30.

<sup>4)</sup> Это относится, увы, и къ плачу о Россіи («Взвихренная Русь» 180-189), безвольная и безгивная заунывность котораго, скрывающая за собою

Есть писатели-художники, которые знають только одну образно-художественную ризу для каждаго своего Предмета: черезь эту върную ризу они не «скрывають» его, и не «выска» зывають» прямо, они только «показывають» его 1) черезь посредство образовь.

А. М. Ремизовъ не принадлежить къ нимъ: онъ не только изображаеть свой Предметь въ художественномъ порядкъ, но и высказываеть его непосредственно, внъ образовъ и художества. Образы его какъ бы не вмѣщаютъ глубину и остроту его духовнаго опыта; и потому содержанія этого опыта ищуть для себя иную, лирически-философиче» скую форму, то вопрошающую, то отвычающую, то исповъдническую. Неумъстившись въ образахъ, Предметъ ищетъ себѣ прямыхъ формулъ; и находить ихъ. И бы≠ ваеть такъ, что эти философические вопросы и отвъты — влагаются въ душу и въ мысль самихъ героевъ («Крестовыя Се» стры», «Пятая Язва»); но чаще бываеть и такъ, что авторъ выя говариваеть свои идеи о предметь отъ себя, въвидь особыхъ философически-обобщающихъ отступленій, идущихъ «отъ избытка сердца» и прерывающихъ ткань разсказа; 2) наконецъ. эти же «прямыя формулы» можно найти у Ремизова и въ его «мемуарно - полухудожественных» произведеніяхь. И тоть, кто знаеть и цівнить творчество Ремизова, кто пріучиль себя къ его неуравновъщенному стилю и незаконченнымъ образамъ, и въ то же время — вслушался сердцемъ въ эти вздыхающіе и сте нающіе афоризмы, тоть придеть къ выводу, что облеченіе предя мета въ художественныя одежды - далеко еще не закончено авторомъ: ему надлежитъ и предстоитъ еще многое создать и изобразить...

Предметь, данный Ремизову, не легко облекается въ художественные образы; и, облекаясь въ нихъ, онъ ведетъ самого автора черезъ великія страданія. И можетъ быть го, что огорчаетъ или подчасъ возмущаетъ читателя въ стиль и въ образахъ Ремизова — есть лишь судорога или гримаса, оставшаяся отъ этихъ страданій, или же попытка унять, утолить, успокоить ихъ шуткою, которая какъ и всякая шутка не всегда звучитъ и удается...

Ремизовъ видитъ въ человъкъ и въ міръ нъкую первозданную тьму. Можетъ быть эта та самая тьма, кото-

глубокое и искренное чувство, внезапно пресъкается такимъ восклицаніемъ: «закукурекалъ бы, да головы нътъ: давно оттяпана!» Къ такимъ пугающимъ образамъ безвкусія относится и слъдующій примъръ: въ одной изъ «легендъ» о Николаъ Чудотворцъ Александрійскій архидіаконъ летитъ за угодникомъ на аэропланъ и «безъ удержу неистощимо сквернословитъ». «Три Серпа». II. 42.

1) Формула Гераклита.

<sup>2)</sup> Напр. «Крестовыя Сестры», 115. «Оля», 285—287. 295—301. «Три Серяпа». І. 71—72. «Три Серпа». II. 17—18. 19—20.

рую созерцаетъ и живописуетъ Бунинъ; но Ремизовъ видитъ ее совсѣмъ иначе, инымъ актомъ, въ иныхъ аттрибутахъ, въ иныхъ образахъ. О такъ называемомъ «вліяніи» Бунина на Ремизова говорить совсѣмъ невозможно.

Бунинъ извѣдалъ и измѣрилъ опытомъ силу первобытнаго родового инстинкта, владѣющаго человѣкомъ, — бездуховнаго или до-духовнаго, зовущаго человѣка въ свои темные провалы и опредѣляющаго его судьбу. Онъ далъ какъ бы художествен> ную анатомію чувственнаго эроса.

Первозданная тьма, потрясшая Ремизова, имфетъ иную природу. Она не инстинктивна, а «діаволична». Это болье, чымь человъческая мгла. Она живеть и въ человъкъ, но человъкомъ не исчерпывается. Ремизовъ чуетъ ея сверхчеловъче скую природу и пытается выразить ее вь образахь поту стороннихъ. Это удается ему въ смыслъ художествен» номъ, но не въ смыслъ религіозно-метафизическомъ, ибо почти вся его «нечисть» — являеть эту тьму въ образахъ сравнительно «невинныхъ», сказочныхъ, полупризрачныхъ; отъ нея вѣетъ иг» рою, шуткою, миномъ; она полу-страшна, полу-забавна, часто добродушна, иногда даже «благодътельна». Повидимому именно страхъ, давшій Ремизову этоть опыть, помешаль ему найти для содержанія этого поистинь страшнаго опыта послъдніе, сатанинскіе образы... Но можеть быть такое заданіе вообще не по силамъ человьку?... Во всякомъ случаь къ этимъ дьявольскимъ содержаніямъ первозданнаго мрака Ремия зовъ подходитъ гораздо ближе въ кощунственныхъ судорогахъ своего перваго романа («Прудъ»), въ страшныхъ разсказахъ свое ей ранней поры («Чертыханець», «Чортикъ», «Жертва», «Занофа» и др.) и въ нъкоторыхъ своихъ сновидъніяхъ, чъмъ въ жиг вописныхъ сказкахъ о Бабъ-Ягъ или въ своемъ бытовомъ миоотворчествѣ...

Эту первозданную тьму Ремизовь показываеть въвидъчерствой злобы и живой муки.

Человѣкъ есть существо грубое, глупое и лютое. <sup>2</sup>) И от носится онъ къ ближнему — то какъ «бѣшеный звѣрь», то какъ «бревно»: «сколько не молись ему, не услышитъ, сколько ни кличь, не отзовется», «не пошевельнется»...³) Отъ черствости возникаетъ «непробиваемая стѣна» между людьми ⁴) или — «прогласть». ⁵) Люди «другъ дружку поѣдомъ ѣдятъ»; б) и иногда кажется, что «вся наша жизнь есть только» «подкапываніе и подсиживаніе сосѣда, только отравленіе и подтачиваніе вѣка ближняго — убійство скрытое, а война, это ужъ убійство от кровенное и ничѣмъ неприкрытое». <sup>7</sup>)

<sup>1) «</sup>Крестовыя Сестры». 115.

 <sup>«</sup>Пятая Язва»». 32. 97.
 «Крестовыя Сестры». 15.

<sup>4) «</sup>По Карнизамъ». 86. 5) «Пятая Язва». 30.

<sup>6) «</sup>Звенигородъ». 15.

<sup>7) «</sup>Взвихренная Русь». 22

А революція?... О, этотъ «выверть жизни», эта «жесто» чайшая месть и злоба», 1) это «безуміе», 2), гдѣ «свиная толпа» съ «тупымъ черепомъ» «оретъ отъ голода» и «визжитъ отъ по» хоти». 3) и предается «послъднему звърству» ! . . . 4)

Откуда это все въ человъкъ? Въ этомъ ли подлинная природа его души? Откуда все это озлобленное озорство, кощунствомъ срывающее всякую святость («Прудъ»), ... «злобно и горько перемѣшивающее божественное съ непотребнымъ»?1... <sup>5</sup>) Откуда эта жизнь: — «сверху разгромъ, снизу погромъ», смѣ шеніе предательства со злодъйствомъ, хулиганства съ самоопле ваніемъ («Пятая Язва» 6)?!... Подумать, послушать — и въ глазахъ чернветъ... $^{7}$ ) и начинаешь завидовать мертвымъ... $^{8}$ ) И думается невольно: «если бы были такія могилы, куда бы клали живыхъ — я легъ бы» . . . <sup>9</sup>)

И все это покрывается живою мукою.

Вотъ – предсмертно мучается на дворъ мяукающая кошка...<sup>10</sup>) И такъ же мучаются въ жизни люди: «въ горѣ, въ кручинъ, въ нуждъ, въ печали, въ скорби, въ злобъ и ненависти — земля кувыркается и мяучить Мур; кой»; а Лихо Одноглазое подсматриваеть «изъ за облаковъ», ибо «гдѣ тужатъ и плачутъ, тутъ ему и праздникъ» . . . <sup>11</sup>) И ни» чего нельзя съ этимъ подвлать, ибо «страданіе и есть жизнь, а удъль человъка-смятение и несчастие . . . <sup>12</sup>) Такова наша с у д ь » ба: она «не страшна, а ужасна»; она какъ «безглазый тяжелый камень». 13) Ее «никакой волей не повернешь» . . . 14) Она приходить и ей надо покоряться. «Навалится бъда, забудь, что на свъть люди есть, люди не помогуть, а если и захотять помочь, все равно, бъда дъла ихъ разстроитъ, всякое дъло ихъ на нътъ сведетъ, разгонитъ и запугаетъ» . . . <sup>15</sup>) Надо только «какъ-нибудъ прожить положенный срокъ» . . . <sup>16</sup>) И такъ велика, и безпро» свътна, и непонятна эта человъческая мука, что «если бы даны были всѣмъ глаза, то лишь одно желѣзное сердце выя несло бы весь ужасъ и загадочность жизни»...<sup>17</sup>) Что же намъ остается? Только молитва юродивой Акумовны: Господи, полно меня мучить» . . . <sup>18</sup>)

<sup>1) «</sup>Взвихренная Русь». 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же. 74. <sup>3</sup>) Тамъ же. 250—251. <sup>4</sup>) Тамъ же. 454.

<sup>5) «</sup>Крестовыя Сестры». 34. <sup>6</sup>) «Пятая Язва». 48—54.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) «Взвихренная Русь». 72.

<sup>8)</sup> Тамъ же. 77. 9) Тамъ же. 238. Срв. 309.

<sup>10) «</sup>Крестовыя Сестры». 20—21. 24—25.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Тамъ же. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) «Взвихренная Русь». 475. 13) «По Карнизамъ». 106.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Тамъ же. 116.

<sup>15) «</sup>Крестовыя Сестры». 18. <sup>16</sup>) «По Карнизамъ». 84.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) «Крестовыя Сестры». 29.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Тамъ же. 50.

Не естественно ли, что мысль ищеть виновнаго? И перваго виновнаго человъкъ находитъ въ самомъ бъ. Совъсть винить его самого и вина эта ложится новымъ бременемъ на его жизнь: виноватъ онъ «передъ всѣми» и прощенія онъ долженъ «просить у всякаго». 1) ибо «кто весь законъ соблюдаеть, но въ одномъ согрѣшитъ, — в о в с е м ъ в и н о в а т ъ  $1 \gg 2$ ) Не знаемъ мы, что за вина и какъ избѣжать ея; и только сумеречно чуемъ нѣкій «изначаль» ный гръхъ», 3) отъ котораго не знаемъ спасенія и за который пріемлемъ Божію Кару. 4) И если мы всв въ такомъ состояніи, то какъ возложить вину на кого-либо въ отлѣльности? И можеть быть права мудрая и юродивая Акумовна, что въ конечномъ счетѣ «обвиноватить никого нельзя»...<sup>5</sup>)

Художественное око Ремизова смотрить во тьму и е ре вороднаго грѣха и извѣчной муки и душа его содрогается трепетомъ; онъ не винитъ другихъ, 6) онъ винить с е б я и принимаеть свою собственную муку, какъ заслуженную кару. Онъ не утверждаеть, что на свътъ есть т о л ь к о злоба и мука. Онъ знаетъ и человъческую доброту и выговариваетъ свое знаніе: «Много я видълъ добра отъ че» ловъка»... $^{7}$ ) Да, и «добрыхъ — куда больше, чъмъ злыхъ»... Но «злое — это очень больно, а боль помнится долго; и вотъ остается: злыхъ больше»... 8) А вѣдь «только добромъ и живъ человъкъ»...<sup>9</sup>) Отсюда у Ремизова эта потребность «поклониться до самой земли сердцу человъческому, изнывшему отъ обиды, утраты, раскаянія,— сердцу, задохнувшемуся отъ неправ» ды нашей - сердцу, щадящему и жалостливому во власти без» пощадной суровой судьбы, — сердцу, надрывающемуся въ смерт» ной тоскъ»...<sup>10</sup>) Ему и только ему «открыты врата райскія»...<sup>11</sup>)

Человъческая земная мука есть какъ бы необходимое искупленіе— и за первородный грѣхъ и за про« истекающую изъ него злобу. Мучается человъкъ, чтобы затопить, исцелить пропасть греха и злобы...

Въ одной изъ легендъ о Николав Чудотворцв – Угодникъ запаздываетъ на собраніе всьхъ святыхъ: «все съ своими му» чился... — пропащій народъ: воръ на ворѣ, разбойникъ на разбойникъ, грабятъ, жгутъ, убиваютъ, братъ на брата, сынъ на отца, отецъ на сына! Да и всъ хороши – другъ дружку поъ домъ ъдятъ... Вельлъ мнъ ангелъ Господенъ истребить весь русскій народъ... да простиль я имъ: больно ужъ мучаются»... 12)

<sup>12</sup>) «Звенигородъ». 15.

<sup>2)</sup> Крестовыя Сестры». 29. 1) «Взвихренная Русь». 313; срв. 29. в) «Крестовыя Сестры». 28. 4) «Взвихренная Русь». 253. «Ная казаль Господь». <sup>5</sup>) «Крестовыя Сестры». 46. 91. <sup>6</sup>) «Кукха». 65.

<sup>5</sup> Господь».

7) «Взвихренная Русь». 454.

8) «По Карнизамъ». 82.

10) «Взвихренная Русь». 216.

11) Тамъ же. 82.

12) «Взвихренная Русь». 216.

13, дъсь исчислены своего рода Срв. «Звенигородъ» 151. «заповъди блаженства».

Оть одной изъ нихъ въеть соблазномъ: «сердце, готовое признять и послъдній гръхъ ради свъта Божьяго, разди чистоты на трудной землъ въ семъ жестокомъ свътъ». Эта идея встръчается у Ремизова и въ другихъ мъстахъ.

Художественное око Ремизова видить ту общечеловьческую глубину и трагедію, которая лежить вь основь всего земеного существованія и можеть быть выражена такь: человькь человьку — инобытіе; люди мучаются оть этого сами, и мучають другихь — пока не постигнуть всеобщаго единобытія въ Богь и не взойдуть къ нему...

Когда то греческій философъ Анаксимандръ постигь эту основную трагедію человъческой жизни и описаль ее въ своемъ прославленномъ отрывкъ: «изъ чего всъ существа происходятъ, въ то самое они по необходимости и уничтожаются; ибо они воздаютъ другъ другу возмездіе и искупленіе за неправду, по опредъленному порядку времени». ¹) Анаксимандръ считаетъ, что совершенно — только без предъльномо считаетъ, что собособленіе, всякая индивидуація есть неправда и неправедный способъ бытія; человъкъ человъку — инобытіе; и спасеніе людей въ томъ, чтобы — въ возмездіе и искупленіе этой неправды — опять угаснуть въ безпредъльномъ...

Такъ увидълъ эту трагедію мудрый грекъ: жизнь состоитъ въ томъ, чтобы ц в пляться за жизнь; спасеніе состоитъ въ томъ, чтобы не цвпляться за нее и уйти изъжизни...

Совсьмъ иначе разрышило эту трагедію нашего земного «перво-рожденія» евангельское откровеніе: выходъ изъ нашего «перво-роднаго» грѣха указуется здѣсь, въ земной жизни— ибо черезъ Христа и во Христѣ намъ открывается возможность всеобщаго единобытія Б о г ъ. Не покидая земного «обособленія», оставаясь раздъльными личностями, мы можемъ выйти изъ заколдованнаго круга: «тьма — злоба — мука — тьма». Мы призваны придти ко Христу и «облечься» въ Него: принять Его видъніе, утвердить въ себъ «сына», пріобръсти даръ любви и въры, и наполнить праведностью несоверя шенный способъ бытія. Тогда тьма стая неть свътомъ, злоба обратится въ любовь. мука замънится скорбью. Скорбь не исчезнеть: останется и скорбь въ міръ, и скорбь о мі р ѣ. ²). Но скорбь эта будеть духовно зрячая и поэтому она перестанеть быть темною и сльпою. Эта скорбь будетъ проникнута любовью – и поэтому она не будетъ ожесточающею и ожесточенною. Она возникнетъ изъ очищаю» щей радости и постигнеть, что мука есть не мука, а очистительное страданіе.

Мука и страданіе не одно и то же.

Му к а есть состояніе тварное, темное и ожесточенное; мука обособляеть человѣка, замыкаеть его въ себѣ, погружаеть его въ животность существованія, въ безнадежность, въ страхъ и отчаяніе. Ремизовъ правъ: это именно отъ нестерпимой

<sup>1)</sup> Переводъ мой. Авторъ.

<sup>2)</sup> См. часть III, посвященную творчеству Шмелева.

муки — «завидують мертвымь» и «ложатся въ могилу» заживо... Это изъ тьмы родятся мука и страхъ.

Страданіе же есть состояніе духовное, свѣтонос ное и окрыляющее; оно раскрываетъ глубину души и единить людей въ полу-ангельскомъ братствѣ; оно преодолѣваетъ живот ное существованіе, пріоткрываетъ дали Божіи, возводитъ чело вѣка къ Богу, побѣждаетъ отчаяніе, даетъ надежду и укрѣп ляетъ вѣру. Въ страданіи таетъ тьма и и с чезаетъ страхъ.

Въ мукъ человъкъ, подобно животному, цъпляется за жизнь; и въ минуту отчаянія — уходить изъ жизни ръшеніемъ своего произвола.

Человъкъ научившійся страданію— не цъпляется за жизнь, ибо она для него— не болье, чъмъ зем ная жизнь; и отозванный изъ жизни уходитъ къ Отцу:

«Твоей то правдѣ нужно было Чтобъ смертну бездну преходило Мое безсмертно бытіе; Чтобъ духъ мой въ смертность облачился И чтобъ чрезъ смерть я возвратился Отецъ, въ безсмертіе твое».

(Державинъ).

Мука зоветь къ жалости. И жалость есть с о г л а с і е н а с о в м ѣ с т н у ю м у к у. Жалость ведеть не вверхъ, а внизъ: въ тварную темноту, въ совмѣстность тварной муки. Жальющій самъ опускается до муки, а не помогаетъ мучающем муся возвыситься до страданія. И потому жалость, бездуховно и безпредметно размягчающая душу, есть путь невърный и не зиждущій. Она сама требуетъ преодольнія.

Христіанство не благословляеть на «муку» и не зоветь къ жалости. ¹) Оно благословляеть на «страданіе» и зоветь къ свѣгу и радости. Оно уводить оть муки и учить побѣдѣ. И страхъ въ немъ исчезаетъ. Христосъ не «мучился» на крестѣ, а страдалъ и скорбѣлъ; и путь Его былъ путь свѣтоносный и побѣдный. Въ этомъ смыслъ Христова Воскресенія, побѣдившаго тьму, муку и страхъ.

А. М. Ремизовь — поэть муки, страха и жалости. Его хурожественный акть пребываеть вь той тьмь, гдь душа содрогается отъ муки, трепещеть отъ страха и мучается отъ жалости. Искренность и глубина этихъ состояній дають его творчеству силу, мудрость и бытіе. Но здьсь ньть исхода, ньть пути къ

<sup>1)</sup> Все это — вопреки Л. Н. Толстому и его до-христіанской, и внѣ-христіанской проповѣди (см. мою книгу «О сопротивленіи злу силою», гл. 9, 10, 11, 12). Мораль Толстого есть мораль жалости, а мученіе есть для Толстого почти синонимь зла. Это стоить у него въ глубокой связи съ нехристіанскимъ пониманіемъ Христа и Воскресенія. Замѣчательно, что цѣлый рядъ русскихъ писателей вслѣдъ за Толстымъ готовы принять такое «жалостливое» толкованіе Евангелія. И А. М. Ремизовъ врядъ ли свободенъ здѣсь отъ вліянія Толстого.

побѣдѣ; здѣсь та ветхозавѣтная, и въ то же время— языческая, миническая, магическая, колдовская и сказочная— до-историче ски-первобытная— «сѣнь смертная», гдѣ Христосъ еще не воскресъ.

Трудно человъку нашего времени, нашихъ испытаній и страданій пребывать въ этой «съни» тьмы и страха, муки и жалости. Еще труднъе найти художественный актъ для этого предмета и создать художественные образы для его воплощенія. Тутъ насъ стерегутъ соблазны и опасности. И первый соблазнъ въ томъ — чтобы усвоить актъ художественной вседозволенности. И первая опасность въ томъ, что возникнетъ убъдительное воплощеніе тьмы и страха, и не создастся убъдительное воплосшеніе свъта, любви и побълы...



# ТВОРЧЕСТВО И.С. ШМЕЛЕВА.

«И пришло это сіяніе черезъ муку и скорбь . . .»

Шмелевъ.



### и. С. ШМЕЛЕВЪ.

I.

У каждаго народа есть въ душѣ таинственная, подпочвень ная глубина,—послѣдній источникъ его творчества и его духовности. Эта глубина таинственна и по происхожденію своему, и по содержанію. Обычно люди не замѣчаютъ ея — они просто жив вутъ ею, такъ, какъ если бы она была незримымъ для нихъ возгдухомъ ихъ дыханія, или неосязаемымъ, внутренно излучающим ся изъ нихъ свѣтомъ ихъ жизни. И можетъ быть даже — это не они живутъ ею, а о на живетъ ими, дышитъ, погетъ, стонетъ, молится и созидаетъ черезъ нихъ...

Эта глубина недоступна разсудку. Для него она закрыта мглою; настолько, что онъ обычно не знаетъ о ней ничего и когда слышить о ней, то изумляется и отрицаеть ея бытіе. А между тъмъ, она-то и есть самое существенное въ жизни человъка и народа. Она несетъ подпочвенныя воды его созерцанія и его творчества. Она имъетъ свой особый національный укладъ, свой творческій «зарядъ», свой ритмъ, свои законы, свою исто» рическую судьбу. И напрасно думать, что здъсь жилище однъхъ его страстей и темныхъ влеченій: что мгла, скрывающая ее отъ дневного разсудка, составляетъ самую природу ея, - темную, непрозрачную, сльпую, грьховную и лишенную духа: нькій под земный «адъ», страшный, страстный и неподдающійся никакому учету. Нътъ, въ этой сферъ заложены не только силы національнаго инстинкта, но и корни національнаго духа; и притомъ такъ, что страстность и духовность пребываютъ здъсь искони въ нъкоторомъ соединеніи, сращеніи, которое въ значительной степени предопредъляетъ всю дальнъй: шую судьбу народа. Такъ, въ молитвъ, въ художествъ, въ люб» ви, въ чувствъ права, въ храбрости, въ любознательности, каждый народъ не только страстенъ, но и духовенъ; не только духовенъ, но и страстенъ; онъ творитъ не только духомъ, но и инстинктомъ; и когда онъ работаетъ, болветъ, рожаетъ и умираетъ, то онъ напрягается всемъ своимъ существомъ, —и духовными коря нями своего инстинкта, и инстинктивными источниками своей духовности: всемъ своимъ составомъ, укладомъ, творческимъ ак-

Какая радость, какое богатство — подслушать національнодуховный актъ своего народа и вѣрно изобразить его! Внять ему, принять его и утвердить его, какъ основу своего — лична» го и обще-національнаго бытія..; художественно или филосо» фически закрѣпить его; показать творческій укладъ своего народа; какъ бы очертить его ликъ въ обращеніи къ Богу и нариговать его духовный «портреть» въ отличеніе отъ другихъ нагродовь... Это есть дѣло трудное, но совершенно необходимое для національнаго самоопредѣленія и самоутвержденія; дѣло, требующее и любви, и огня, и прозорливости, и особаго, неописуемаго «медіумизма»: срастворенія и самоотреченія, безсознательной разсредоточенности и повышенной предметной чуткости; и, конечно, вдохновенія... Вся русская художественная литература служить этому дѣлу. И вотъ, свое, глубокое, предметновыстраданное и непреходящее слово говорить о русскости русскаго народа — искусство Шмелева.

Шмелевъ есть прежде всего – русскій по строенію своего художественнаго акта, своего созерцанія, своего творчества. Въ то же время онъ – п в в е ц ъ Рос сі и, изобразитель русскаго, исторически сложившагося душев» наго и духовнаго уклада; и то, чго онъ живописуетъ, есть русскій человькъ и русскій народъ, - въ его подъемь и въ его паденіи, въ его силь и его слабости, въ его умиленіи и въ его окаянствъ. Это русскій художникъ пишеть о русскомъ естествъ. Это національное трактованіе національнаго. Й уже тамь, дальше, глубже, въ этихъ узрънныхъ національныхъ образахъ рас» крывается та художественно-предметная глубина, которая открыла Шмелеву доступъ почти во всѣнаціональныя литературы ... Это естественно и законом врно: только черезъ національное служеніе духъ можетъ достигнуть сверхнаціональной значительностии мноя гонаціональнаго признанія. Прежде всего надо быть, а не «казаться» и не «славиться»; ибо кажущееся легко исчезаеть и слава слишкомъ часто состоитъ изъ пыльнаго смерча. Надо быть - страстно, искренно ц ѣ л ь н о; тогда невольно и непроизвольно осуществится на ціональное художество, и, если оно будеть предмет нымъ, то многонародное признание придетъ само собою, и, притомъ, не въ видѣ мнимой и пыльной «извѣстности», а въ формахъ прочныхъ и окончательныхъ.

Иванъ Сергѣевичъ Шмелевъ (род. 1873) — бытописатель русскаго національнаго акта. Своимъ художественнымъ чутьемъ, своимъ какъ бы медіумически и какъ она вышла на дорогу духовнаго величія и государственно-культурнаго великодержавія; онъ знаетъ, откуда она извлекала воды своей жизни, чѣмъ она крѣпила свою волю и свое терпѣніе, и какъ она превозмогала свои бѣды и опасности.

Исторія Россіи есть исторія ея страданій и скорби, исторія ея нечелов в ческих в на пряженій и одинокой борьбы. Это бремя она несеть нынь — вторую тысячу льть; и справляется она сь нимь только благодаря своему дару вовлекать свой инстинкть въдуховное гор вніе и прожигать свое страданіе огнемъ

м о л и т в ы. Отсюда ея терпѣніе и выносливость; отсюда ея способность не падать духомъ и не отчаяваться, несмотря на неудачи и крушенія; отсюда ея умѣніе строго судить свои дѣла и возрождаться на пепелищѣ; отсюда творческая чистота ея воли. Россія «омаливала» свою жизнь и свою культуру, свою душу и свою государственность, такъ, что во всѣхъ «садахъ» и «щеляхъ» ея быта «стелились» «пѣтыя», — незримыя и неслышныя, — молитвы. 1) Ими она и спасалась. Ибо молитва есть сосредоточенное горѣніе души; она есть восхожденіе души къ истинной, все превозмогающей реальности; и дѣйствіе ея отнюдь не прекращается съ ея окончаніемъ, но всегда льетъ свой таинственный свѣтъ, свою осязаемую силу на всю жизнь человѣка и народа.

Въ этомъ духѣ пребываетъ творчество Шмелева. Изъ него онъ поетъ и повѣствуетъ; въ немъ онъ страдаетъ и молится.

Это не случайно, что Шмелевъ родился и выросъ въ Москвѣ, проникаясь отъ юности всѣми природными, историческими и религіозными ароматами этого дивнаго города. Люди вообще напрасно думають, что каждому изь нихъ доступно только то, что прошло черезъ сознательные слои его «дневно» го» опыта. Неизслѣдимо и неописуемо присутствують въ каже домъизънасъ въянія на слъдственно окя ружающей насъ природы, дыханіе на шей національной исторіи, потомст≈ венно намоленныя въ душѣ религіоз: ныя сокровища духа. Все это какъбы дремлетъ подъ сводами нашего душевнаго подземелія; и только ждетъ своего часа для подъема и обнаруженія. И въ этотъ часъ, ког да приходитъ въ движеніе родовая глубь личной души, человъкъ испытываетъ себя скорбно-и-радостно-древнимъ, какъ если бы въ немъ ожили и зашевелились его безвѣстные, но столь близкіе ему предки, ихъ нравы и слова, ихъ грѣхи и подвиги, ихъ бѣды и побѣды; какъ если бы въ немъ проснулось нѣкое историческое ясновидѣніе, доселѣ сосредоточенно молчавшее или разсредоточенно - дремавшее въ глубинѣ его души, — просну лось и раскрыло ему сразу: и глубину прошедшаго, и глубину его собственной личности. И вотъ, - все живо, все трепетносвъжо, все заливаетъ душу скорбью былыхъ страданій и радостью новаго вѣдѣнія.

Есть древніе города, молчаливо накапливающіе въ себѣ эти природно - историческія и исторически-религіозныя вѣянія. Въ ихъ стѣнахъ и башняхъ, въ ихъ дворцахъ и домикахъ безмолвь но присутствуетъ духъ ихъ строителей; и стогна ихъ хранятъ отзвучавшіе звуки шаговъ и голосовъ всенародной, то мятущейся, то ликующей толпы. Ихъ Кремль есть живая повѣсть былыхъ осадъ и былого геройства. Ихъ храмы и соборы суть живыя, разъ навсегда всенародно вознесенныя молитвы. И самые холмы ихъ, — не то дары природы, не то могильные курганы, не то крѣпкіе символы государственной власти, — говорятъ о бывшемъ, какъ о сохранившемся навѣкъ. И не тѣ же ли старог

<sup>1)</sup> Шмелевъ. «Лъто Господне». 91 – 92.

давнія рѣки струятся и нынѣ подъ ихъ мостами? Не тѣ же ли дубы и сосны молчали ушедшимъ предкамъ? И не о забвеніи, а о вѣчной памяти шепчетъ трава въ ихъ садахъ.

Шмелевъ не даромъ родился и выросъ въ Москвѣ, гдѣ русскій духъ началъ гнѣздиться и роиться, и накапливать свои богатства, — и нетлѣнныя, и исчезновенныя, — съ девято-десятаго вѣка; ¹) — въ этомъ стародавнемъ колодцѣ русскости и притомъ великорусской русскости, въ этомъ великомъ національномъ «городищѣ», гдѣ сосредоточивались наши коренныя силы, гдѣ тысячу лѣтъ бродило и отстаивалось вино нашего духа, — въ этомъ ключевомъ колодцѣ, вокругъ котораго нынѣ, какъ и встарь, —

«И смолой и земляникой Пахнетъ темный боръ» (графъ А. К. Толстой).

Вотъ откуда у Шмелева эта національная почвенность, этотъ неразвѣянный, нерастраченный, первоначально-крѣпкій экстрактъ русскости. Онъ пишетъ какъ бы изъ подземныхъ пластовъ Москвы, какъ бы изъ ея вѣковыхъ подваловъ, гдѣ откалываются старинные бердыши и первобытныя монеты. Онъ знастъ, какъ жилъ и строился первобытный русскій человѣкъ. И, читая его, чувствуещь подъ часъ, будто время вернулось вспять, будто живетъ и дышитъ передъ очами исконная Русь, ея израненная исторіей и многострадальная, но истовая и вѣрная себѣ, пѣвучая и талантомъ неистощимая душа.

2.

Шмелевъ происходитъ изъ старой замоскварѣцкой купеческой семьи, зажиточной, но не богатой. Предки его принадлежали въ XVII вѣкѣ къ московскимъ старообрядческимъ кругамъ и славились, какъ знатоки вѣры и начетчики писанія. Они участвовали въ тогдашнихъ раскольничьихъ преніяхъ и стойко боролись за свою правую вѣру. Ихъ кровь говоритъ въ его писаніяхъ. Ихъ родовая память оживаетъ въ немъ, когда онъ, малюткой, смотритъ на Московскій Кремль съ Большого Каменнаго Моста.

«Что во мнѣ бьется такъ, наплываетъ въ глазахъ туманомъ? Это — мое, я знаю. И стѣны, и башни, и соборы... и дымныя облачка за ними, и эта моя рѣка, и черныя полыньи, въ ворогнахъ, и лошадки, и зарѣчная даль посадовъ... — были во мнѣ всегда. И все я знаю. Тамъ, за стѣнами, церковка подъ бугромъ, — я знаю. И щели въ стѣнахъ-знаю. Я глядѣлъ изъ за стѣнъ... когда?... И дымъ пожаровъ, и крики, и набатъ... все помя

<sup>1)</sup> См. И. Е. Забълинъ. «Исторія Города Москвы». Стр. 5. Москва. 1905.

ню! Бунты, и топоры, и плахи, и молебны . . . — все мнится былью . . . — будто во сн $^{+}$  забытомъ» . . .  $^{1}$ )

Но для Шмелева это не сонъ, а живая реальность; не «регальность» полувыдуманныхъ героевъ въ полуисторическихъ рогманахъ, 2) но художественное бытіе простыхъ и въ то же время страстныхъ и нѣжныхъ русскихъ людей, — страдающихъ и молягщихся, даровитыхъ и несчастныхъ, мятущихся и ищущихъ. Когда онъ пишетъ, — онъ «просто» слушаетъ, какъ растетъ трава русскаго бытія, какъ стонетъ и поетъ русская душа; и тотъ, кто знаетъ требованія истиннаго художества, сможетъ оцѣнить «простоту» этого слушанія и этого повѣствованія.

Художественное творчество Шмелева началось рано, еще въ гимназическіе годы. Въ 1898 году онъ кончаетъ Московскій Университеть по юридическому факультету; затымь работаеть полтора года въ качествъ помощника присяжнаго повъреннаго и нъсколько лътъ служитъ во Владимірской губерніи по финансовому в'єдомству. Это годы внутренняго отстоя, созр'єванія, какъ бы ожиданія. Съ 1907 года художество овладъваетъ имъ окончательно. Онъ не примыкаетъ ни къ какому «направленію», — ни литературному, ни политическому. Онъ не можетъ, не умъетъ, не смъетъ быть «партійнымъ». Онъ всю жизнь идетъ не за «лозунгами» и не за «программами»; онъ слѣдуетъ не за чужимъ и не за внъшнимъ, а за своимъ и за внутреннимъ. Онъ повинуется ночнымъ голосамъ своего художественнаго вѝдѣнія. Въ немъ живутъ внутренніе источники, которые поютъ ему и зовуть его; и часто бываеть такъ, что «дневной», сознательный Шмелевъ не можетъ выразить словами этихъ пѣсенъ и кликовъ. Соотвътственно съ этимъ онъ не можетъ писать ни по заказу. ни по произволу. Онъ не выбираетъ самоуправно «тему» или «зерно» своего повъствованія; и не отъ него зависить его творя ческій путь. Онъ можеть писать только тогда, когда въ немъ созрѣваетъ предметный замыселъ, созръвшее начинаетъ облекаться въ образы, когда одержа> щіе его образы начинають требовать словесной запис и. Иногда это происходить въ видь нежданнаго взрыва, вторгающагося въ жизнь дневного сознанія и ломающаго всю его очередные разсчеты...

Вотъ что онъ самъ разсказываетъ о своемъ первомъ произведеніи, появившемся въ печати.

«Лѣто передъ восьмымъ классомъ я провелъ на глухой рѣчушкѣ, на рыбной ловлѣ. Попалъ на омутъ у старой мельницы. Жилъ тамъ глухой старикъ, мельница не работала. Пушкинская «Русалка» вспомнилась. Такъ меня восхитило запустѣнье, обрывы, бездонный омутъ, съ «сомомъ», побитыя грозою, расщепленныя ветлы, глухой старикъ — изъ «Князя Серебрянаго» мельникъ!... Какъ то на ранней зоръкѣ, ловя подлещиковъ, я тре-

<sup>1) «</sup>Лѣто Господне». Стр. 33.

<sup>2)</sup> Какъ у Лажечникова, Загоскина, Всеволода Соловьева, Мережковскаго и другихъ.

вожно почувствоваль... — что то во мнѣ забилось, заспѣшило, дышать мѣшало. Мелькнуло что то, неясное. И — прошело. Забыль... И вдругъ, въ самую подготовку на атестатъ зрѣелости, среди упражненій съ Гомеромъ, Софокломъ, Цезаремъ, Виргиліемъ, Овидіемъ Назономъ... — что то опять явиелось... Не Овидій ли натолкнулъ меня? не его ли «Метаморефозы» — чудо? Я увидалъ мой омутъ, мельнипу, разрытую плотину, глинистые обрывы, рябины, осыпанныя кистями ягодъ, дѣда... Ж и в ы е,—они пришли и в з я л и. Помню,—я отешвырнулъ всѣ книги, задохнулся... и написалъ — за вечеръ! — большой разсказъ»...

Это и быль разсказь «У мельницы» появившійся затьмь вь «Русскомь Обозрьніи».

Въ этомъ воспоминаніи, въ этомъ первомъ творческомъ порывѣ — все характерно: и первое «зачатіе» художественнаго предмета въ самозабвенномъ уединенномъ созерцаніи; и нити, ведущія къ образамъ Пушкина и графа А. К. Толстого; и свиду безслѣдное исчезновеніе «зерна» въ тайникахъ вынашивающей художественной «утробы»; и его самочинное, несвоевременное, но властное всплываніе съ требованіемъ немедленной записи; и эта образная обстановка перваго «зачатія», вызываемая Овидіемъ и создающая образную ткань разсказа; и символы «б е з д о не н а г о о м у т а» и «г л у х о г о з а п у с т ѣ н і я», изъ котораго (и внѣшне! и внутренно!) возникаетъ художественное произведеніе. «Живые» образы сами «пришли и взяли». Не хуг дожникъ ихъ взяль, а о н и е г о: зародились, исчезли, созрѣли, вернулись и взяли, у омута возникшіе, изъ «омута» рожденные...

Такъ со Шмелевымъ было всегда. Онъ вообще можетъ писать только тогда, когда «на него находить», когда имъ овладья вають, по слову Боратынскаго, «неосязаемыя власти». Пока «гроза» не проходить, или пока она только надвигается, онъ мол: чить: хуложественный предметь медленно зрветь въ недосягаемомъ для личнаго произвола душевномъ омутѣ, самъ развертыя вается изъ первоначальнаго «зерна», облекается въ образы и т. д. Такой художникь не можеть писательствовать изо дня вь день. или профессіонально «поставлять» литературу. Онъ можеть пи сать только тогда, когда его зоветь созрѣвшая художественная «тема», когда его «осѣняетъ», когда приходитъ вдохновеніе или ногда онъ чувствуетъ въ душћ нѣкую, таинственную для него самого, духовную одержимость. Тогда все горить и цвьтеть: тогда потокъ прорывается и затопляеть пространстя во души; тогда душа поетъ, въ ней стоны, и вздохи, ликованіе и молитва; тогда въ ней, какъ со дна моря, поднимается цѣлый островъ художественнаго бытія.

Именно этимъ объясняется то замѣчательное обстоятельсть во, что Шмелевъ, послѣ своего перваго, полудѣтскаго произведенія, промолчалъ цѣлыхъ десять лѣтъ и не написалъ ни одного художественнаго произведенія съ 1895 по 1905 годъ, какъ если бы это совсѣмъ не онъ былъ озаренъ, и потрясенъ, и творчески осчастливленъ. У настоящаго художника вдохновеніе не

можеть горѣть въ душѣ «всегда». Оно должно «проховдить», исчезать, котя бы для того, чтобы опять вернуться. Нельзя пребывать слишкомъ долго въ этомъ творческомъ напряжении, въ этомъ трепетѣ художественнаго ясновидѣнія. Восторженное чувство власти, богатства, побѣднаго звона, избыточной полноты (плэромы) въ вѝдѣніи, слышаніи, чувствованіи и мышвленіи— непремѣнно должно прекращаться; и тогда душа, потрясенная и обожженная своимъ собственнымъ воспламененіемъ, вѣрнѣе огнемъ художественность, которая кажется ей унылой и темной, и гдѣ она пребываетъ въ кажущейся томительной пусстотѣ и растерянномъ томленіи. Такъ было вѣдь и у Пушкина...

И, можеть быть, художникь самь себ'в представляется въ это время ч'ямь то въ род'в сокрушившагося Икара или разрушеннаго жертвенника...

Эта чисто артистическая черта стала особенно характерной для Шмелева послѣ того, что онъ видѣлъ и испыталъ въ Крыму во время революціи. Предчувствіе надвигающейся катастрофы давно уже зарождалось въ его душѣ. Еще въ 1913 году онъ пишетъ большую бытовую поэму «Розстани» 1), образы которой вздыхаютъ вздохами отпѣванія и разлуки. Русскій, крестьянскокупеческій бытъ цвѣтетъ еще во всемъ своемъ обиліи и скудости, во всемъ своемъ жестокосердіи и умильномъ мягкосердечіи, но гдѣ то за нимъ, глубже, чуется нѣкая рыхлость, неупроченность и шаткость, какъ бы грядущая разлука, съ чѣмъ? Тревожные общественно-бытовые сдвиги вскрыты и въ «Распадѣ» и въ «Человѣкѣ изъ ресторана» (1910). А въ 1916 году въ «Ликѣ скрытомъ» предчувствіе крѣпнетъ и получаетъ пророческій отътѣнокъ.

Въ іюнъ 1918 года Шмелевъ покидаетъ центральныя губер: ніи и переселяется въ Крымъ, гдв и живетъ въ своемъ домикъ до 1922 года. Здѣсь коммунисты разстрѣливаютъ его единствен» наго, нъжно любимаго сына. Онъ видълъ своими глазами все: и борьбу бѣлыхъ, и отхолъ ихъ подъ водительствомъ Врангеля и вступленіе красныхъ 2), онъ видѣлъ свирѣпый терроръ комму» нистовъ, имущественный передълъ <sup>3</sup>) опустощение страны и голодъ, отъ котораго все слабое вымерло въ теченіе одного года. Крымъ вы метался «жельзной метлой революціи». Видьнное Шмелевь и описаль въ своей потрясающей душу «эпопев» «Солнце Мерт» выхъ», которая навсегда останется однимъ изъ самыхъ значи» тельныхъ и глубокомысленныхъ историческихъ памятниковъ на» шей эпохи. Въ 1922 году Шмелевъ вернулся изъ Крыма въ Москву и по дорогь какъ бы подвель великій итогь первымъ пяти годамъ революціи. Печататься онъ не могъ. Онъ увидълъ, что въ этой адской плавильнь онъ будеть обреченъ на многолътнее безмолвіе; онъ поняль, что не см веть молчать

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Перепечатана въ сборникѣ «Родное». Русская Библіотека. № 32. Бѣл $^{\circ}$ градъ. 1931.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. разсказъ «Гунны» въ сборникъ «Свътъ Разума» (изд. Таиръ).
<sup>3</sup>) Срв. разсказъ «Два Ивана» въ сборникъ «Про Одну Старуху» и особенно «Солнце Мертвыхъ».

о томъ, что ему открылось, — и уѣхалъ заграницу. За грания цей онъ создалъ весь рядъ своихъ дальнѣйшихъ произведеній.

Гранью революціи и ея трагическаго опыта творчество Шмелева дѣлится (условно и приблизительно) на два періода, отдѣленные другь отъ друга не рѣзкимъ переворотомъ, а медленнымъ, глубокимъ поворотомъ. Этотъ поворотъ совершался на протяженіи нѣсколькихъ лѣтъ и протекалъ органически, въ жизненномъ страданіи и умудреніи.

Первый, ранній періодъ характеризуется расцвътомъ об разнаго таланта. Этоть таланть изживаеть себя въ бытовыхъ описаніяхъ, съ преобладаніемъ эпическаго тона, съ нѣкоторой склонностью къ сенти ментально му лиризму и съ затаеннымъ трепетомъ передъ трагедіей мірозданія. Шмелевь «пишеть Россію», въ ея шири и спокойной истовости, въ ея отстоявшемся, но уже растревоженя номъ и пошатнувшемся укладъ, въ ея душевной чуткости и непосредственно - философической, наивной созерпательности. Въ этихъ образахъ, за этими изображеніями ощущается творческая душа острой и глубокой чуткости, способная уловить нъжнъй шія чувства человъка, но не нашедшая еще художественнаго предмета, который потребоваль бы всей этой чуткости и быль бы достоинь ея пред 5 льных в напря женій. Соотвътственно этому и самый предметь раннихъ произведеній Шмелева не столь господствуеть надъ своими образами и не поднимается до того зрълаго полновластія, какъ это мы видимъ въ произведеніяхъ второго періода. Страданіе человъка остается здъсь еще въ предълахъ быта, бытового горя, бытовыхъ волненій и не вступаетъ въ ту сферу бытія, гдъ выступаетъ болъе-чъмъ-человъческое или даже сверхъ-чело» въческое содержаніе, возводящее душу на уровень міровой скорби.

Сюда относятся: «Распадъ», «Гражданинъ Уклейкинъ», «Волячій Перекатъ», «Мэри», «Мой Марсъ», «Человъкъ изъ Ресторана», «Розстани» и рядъ другихъ разсказовъ.

Второй періодъ характеризуется расцвітомъ предметя наго созерпанія. Все прежнее искусство Шмелева не только не блѣднѣеть, но достигаеть высокой и чрезвычайной зрѣлости: гибкость и выразительность языка, яркость образа, острота видѣнія, мастерство стиля, — все совершенствуется. Но все это теряетъ свою самостоятельность, подчиняясь до конца Главному, художественному предмету, становясь его върнымъ и покорнымъ орудіемъ. Бытъ насыщается бытіемъ. Эпическое повъствованіе пріобрътаеть необычайную значительность и пророческій полеть. Все насыщается предмет» нымь чувствомь, не оставляющимь мъста для сентиментальности. Лиризмъ углубляется и утончается. Трагическій элементъ выступаетъ на первый планъ и окрашиваетъ все въ свои тона. Художественное видъніе находить великіе и глубокіе предметы; предмету строится весь ставъ произведенія. Въ испытаніяхъ, потрясе≈ ніяхъ и страданіяхъ революціонной эпохи мастерство Шмелева достигаетъ своей настоящей высоты и создаетъ свои лучшія веши.

Къ этому періоду относятся «Неупиваемая Чаша»; «Солне це Мертвыхъ»; сборники: «Про одну Старуху» и «Свѣтъ Разуема»; «На Пенькахъ»; «Лѣто Господне»; «Богомолье»; романы: «Исторія Любовная», «Няня изъ Москвы», «Куликово Поле» и цѣлый потокъ небольшихъ разсказовъ, захватывающихъ душу своею значительностью и художественностью.

Изслѣдованіе этого мастерства въ его художественныхъ основахъ устанавливаетъ, что всѣ особенности его уже имѣлись на лицо въ произведеніяхъ перваго періода; что всѣ созданія Шмелева несомы е динымъ духомъ и е динымъ с о з е р цаніемъ; что художественный актъ его созрѣвалъ, углублялся и уравновѣшивался, но не мѣнялся и не перестраивался, какъ это было у Льва Толстого. Шмелевъ, какъ художникъ, есть единый духовный организмъ, который можно изслѣдовать во всемъ его единствѣ безъ большихъ поправокъ «на эволюцію».

Къ этому изслъдованію я теперь и обращаюсь.

## 3.

Начинаю съ эстетической матеріи, — со словесной ткани. Словесная ткань его произведеній въ высшей степени свое» образна и значительна. При этомъ она настолько обусловлена строеніемъ его художественнаго акта и такъ связана съ образнымъ составомъ и предметнымъ содержаніемъ его произведеній, что открываетъ естественнѣйшій и лучшій доступъ къ его искусству. Вотъ признакъ истиннаго литературнаго мастерства: стиль оказывается вѣрнымъ и властянымъ дыханіемъ акта, образа и предямета.

Тоть, кто прочтеть одно изъ зрѣлыхъ произведеній Шмеглева, тоть никогда не сможеть забыть его, настолько ему присуще умѣніе овладѣвать вниманіемъ читателя, вовлекать его въ показываемый ему міръ и приводить всю его душу въ состояніе напряженнаго видѣнія.

Но, произнося эти слова, я имѣю въ виду только настоя щаго читателя, ¹) т. е. созерцателя съ открытой душой, съ по слушнымъ, гибкимъ актомъ, съ живымъ сердцемъ, не боящимся сгорѣть въ огнѣ художества. Напротивъ, человѣку съ замкну той душой, который не желаетъ пускать художника въ свою глубину; самодовольному и сухому педанту, который не можетъ или не хочетъ покидать свое обычное «жилище»; или тому, кто имѣетъ для искусства только холодное, чисто бытовое или эротически - любопытное воображеніе, предоставляя художнику

<sup>1)</sup> См. Введеніе.

играть съ нимъ или забавлять его, — такому человъку не удасте ся воспринять Шмелева, какъ не удастся ему воспринять ни Достоевскаго, ни Э. Т. А. Гофмана. И, можетъ быть, было бы лучше, если бы онъ совсъмъ не читалъ Шмелева и, главъ но е, воздержался отъ сужденій о немъ. Напротивь, тотъ, кто отдаетъ художнику и сердце, и волю, и свою нѣжность, и свою силу, — всю свою душу, какъ покорную, лѣпкую и держкую глину («вотъ, молъ, я — довъряюсь тебъ, бери, твори и лѣпи»!), тотъ очень скоро почувствуетъ, что Шмеглева надо не только серьезно и отвътственно читать, но что его необходимо прежде всего принять въ свое хугдожест венное сердце.

Настоящій художникь не «занимаєть» и не «развлекаєть»: онь овлад в ваеть и сосредоточиваєть. Довърившійся ему читатель самь не замьчаєть, какь онь попадаєть вы нькій художественный водовороть, изь котораго выходить духовно заряженнымь и, можеть быть, обновленнымь. Онь очень скоро начинаєть чувствовать, что вы произведеніяхы Шмелева дьло идеть не болье и не менье, какь о человь ческой судьбь, о жизни и смерти, о послъднихь основахь и тайнахь земного бытія, о священы ны хъ предметахь; и, притомь, — что самое удививительное, — не просто о судьбь описываємыхь персонажей (сь которыми «что то», «гдь то», «когда то» «случилось»), а о собественной судьбь самого читателя, необычайнымь образомь настигнутаго, захваченнаго и вовлеченнаго вы какія то событія.

Откуда возникаеть это чувство, читатель, можеть быть, пойметь не сразу. Но это чувство глубокой, кровной вовлеченности въ ткань разсказа, и, болье того, въ какое то великое и сложное обстояніе, — разъ появившись въ его душь, уже не исчезаеть. И, если онъ попытается объяснить себь силу этого захвата и вовлеченія, то первое, на чемь онъ остановится, будеть языкъ и стиль Шмелева, т. е. «эстетическая матерія» его искусства. Но не потому, что сила Шмелева исчерны вается его языкомь, а потому, что этоть языкъ насыщень до отказа жизнью художествень ныхъ образовь и властью художествень наго предмета.

Стиль Шмелева приковываеть къ себѣ читателя съ первыхъ же фразъ. Онъ не проходить передъ нами въ чинной процессіи и не бѣжитъ, какъ у иныхъ многотомныхъ романистовъ, безконечнымъ приводнымъ ремнемъ. Мало того, онъ не ищетъ читателя, не идетъ ему навстрѣчу, стараясь быть яснымъ, «изящнымъ», «увлекательнымъ». Онъ какъ будто даже не обращаетъ вниманія на читателя, — говоритъ м и м о него, такъ, какъ если бы его совсѣмъ и не было. Читатель міновенно чувствуетъ, что здѣсь не въ немъ дѣло, что онъ «не важенъ»: съ нимъ не заговариваютъ («любезный читатель!»), какъ бывало у Тургенева; его не заинтриговываютъ, какъ у Лѣскова; его не поучаютъ, какъ любилъ Л. Н. Толстой; ему даже не повѣсть

вують, какъ дълаль Чеховъ. Нътъ, – при немъ что то происходить, и ему, воть, случайно посчастливилось присутствовать: не то подслущать чужой разсказь о бывшемъ событіи 1) или о потокъ событій, 2) не то услышать взволновань ную исповъдь незнакомаго ему человъка, <sup>3</sup>) а, можетъ быть, прочесть чужое письмо. 4) Это вводить его сразу «in medias res». Однако и тамъ, гдъ эта «разговорная» форма отсутствуетъ, чи: татель вводится прямо въ гущу событій, такъ, какъ если бы событія развертывались сами на его глазахъ. <sup>5</sup>) Ему дается сразу присутствія, чувство включен: воспріятіе объективности: ности. добіе театра, но безъ всякой театральности: «оно» «совершает» ся», а ему дана возможность видъть и слышать. Иногда онъ «включается» въ потокъ – даже на полъ-словъ. 6) Всъ «преди» словія», сообщающія о томъ, кто, когда, гдѣ, по ка= кому случаю разсказываль, 7) о пущены: читатель окунается сразу въ «струю» или даже въ «омутъ», и долженъ догады» ваться, «оріентироваться», соображать самостоятельно: «его настигло»; «началось»; «ему дается»; какъ онъ «вправится» и «войдеть» въ эти струи – это уже его личное дѣло. И, мо= жеть быть, онь почувствуеть себя въ первый мигь оглушен» нымъ и растеряннымъ...

Если читатель не отдается этому потоку, не наполняеть его мгновенно силами своего воображенія и чувства, а пробуетъ читать эти фразы сдержанно, объективно, подъ рядъ, то онъ скоро замъчаетъ, что ему далеко не все понятно. Онъ не можеть уловить, ему не удается следить: что здесь? къ чему? откуда это? какая связь? - какіе то клочья! обрывки! восклицанія . . . <sup>8</sup>)

Но если читатель заполнить эти слова энергіей своей души, вчувствуется въ состояние разсказчика, раскроетъ свое серд» це и отдастъ свое воображение, – то онъ вдругъ почувствуетъ, что эти слова какъ будто срываются со страницъ книги, впиваются ему въ душу, потрясають ее и обжигають, и воть, превя ращаются въ стоны, въ драматическія восклицанія, въ художе: ственно - убъдительныя, точныя выраженія, идущія изъ душев» ной глубины; - какъ если бы клоки трепетной страдающей жизни были «пришпилены» этими словами къ страницѣ...

3) Напр. «На пенькахъ», «Человъкъ изъ ресторана».

4) «Письмо молодого казака».
5) «Солнце мертвыхъ», «Лѣто Господне», «Богомолье» и др.

7) Срв. у Тургенева: «Андрей Колосовъ», «Три портрета», «Жидъ», «Первая Любовь», «Собака», «Исторія Лейтенанта Ергунова», «Несчастная», «Степной Король Лиръ», «Стукъ!... Стукъ!... Стукъ!...», «Разсказъ отца Алексъя».

<sup>1)</sup> Напр. «Про одну старуху», «Марево», «Сила» и др.
2) Напр. «Няня изъ Москвы», «Исторія Любовная», «Пути Небесные».

б) «Про одну старуху», «Человъкъ изъ ресторана», «Марево», «Няня изъ

<sup>8)</sup> Чтобы убъдиться въ этомъ, стоитъ только прочесть безъ вчув ствованія первыя поль-страницы «Человъка изъ ресторана» или «Про одну старуху», и затъмъ, вникнувъ и вчувствовавшись, произнести ихъ вслухъ въ процессъ художественнаго чтенія.

Отдаваясь этому стилю, вы чувствуете, что онъ заставиляеть васъ пѣть вмѣстѣ съ собой, нестись впередъ, спотыкаться, вскакивать, опять нестись, вскрикивать, взвиваться, обрушиваться и обрывать разсказъ отъ отсутствія воздуха... Онъ с т р аг с т е н ъ; и требуетъ страсти отъ васъ. Онъ п ѣ в у ч ъ; и заставляетъ васъ пѣть вмѣстѣ съ собою. Онъ н а с ы щ е н ъ; и требуетъ отъ васъ напряженія всѣхъ силъ. Онъ с т р а д аг е т ъ; и вы не можете не страдать вмѣстѣ съ нимъ. Онъ овгладѣваетъ вами. И если вы не оторветесь отъ него, то онъ перрельетъ въ васъ все, что въ немъ заложено.

И при всемъ томъ языкъ Шмелева простъ. Всегда народенъ. Часто простонароденъ. Такимъ языкомъ говоритъ или народная русская толща, или вышедшая изъ народа полу-интеллигенція, часто съ этими, то маленькими, то большими неправильностями, или искаженіями, которыя совсьмь не переводимы на другіе языки, но которыя по русски такъ плавно закруглены, такъ мягки и сочны, такъ «желанны» въ народномъ произношеніи. Въ этомъ языкъ звучитъ и поетъ открытость русской души, простота и доброта русскаго сердца, эмоціональная подвижность и живость воображенія, присущія русскому народу. И вдругь этотъ столь добродушно-раздивчатый, сочный языкъ становится жест≠ кимъ, сосредоточеннымъ, пріобрътаетъ кръпость, ядреность, гнъвность, идеть бросками, швыркомь, свайкой, ръжеть, колеть и однимъ ударомъ загоняетъ въ душу точныя, безпощадныя формулы... съ тъмъ, чтобы опять распуститься въ ту неописуемую пъвучую доброту и ширину, въ которой вотъ уже столько въ ковъ купается русская душа... И все это течетъ, сыплется и вспыхиваетъ съ такой естественностью и непосредственностью, такимъ цалостнымъ, несмотря на свою задыхающуюся разорван» ность, самотекомъ, какъ если бы это была не словесная ткань искусства, а подслушиваемая вами, реально-живая, словесно-звучашая дъйствительность.

Чьмь глубже вы будете вчувствоваться въ этотъ языкъ и въ этоть стиль, тъмъ скоръе вы замътите за этимъ величайшимъ, непосредственнымъ простодушіемъ, за этой без≉ завътной искренностью — цылую летучую, то сгущающуюся, то разрѣжающуюся стихію глубоко мыслія, иногда укрытую за простой, нежданно-естественной игрой словъ... И не то — это игра словъ, не то лучикъ острой, чуть сверкнувшей мысли, не то глубокое прозрвніе... Но произносится это всегда съ большой наивной серьезностью, какъ если бы самъ разсказчикъ (не авторъ!) – не – до – по няль или пере — поняль обиходное словечко, такъ, можетъ быть, въ видѣ «недоразумѣнія», а изъ этого «недоразу≈ мѣнія» вдругъ сверкнуло міросозерцающее, — иногда нравствен» ное или политическое, а подчасъ и религіозно-мистическое - глуя бокомысліе . . .

«Театральщики, ужъ извъстно, какой народъ... в с е, будто, по нарошку имъ, представляютъ и представляютъ»...¹)

<sup>1) «</sup>Няня изъ Москвы». Гл. Х. Разрядка принадлежить мнъ. И. А. И.

«А старуха въ ноги ему: – Прости, сынокъ, Христа ради... сирота я слабая, безначальная... Погибаю»...<sup>1</sup>)

«Ну, приходить къ нему въ волость, въ побѣдный

ихъ комитетъ» . . . <sup>2</sup>)

«Не имъю права. У насъ теперь прикосновеніе личности. А пустяками не безпокойте, у насъ дъла спепіальныя». <sup>8</sup>)

«А теперь старое помнить – гръхъ, всъ мы какъ потонули, будто ужъ на томъ свътъ»... «Каждый, говоритъ, день въ со» боръ плачу-молюсь, ничего больше намъ не осталось, по тонули мы всѣ бездонно». 4)

«Вѣрно, барыня, много добывалъ, да на много и дыръ то много. Сколько у нихъ у тъхъ то было, на каже

дой тумбо́чкѣ». <sup>5</sup>)́

«Это дъло надобное. Кажная женщина должна... Господь наказаль, чтобы рожать. Ещество — законь. Что народу ходить, а каждый вышель изъ женщины на показъ жизни. Такое ещество»... «Нать, оть этого не уйдешь. Отъ Бога вкладено, никто не обойдется. Кажный обязанъ доказать ещество. А то тоть не оправдался, другой не желаеть, все и прекратилось, конець! Этого нельзя. Кто тогда Богу молиться будеть? О-чень устроено» . . . <sup>6</sup>)

«Ни церкви, ни иконъ, ни . . . воспыланія!?» . . . <sup>7</sup>)

«Ну, чистая волконалія»...<sup>8</sup>)

«Но все это я ставлю не такъ ужасно, какъ насмъяніе надъ

душой, которая есть зеркало существа»...<sup>9</sup>)

Слова Шмелева просты, а душа читателя вдругъ просыпается, встревоженная, открываеть глаза и начинаеть вслушиваться и всматриваться, какъ въ тучу на горизонтѣ, гдѣ сверкнула молнія и погасла. И это не Шмелевъ «играетъ словами», подобно тому, какъ это бываетъ у Лъскова («нимфозорія», «керамиды», «двух» състный», «свистовые», «пропилеи» и т. д.). Лъсковъ – признаня ный мастерь русскаго языка; но въ его фонетической игръ бы ваеть иногда нарочитое и выдуманное. Онъ владълъ первобыт» но-творческими истоками русскаго языка и зналъ имъ цѣну, но нередко затеваль предметно-необоснованную, изобретательную, но художественно ненужную игру звуками, подчасъ очень забавную, но не ведущую въ глубину предмета. А у Шмелева иг-

2) «Про одну старуху». гл. І. Разумѣется «комитеть бѣдноты» — «ком»

4) «Няня изъ Москвы». гл. II.

<sup>1) «</sup>Про одну старуху». гл. IV. Символически за «старухою» видится и разумъется сама Россія.

бедъ».
<sup>3</sup>) «Инородное тѣло». Сказка. Говоритъ комиссаръ женщинѣ, жалующей»

<sup>5)</sup> Тамъ же. гл. IV. Рѣчь идетъ о богатомъ врачѣ, имѣвшемъ много воз-

<sup>6) «</sup>Исторія любовная». глава XI. Философствуеть дворникъ «Плетунъ-Гришка».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) «Свѣтъ Разума». <sup>8</sup>) «Няня изъ Москвы». 51.

<sup>9) «</sup>Человъкъ изъ ресторана». гл. III.

рають какь бы сами слова; и это даже не игра, а неожиданные взрывы смысловыхъ возможностей, вылетающіе изъ души, — то негодующей, то испуганной, то прозрѣвающей. Его слово никогда не становится искусственнымъ или выдуманнымъ. Всѣ особенности его языка всегда связаны съ личностью разсказчика, съ его душевнымъ уровнемъ и настроеніемъ. И чѣмъ первобытю но-простонароднѣе его языкъ, тѣмъ наивнѣе, серьезнѣе, непосредственнѣе бываетъ повѣствовательная установка его разсказчика. Поэтому языкъ его — есть чаще всего не е го собственю ный, условный способъ выражаться, а внѣшне и внутренно обоснованный языкъ его героевъ.

Это свидътельствуетъ о художественной законченности многихъ произведеній Шмелева: эстетическая матерія какъ бы и с ч ез а е т ъ въ качествѣ самостоятельной величины, она в к л ю ч ез н а въ образный и предметный составъ произведенія, она выращена изъ него. Автора-писателя какъ бы нѣтъ: читатель остается наединѣ съ героями и событіями. Образъ «говорить» самъ за себя и отъ себя. Послѣдніе слѣды эстетической условности убраны и читателю остается внимать словамъ самихъ героевъ.

4

Богатствами русскаго языка Шмелевъ владѣетъ, какъ рѣдъ ко кто. Но власть эта — не власть коллекціонера, собирающаго чудныя, небывалыя, рѣдкія, уродливыя или ветхія самосіянно сти языка, чтобы любоваться ими въ нѣкоторомъ пренебреженіи къ профану-читателю, а профанъ то и не знаетъ, что именно разумѣть за этими «дивными словесами»? Или, можетъ быть, ничего не разумѣть, а просто радоваться этимъ лаламъ, берилламъ и хризопразамъ русской словесности?... Таково подчасъ ювелирное мастерство Ремизова.

У Шмелева этого не бываеть никогда. Его власть надъ словомъ родится изъ стихіи художественна го образа и художественна го предмета. Слово остается ихъ прозрачнымъ орудіемъ, оно не переста етъ быть покорной и върной эстетической матеріей. Оно есть всегда носитель и посредникъ главно-сказуемаго, его медіумъ, его прозрачная среда, — точный выразитель образнаго событія и духовнаго обстоянія. И при этой точности оно поражаетъ читателя своею свъжестью, своею кры кой выразитель обстоянія. И при этой точности оно поражаеть читателя своею свъжестью, своею кры кой выразительностью и въ тоже время фонетической и грамматической убъдительностью.

Старуха въ лѣсу «съ травки росу с ш у р х н е тъ, палья цы полижетъ» . . . ¹)

<sup>1) «</sup>Про одну старуху». гл. III.

«Мужикъ быль поперечный и закрытый». 1)

«Прислушиваюсь... - глухота-а... только крупой дереть, въ оконце».

«Что ты геройствуешь то? Вѣдь изъ тебя оттябель выйдеть!» 2) «Я тебя, блудуна, зна-ю!... На господское мътили, рванье дырячье ?» . . . <sup>8</sup>)

Воть плящеть колченогій пастухь Хандра-Мандра: «А v него разошлись всв спленки и хрящички, выламывался на травкъ, загребаль съ земли рваной шапкой, путался и хрипълъ, притопывая» . . . <sup>4</sup>)

Вотъ старикъ живописецъ Арефій открываетъ «великій секреть — невыцвътающей киновари»: «Яичко те бери свъже» хонечкое, изъ подъ курочки прямо. А какъ стирать съ киноварью будешь, сушь бы была погода-ни оболочка. Небо те какъ Божій глазокъ чтобы. Капелечки водицы единой — ни Боже мой. Да не дыхай на красочку те, ротокъ обвяжи. Да про себя голубокъ – молитву... молитовочку шопчи: «Красуйся – ликуй и раадуйся Іерусалиме» . . . <sup>5</sup>)

Такія слова образно необходимы жественно точны. Они насыщены и въ то же время сдержаны чувствомъ мфры и отвътственности, идущимъ изъ творческой глубины. Они могуть быть и не красивы (оттябель», «блудунъ», «дырячье»); но эта некрасивость ихъ необходима, для обозначенія некрасиваго образа. Это художественно върно и обосновано: ибо не слъдуетъ говорить красиво объ уродливомъ, ес» ли хочешь показать это уродливое; и обратно; тоть, кто начнеть уродливо описывать красивый образь, рискуеть превратить свои слова въ сущую помъху для читателя и его видънія.

Одинъ тонкій русскій знатокъ нравовъ и приличій высказаль однажды ту мысль, что одежда не должна и не смъетъ быть «больше, чемъ одеждой»: она не должна приковывать къ себъ вниманіе людей; но если зритель замътить ее, то онъ дол женъ тутъ же отмътить, насколько она безупречно сшита, какъ хорошо она сидить и идеть къ тому, кто ее надъль и носить. Въ этихъ словахъ намъченъ одинъ изъ основныхъ законовъ художественнаго стиля.

Выполнить требование этого закона можно, повидимому, или тъмъ, что спустить языкъ и стиль на средній уровень привычности и незамътности и утонуть въ банальномъ; или же тьмь, что насытить слово образомь и пронизать его предметомь, настолько, чтобы читатель дивился выраженіямь языка, толь ко какъ выраженію выражающагося образа и предмета, т.е. какъ върной и дивной ризъ являю, шейся въ искусствъ сущности.

<sup>1) «</sup>Свътъ Въчный». Возрожденіе. 1937. 1 мая.

<sup>2) «</sup>Человъкъ изъ ресторана». гл. V.

<sup>3) «</sup>Два Ивана». гл. VII. 4) «Розстани». гл. XIII. 5) «Неупиваемая Чаша». гл. IV.

Естественно, что большой художникъ пойдетъ не по пути банальности, а по пути художественной върности и точности языка. Именно такъ и обстоитъ дъло у Шмелева.

Его слова прозрачны и въто же время насыще» ны. Иногда бываеть такъ, что эта насышенность дълаеть самый стиль его не-сразу-прозрачнымъ. Семейотически (по означиваемому содержанію) каждое слово ясно; но стилистически (по взаимной связи) и ритмически (по смысловоя му акценту, указующему на центръ предметной тяжести) - ръчь его героевъ бываетъ не сразу постижимою. Кто будетъ читать напр. монологи доктора въ «Солнцѣ Мертвыхъ»; 1) или исповъдь профессора Мельшаева въ «На Пенькахъ»; 2) или подъем» ныя мъста въ разсказъ дьякона («Свътъ Разума»); 3) или бредовыя страницы въ разсказѣ «Это было», 4) – тотъ скоро убѣ дится, что эти изліянія требують оть читателя конгені альнаго паренія. Рѣчи доктора — это глубокомыслен» ныя и дерзновенныя обобщенія грознаго судьи, прозрѣвшаго въ предсмертной мукь: это взрывы отчаянія, сарказма, скорби и пророческаго паноса; это исповъдь души, въ смятении пережия вающей катастрофу человъческой культуры; — и кажется моментами, что это бредъ сумасшедшаго, настолько мысль несется въ буйныхъ иносказаніяхъ и неожиданныхъ эмоціональныхъ прыже кахъ, подобіе которымъ можно найти у Шекспира («Король Лиръ», «Гамлетъ»), у Достоевскаго, у Гофмана («Катеръ Мурръ») и иногда у Гамсуна. Чтобы уразумъть здъсь в с е, надо самому попасть въ этотъ прорвавшійся потокъ страстной мысли, на до принять эту насыщенность въ душу.

Эта насыщенность слова характерна для Шмелева вообще. И иногда у читателя возникаеть такое чувство, что вь этихъ словахъ, черезъ нихъ и вмъстъ съ ними, въ душу къ нему вторгается что то властное, приковывающее, огненное. Вдругъ это содержаніе оказывается «во мнъ»; оно настолько подлингно и объективно, что на обычномъ пути «говоренія-писанія-печатанія» это кажется вообще неосуществимымъ. Хугдожественный образъ съ большимъ предметнымъ зарядомъ вдругъ вторгся въ жилище моей души; и невольно хочется спросить его: «откуда ты? какъ могъ ты такъ? чьимъ именемъ и закономъ живешь ты и дъйствуещь? какія силы за тобой?!»...

Такое слово осуществляетъ гораздо больше, чѣмъ, кажется, слову вообще дано осуществитъ. И моментами самыя напечатанныя слова кажутся накаленными и расплавленными... И будто не книгу держишь въ рукахъ, а огненный свитокъ; и не понятно, что бумага, простая бумага «содержитъ въ себѣ» и передаетъ такое, и сама не загорается.

Здѣсь нѣтъ лишнихъ, или случайныхъ словъ. Шмелевъ умѣетъ использовать каждую звуковую щелочку, чтобы вложить въ нее значительный оттѣнокъ, необходимый въ художествен»

<sup>8</sup>) Crp. 19 - 20. 28 - 29.

<sup>1)</sup> C<sub>T</sub>p. 37 - 40, 41 - 48, 48 - 54, 131 - 138.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Напр. стр. 84 — 86, 104 — 111.

номъ-цъломъ. У него все, вплоть до длинныхъ и короткихъ «ти» ре», 1) художественно въсить, отгъняеть, «говорить». И все это служить одному, Главному. Все это неразвлеченно плыветь въ главномъ руслѣ и ведетъ главную ли= нію: и всь богатства его языка поднимаются на поверхность и сверкають лишь въ мъру этой необходимости. И въ словахъ, и въ ихъ пъвучемъ послъдовании, и въ смысловыхъ акцентахъ. и въ ритмъ – всюду дышитъ и раскрывается сама художествен» ная душа его повъсти. И перерывъ, и пауза, и растяжка – все служить главной линіи разсказа, главному предметному содерь жанію его. Въ какой бы вихрь восклицаній, недоговоренныхъ намековъ, прыжковъ, клочковъ, неясностей — ни попалъ бы чиг татель, онъ долженъ быть всегда увъренъ, что художе наполненіе ственное этого хаоса жи душою разъяснить и оправдаетъ слово . . .

При этомъ ни эти слова, ни ихъ ритмическая череда не теряпятъ ни замѣны, ни подстановки, ни перестановки. Проза Шмелева выкована, какъ стихотвореніе; она легка и естественна и въ то же время обоснована и необходима. Это—проза; но это и поэзія. Шмелевъ поэтъ уже по самому языку своему; и притомъ именно потому, что его эстетическая матерія не самозаконна и не самодовлѣюща, но всегда остается вѣрною ризою образа и предямета.

Все это уясняется съ особенною силою при разсмотрѣніи па у зы въ стилѣ Шмелева. Кажется, въ русской литературѣ никто не пользовался паузою такъ, какъ онъ это дѣлаетъ. Паува обозначаетъ у Шмелева то смысловой отрывъ (противопоставленіе), то эмоціональный перерывъ, возникающій отъ интенсивности переживанія или отъ его содержательной насыщенности. Фраза задохнулась и — рвется. Человѣкъ какъ бы ищетъ слова, запнулся, споткнулся — и вдругъ выстрѣливаетъ имъ неожиданно, а оно вылетаетъ на подобіе разрывающагося ядра...

И чѣмъ сильнѣе драматическая или трагическая напряжень ность разсказа, тѣмъ большее значеніе пріобрѣтаютъ эти отрывы, перерывы и провалы. Тогда сила скрытаго за словами и образами страданія достигаетъ поистинѣ вулканической силы и пророческаго паренія. Стиль становится бурею. Онъ катастрофичень. Вихремъ вырываются слова и ихъ повидимому безпомощь но сгруппированныя сочетанія, оборванныя полуфразы, растеряные вскрики... Провалы и прыжки чередуются съ эмоціональными взрывами, со стремительными, сосредоточенными ударами, скороговоркою. Восклицаніе — пауза — выстрѣлъ; скороговорка — пауза — гвоздь; начало — обрывъ — прыжокъ въ сторону — завершающій ударъ ... И всѣ эти перерывы не произвольны, не

¹) Срв. напр. «Про одну старуху». О коровѣ: «Подогнала къ Волоку» шамъ, — мѣсто глухое, елки... — ка - акъ она затруби - итъ». Стр. 14.; «Солн» це Мертвыхъ». «А другой полюсъ... — плоть трепетная и... гну - усная, тоже подъ соусами ароматными... — дерзатели — рвачи — стервецы!»

искусственны, не аффектированны. Это перерывы страдаю щаго, задыхаю щагося сердца: человѣкъ изне могаетъ отъ «столнившихся» и прерывающихся чувствъ, онъ не можетъ выразить все сразу, и они «перебиваютъ» другъ друга; отсюда заторъ, провалъ, — и вдругъ пронзительно-мѣт кое слово, вырывающееся вздохомъ, стономъ или даже воплемъ...

Эта повышенная «заряженность» слова придаетъ стилю Шме: лева особую интенсивность. Читатель всегда испытываеть чувство, что слова не исчернывають скрытаго за ними, накопившагося и волнующагося содержанія; что «тамъ», въ глубинь имьется гораздо больше, чьмь то, что сказано; что сказанное - сказано сокращенно; что языкъ Шмелева лаконичень, т. е. интенсивно-кратокъ даже въ большихъ романахъ, и притомъ именно вследствіе своей содержательной заряженности: каждая фраза несеть такой зарядъ чувствъ и мыслей, котораго иному писателю хватило бы на цѣлую главу. Иногда кажется, что художественно прочесть вслухъ такой текстъ, — является задачей почти невыполнимой или требующей исключительнаго сценическаго дарованія, столько за этими словами смятеннаго страданія, колкой, точной мысли, вросшей въ чувство, или, вфрнве, — вырастающей изъ него; столько за ними искренней, изъ глубины идущей динамики, ми мики, жеста, интонаціи . . .

А при чтеніи вслукъ оказывается, что текстъ Шмеле, лева всегда полонъ сокровеннаго пънія: то лирическаго, то эпическаго, то трагическаго. Поэтому этотъ текстъ требуетъ и соотвътственнаго исполненія, т. е. той перя воначальной, душевно-древней «напѣвности», которая осуществляется въ естественныхъ повышеніяхъ и пониженіяхъ, въ нарастающихъ подъемахъ и каденціяхъ, въ логически-драма» тическихъ акцентахъ на сильныхъ местахъ, въ стенаніяхъ, эмоя ціональныхъ «затяжкахъ» и «растяжкахъ» и т. д. Когда Шме» левъ пишетъ, то онъ поетъ. Это есть пареніе сердца, выпъвающаго себя въ словахъ и образахъ. Этимъ и опредъляется его стиль. Отсюда – особый выборъ словъ и ихъ группировка; безошибочное помъщение главныхъ словъ въ ритмически-сильныя мфста; пропускъ ненужныхъ подлежащихъ, - ненужныхъ потому, что скрытыя за ния ми существа разумъются огнемъ чувства («народъ», «злодъй»). Пареніе невольно и незам'ятно уводить его въ древне-славянскій стиль («скудельный», «купно», «сіе») и находить точныя слова для переживаній послідней глубины.

Тайну этого півнія не легко объяснить въ двухъ словахъ; мы можемъ удовольствоваться простымъ указаніемъ на его источникъ.

Пѣніе родится изъ с т о н а и в з д о х а. Стонъ даетъ з в у к ъ, вздохъ даетъ р и т м ъ. Душа, рождающая пѣвучій стиль, должна писать стеная и вздыхая. А она стенаетъ и вздыхаетъ глубже всего и искреннѣе всего, когда она влю белена. Влюблена инстинктомъ или духомъ; 1) въ земное или

<sup>1)</sup> Это не есть дилема («или» – «или»). Инстинкть и духъ могутъ не

въ божественное. Не всякая влюбленность поетъ; но подлинное пъніе есть всегда проявленіе влюбленности; ибо природа влюбленности состоитъ не только въ предметно й интенгси в но сти чувства, но и въ пъвучей текучести сердца, вострепетавшаго, прилъпившагося и желающаго. Понятно, что для созданія истиннаго искусства мало инстинктивной влюбленности въ земное. Художество родится только тогда, когда Предметъ, ранившій и одарившій, берется духомъ и творчески переживается въ его божественной значительности, такъ, что зем ной предметъ старновится живымъ символомъ большаго, священнаго и главнаго.

Шмелевъ по стилю своему есть поющій поэть; и это пѣ ніе его родится изъ той трепетно-взволнованной влюбленности въ Предметы, которою вѣчно счастлива и несчастна его душа. Проза Шмелева поетъ на подобіе того, какъ у Гоголя въ «Ве черахъ на хуторѣ близъ Диканьки» и въ «Тарасѣ Бульбѣ»; какъ у Тургенева въ «Пѣсни торжествующей любви»; какъ у Л. Н. Толстого въ небольшихъ простонародныхъ разсказахъ позднѣй шаго періода; какъ у Лѣскова въ «Запечатлѣнномъ Ангелѣ». Совсѣмъ иначе, чѣмъ у нихъ; ибо у каждаго по своему. Но именно изъ переполненнаго и трепещущаго сердца.

Это отнюдь не означаеть, что стиль Шмелева однообразень въ своемъ пѣніи; напротивъ почти каждый разсказъ его поетъ инымъ стилемъ. У него столько стилей и ритмовъ, сколько требуютъ отъ него его предметы и образы.

Вотъ покойный и плавный, скорбно, но примиренно созерцающій, древле-забвенный стиль «Розстаней», съ особымъ, почти былинно-распъвнымъ ритмомъ. Вотъ сквозящій несказанностями, лирически-трепетный стиль «Неупиваемой Чаши», съ ритмомъ истомно-сладостнымъ и безвольно-страдающимъ. Вотъ фотографически-протокольный, сразу бытовой и кошмарный стиль съ нарастающимъ рвано-бредовымъ ритмомъ въ «Это было», гдъ человъкъ, подавленный бэдламомъ фронта, спасается въ страну чистаго безумія. Воть траги-эпическій стиль «Солнца Мертвыхь», стиль умиранія и предсмертной молитвы, ритмъ приговора и безнадежности, ритмъ назрѣвающаго и разряжающагося пророческаго взрыва. Вотъ стиль эмоціональнаго прозрѣнія въ сочетаніи съ геніально-хаотическимъ ритмомъ въ «На Пенькахъ». Вотъ молитвенно-раскаленный, восторженно-эпическій стиль («Свѣтъ Разума»); вотъ стиль отчаянной безпомощности и бытовой ис= терзанности, доведенной до высшихъ разумѣній («Про одну ста» руху»); воть стиль разсуждающаго сердца, эпось наивной муд» рости, бытовое пъніе о трагической судьбъ человъчества, - и все въ ритмѣ простонародной, сочно-повѣствующей, замоскварѣц» ки сплетничающей болтовни («Няня изъ Москвы»); а вотъ ли= рически бытовой эпось «Льта Господня» и «Богомолья», весь источенный нъжнымъ юморомъ и весь пропитанный слезами благодаренія, слезами умиленной памяти...

только противостоять другь другу, но и врастать другь въ друга. См. мою книгу «Путь духовнаго обновленія». гл. II, стр. 51-57.

При общемъ и характерномъ единствъ стиля, какъ литературнаго способа творить, у Шмелева множество «стилей», т.е. литературныхъ ризъ, соотвътствующихъ данном у образу и данном у предмету. Чтобы удостовъриться въ этомъ, достаточно сопоставить мечтательно-влюбленный стиль «Марева», агіографическій стиль «Блаженныхъ», мемуарно-покаянный и въ то же время мистически-бытовой стиль «Путей Небесныхъ» и ядрено-простонародный, саркастически-бичующій стиль сказокъ («Степное Чудо»). Эстетическая матерія у Шмелева не опредъляется его личнымъ трафаретомъ или произволомъ, но повинуется тому, чему повинуется самъ творящій: требованію Главнаго, бытію образа и ритму самого художественнаго предмета.

Вотъ почему Шмелевъ пишетъ страстно и страдающе: ибо страстно— страдаютъ его герои; иболью ше и глубже: здъсь накопившіяся страсти и страданія міра ищутъ себъ исхою да и разръшаются въ формъ распада,

ропота и взрыва.

## 5.

Какъ у всѣхъ писателей, такъ и у Шмелева, литературный стиль опредѣляется строеніемъ его т в о р ч е с к а г о а кът а. Это естественно и иначе не можетъ быть: ибо стиль творится созерцающей душой и укладъ ея не только «передается» стилю, но прямо создаетъ его. Выборъ слова, сочетаніе словъ, строеніе фразы, акцентъ, ритмъ — все осуществляется и вылѣпъливается творчески — писательскимъ актомъ, въ его, то неизъмѣнно устойчивомъ, то гибко-измѣнчивомъ строеніи.

Художественный актъ Шмелева есть прежде всего и больме всего — ч у в с т в у ю щ і й актъ. Этимъ онъ отнюдь не исчерпывается, но это характеризуеть его основу. Другія слагающія силы—воображеніе, мысль, воля, чувственное ощущеніе, могуть преобладать другь надъ другомъ въ отдѣльныхъ произведеніяхъ Шмелева; чувство остается основополагающимъ всегаль. И при этомъ оно достигаетъ нерѣдко такой силы и накаленности, что иные писатели нашихъ дней начинаютъ казаться посяль Шмелева холодными.

Созданія Шмелева родятся изъ с е р д ц а, изъ горяща го и переполненнаго сердца; — въ отличіе отъ холоднаго и горь каго, чувственнаго мастерства Бунина; въ отличіе отъ мятущаго ся, самовольнаго и нерѣдко всеразламывающаго воображенія у Ремизова; и въ отличіе отъ холодно-живописующаго декорато ра Мережковскаго. Воть почему я съ самаго начала сказалъ, что человѣкъ съ холоднымъ сердцемъ и мертвымъ чувствомъ — ни когда не будетъ художественно жить вмѣстѣ со Шмелевымъ. Достаточно разъ прочувствовать ту тонкую, эмоціонально-аффективную ткань, которую Шмелевъ развернулъ въ одномъ изъ своихъ раннихъ романовъ — «Человѣкъ изъ ресторана», чтобы

понять этотъ способъ жизни и міроощущенія. Это произведеніе съ самого начала сблизило Шмелева съ ранними же созданіями Лостоевскаго — «Бѣдные люди» и «Униженные и оскорбленные». Подобно Достоевскому, Шмелевъ чувствомъ постигъ жизнь человъческаго чувствилища и страданіемъ вняль человъческому страданію. Разъ научившись внимать ему, разъ извѣдавъ болью эту стихію жизни. Шмелевъ совершаеть весь свой дальнайшій художественный путь, - опять подобно Достоевскому, - н е выходя изъ этого акта и изъ этой сти хіи, но поднимаясь въ ея предалахъ къ большей и большей духовной значительности.

Творя и показывая, Шмелевъ чувствуетъ самъ; онъ в и дить чувствомъ, мыслить чувствомъ, воображаетъ изъ чувства и изобража етъ чувствуя. И этотъ актъ онъ передаетъ своему читателю. Шмелевъ хорошо знаетъ, что значитъ «в и д ѣ т ь сердцемъ» 1) и «говорить отъ сердца», 2) и что шепчетъ «голосъ живущій въ сердцѣ»; 3) онъ знаетъ также, какъ страшенъ бываетъ человъкъ, у котораго «сердце ожесточилось» или у котораго «Духъ смерти вынулъ сердце». 4) Въ сердцѣ онъ на: ходить и «свъть разума»; 5) и въруеть въ «неисповъдимое согласованіе» разума и любви. 6) Отсюда онъ ждеть и обновлея нія людей и возрожденія челов'вчества. <sup>7</sup>) Отсюда онъ ведеть и свое искусство: «сердце свое слушай». 8) Онъ творитъ «принимая сердцемъ», <sup>9</sup>) запоминая сердцемъ <sup>10</sup>) и освъщая-освя щая имъ все, чего касается. Онъ «постигаетъ глубиннымъ какимъ то чувствомъ»; 11) онъ «понимаетъ тоской»; 12) и въритъ, что человъкъ, «страдающій неизмърно», «можетъ чуять дальше этихъ стънъ видимыхъ». 18) Этимъ основнымъ актомъ своимъ Шмелевъ пребываеть въ великой традиціи русскаго искусст ва вообще и въ частности русской литературы; въ традия ціи Пушкина, сказавшаго: «ньть истины, гдь ньть любви»; 14) и больше еще: въ традиціи православнаго хри стіанства.

Для натуръ, подобныхъ Достоевскому и Шмелеву, творящихъ трепетнымъ чувствомъ, - одной изъ главныхъ опасностей является сентиментальность.

<sup>1) «</sup>Голось Зари» (сборн. «Свѣтъ Разума»). стр. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Сила». стр. 126. <sup>3</sup>) Тамъ же. стр. 6. 9.

<sup>4)</sup> Тамъ же. стр. 5.

<sup>5) «</sup>Свъть Разума». стр. 32. <sup>0</sup>) Тамъ же. стр. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) «Блаженные».

в) «Неупиваемая Чаша». стр. 36.

<sup>9) «</sup>Человъкъ изъ ресторана». стр. 165.

<sup>10)</sup> Срв. «Розстани». стр. 169. 11) «На пенькахъ». 108.

<sup>12)</sup> Тамъ же. стр. 114. 13) Тамъ же. стр. 123. 14) Пушкинъ. «Александръ Радищевъ». 1836.

Сентиментальность есть безпредметная или предметно - не до-обоснованная чувствительность, которая именно въ силу этого воспринимается, какъ чрезмърная, неумъстная, художественно-неубъдительная. Человъкъ съ повышенной и утонченной чувствительностью можеть «начувствовать» про себя такъ много, что у него не окажется ни времени, ни умънія, ни силъ для изживанія («отреагированія») своихъ чувствъ. Они начнутъ скапливаться и изживаться неумъстно, особенно, если человъкъ имъетъ природу не аффективно-молчаливую, пережигающую все въ себъ, а эмоціонально-экспансивную. Чувства начнутъ изливаться по поводу нестоющихъ предметовъ, въ несоотвътствую: щихъ, чрезмърныхъ или неубъдительныхъ формахъ. Можетъ на: чаться «аффектація». - преувеличенное изъявленіе чувствъ; и отъ сентиментальности до аффектаціи часто всего одинъ шагъ. А вь искусствъ всякая сентиментальность и всякая аффектація вредять художественности: акть перестаеть соответствовать предя мету и образу, а у читателя слагается впечатлъніе, что изъ его души выжимають несоотвътствующій предмету запась чувстви тельности. Викторъ Гюго — почти всегда сентименталенъ и афя фектированъ; Шекспиръ – почти никогда; Пушкинъ никогда и ни въ чемъ. Русские народники то и дъло впадали то въ сентиментальность, то въ аффектацію. А Достоевскій и Шмелевъ преодольли свою склонность къ сентиментальности, найдя выя ходъвъ сторону эпическаго созерцанія трагическаго порыва.

Къ началу второго періода своего творчества (послѣ Крыма!) Шмелевъ пріобрътаетъ силу созерцать величайшія страданія человѣка, не какъ животныя мученія, заслуживающія «жа» лости» (мораль графа Л. Н. Толстого), а какъ судьбоносный путь, очищающій душу и возводящій ее къ мудрости и духовной с в о б о д ъ. Чувствующій актъ Шмелева возмужаль и закалился въ созерцаніи тъхъ инфернальныхъ страданій, которыя намъ принесло наше время. Его художество было вынесено и спасено силою духа. Я говорю «спасено», ибо чувствительный человъкъ въ своемъ обращени къ слабому и страдающему существу всегда рискуетъ размягченіемъ акта и утратой художе: ственной формы, особенно если онъ отдастся вполнъ сострада» нію и умиленію. Эта опасность грозить Карамзину въ «Бѣдной Лизъ», Жуковскому въ его обращении къ дътямъ и птичкамъ, Шопену въ его «Колыбельной», Фра Беато Анжелико въ его умиленномъ живописаніи. Лостоевскому въ «Бѣдныхъ Людяхъ». И Шмелева она настигаеть въ «Мэри» и грозитъ ему въ его романъ «Пути Небесные».

Силы духа, побъждающія эту опасность у Шмелева суть объективирующее воображеніе и соя зерцающая мысль.

Когда чувство искренно и глубоко, то оно не пребываетъ въ самомъ себъ, въ истощающемъ душу безпредметномъ кипърніи и самотерзаніи, но получаетъ силу и власть предметра на гоопыта. Оно испытываетъ не только свой собствень

ный «напрасный пламень» или «тихое уныніе», 1) но береть, воспредметы и начинаетъ духовные ихъ созерцать. Оно сосредоточивается и становится 4 V B C T= вующей волей: ему открывается доступъкъ трая гическому. Оно обостряется и становится чувстя вующимъ вйд вніемъ: ему открывается выходъ художественному объективиро: ванію. Оно углубляется и проясняется до безсозна тельной разумности и превращается въ фи лософическое пареніе. Именно это преобразованіе намътившееся уже въ «Человъкъ изъ ресторана», было пережито художественнымъ актомъ Шмелева. Именно отсюда возникли такія религіозно-философическія и въ то же время траги - эпическія созданія его, какъ «Солнце Мертвыхъ», «Про одну старуху», «На пенькахъ», «Свътъ разума», «Жельзный дъдъ», «Исторія любовная», «Свътъ въчный» и другія, — въ которыхъ чувство находить сразу и свой художест предметъ и свое творческое венный равновѣсіе.

Найдя этотъ предметъ и это равновѣсіе, чувство не устуя паетъ своего первенства другимъ способностямъ души, но проядолжаетъ владѣть творчествомъ Шмелева.

Та изобразительная сила, которая присуща его в н в ш нимъ, чувственнымъ описані́ямъ, идетъ отъ серд≠ ца. Онъ воспринимаетъ все — и природу, и бытовую обстанов ку, и человъческую внъшность, – чувствомъ: то любовью, то умиленіемъ, то изумленіемъ, то скорбью, то молитвою, то бла= годареніемъ, то негодованіемъ, то отвращеніемъ, то ужасомъ. И согласно этому онъ показываетъ читателю внъшніе образы, взывающіе къ его сердцу, заставляя его вид вть сердь цемъ, символически прожигая чувстя венное до нечувственнаго, заставляя его созерцать внъшнюю видимость. Внъшній опыть втяги» вается во внутреннія пространства души, осмысливается тамъ по новому и въ новомъ видѣ возвращается на полотно живо» писца. Шмелевь никогда не описываеть чувственно-виъщній сог ставъ вещей, образовъ и природы, какъ таковой, т. е. какъ нѣчто самодовя вющее. Его наблюдающее зрѣніе, его слушающее ухо - воспринимаетъ зорко, остро, точно. И то, что онъ показываетъ тълеснымъ глазамъ или тълесному слуху, обычно короткими, четкими мазками, лаконической чертой, чеканнымъ словомъ, воспринимается мгновенно и убълительно, и остается въ душь читателя надолго. Но онъ почти никогда не описываетъ внъшность, какъ самоцънность. Онъ никогда не увлекается декораціей или ея самодовлівющей росписью. Ему н екогда; ему надо показать Главное. Поэтому «внѣш» ность» у него всегда пронизана или прожжена лучами внутрен» няго смысла. Все внъшнее служить ему знакомъ, орудіемъ, сред-

<sup>1)</sup> Пушкинъ. Мечтателю.

ствомъ или отображеніемъ внутренняго – душевнаго трепета, или страданія, или блаженства, или гнівва, или отчаянія ... 1)

Вотъ старикъ-купецъ, Данила Степановичъ, тихо доживая свой въкъ на покоъ, посътилъ схимника и ъдетъ лъсомъ домой. смутно тоскуя о своей неочистившейся душ'ь. И природа несетъ ему свъть, чистоту и прощеніе. «Широкіе кусты оръшника протягивали надъ головой ярко-зеленые въ солнцѣ зонты съ темнеющими гроздочками новых в оръховъ, шурхали по степанову картузу, брызгали нескатившимся съ утра до же демъ. Въ глухой сторонь, вльво, куковала кукушка чи стымъ, словно омытымъ въ дождѣ лоскомъ» . . . <sup>2</sup>)

Гремять ди цикады въ крымскомъ знов, <sup>8</sup>) спить ли захолустный Бълозерскъ, засыпанный тысячельтнимъ сухимъ навозомъ, <sup>4</sup>) или соловьи «пустымъ оврагамъ поютъ по зорямъ», <sup>5</sup>) все это передается не только въ мъткости и зримости, но все это взято духомъ и символически передаетъ духов ное обстояніе. Читатель можеть быть всегда увьренъ: здъсь нътъ ни празднаго, ни мертваго, ни лишняго, ни пустого наблюденія, ни кокетливой игры. Здѣся все взято сердцемъ, насыщено чувствующей символикой - и все в е д е т ъ къ главном у. <sup>6</sup>)

Такъ же обстоитъ у Шмелева и въ изображеніи человъческой внъшности. 7) Все это объясняется тъмъ, что онъ и самый художественный предметь видить чувствомь и мыслить чувствомъ. Это не сознательная мысль, а ирраціональная: это не размышленіе и не «философствованіе». а медитація сердца, протекающая въ большой глубинь, таинственной для самого медитирующаго автора и можетъ быть недоступной его обычному, дневному сознанію.

Медитирующая сила Шмелева - художника выражается въ томъ, что почти каждое его произведение есть нъкое цълое,

<sup>1)</sup> Такъ напримъръ: въ разсказъ «Свъть Разума» дьяконъ карабкается «на карачкахь изъ балки», — это символь его душевно духовнаго «караб-канья» изъ религіознаго хаоса нашихъ дней (стр. 15. 16); въ разсказѣ «Желѣз» ный Дъдъ» все начальное описаніе русской природы, большака, столбовъ съ клеймеными орлами и т. д. — есть символь той живущей въ душахь традиціонной государственности, которою одержимъ самъ «Дѣдъ»; вотъ «солнце», какъ источникъ и символъ жизни и смерти («Солнце Мертвыхъ». 11. 27. 28. 60 и др.); вотъ описаніе родного воздуха Россіи, т.е. д у х а ея («Свѣтъ Разума». 135); воть «нравственныя пятна, пятна высшаго значенія» на человъкъ («Человѣкъ изъ ресторана». 149). И такъ во всемъ. <sup>2</sup>) «Розстани». 79.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) «Солнце Мертвыхъ». 55. <sup>4</sup>) «Марево». 93 — 95.

<sup>5) «</sup>На Пенькахъ». 117. 125.

<sup>6)</sup> Чтобы убъдиться въ этомъ, достаточно прочитать и продумать внъшне-образный составь такого законченнаго разсказа, какъ «Жельзный Дьдъ» (Сборникъ «Свѣтъ Разума»).

<sup>7)</sup> Срв. напр. описанія человіческой внішности: почтальонъ Дроздъ, спасшійся отъ разстръла. «Солнце Мертвыхъ». 82-87; лицо развратнаго актера. «Няня изъ Москвы». 68; лицо схимника Сысоя. «Розстани». 78; потокъ нищихъ. «Розстани» 82. 102; внъшность Жельзнаго Дъда. «Жельзный Дъдь». 142 – 146; внъшность Жеребца. «Неупиваемая Чаша». 16. и мн. др.

несомое единымъ замысломъ, архитектония чески выдержанное и возведенное какъ бы по единой идеъ. Этоть замысель можеть остаться неяснымь читателю до конца: но за то читатель долженъ быть заранъе увъренъ, что присут ствіемъ его проникнуто в с е изложеніе. Читая Шмелева, надо медитировать сердцемъ и ожидать, что симво= лы начнуть изъяснять себя сами; надо сосредоточивать все свое вниманіе, брать всерьезъ каждую, какъ бы мимоходомъ уроненную деталь, съ полнымъ довърјемъ принимать каждую новую фигуру, каждое событіе, какъ нѣчто художественно необходимое. Такова сила его художественной медитаціи. Его произведенія не то что «продуманы», — подъ мыслью у насъ разумъють отвлеченную, сознательно теоретизирующую мысль, - но выношены обычно до художественной зрълости, ибо авторъ даеть имъ вызрѣть до необходимости. Они бываютъ зрълы и въ заглавіяхъ своихъ (что такъ ръдко удавалось Чехову). Заглавія Шмелева всегда символически существенны и центральны: они выражають главное содержание художественнаго предмета. Таково напр. заглавіе «Про одну Старуху», гдѣ подъ «Ста» рухой» разумъется не только «э т а старушка», но еще Россія-Родина-Мать, брошенная своимъ сыномъ и погибельно борющаяся за своихъ внучатъ, за грядущія покольнія; это нигдь не выговорено въ разсказъ, символъ отнюдь не раскрывается въ вид'ь наученія; напротивъ, эта символика таится поддонно, молчаливо; но она зрѣла въ душѣ автора и медленно зрѣетъ въ ду» ш'ь читателя, который въ концѣ разсказа переживаетъ весь ужасъ этого прозрѣнія. Заглавіе «Солнце Мертвыхъ» — свиду бытовое, крымское, историческое, таитъ въ себъ религозную глубину: ибо указуеть на Господа, живого въ небесахъ, посылающаго людямъ и жизнь, и смерть, — и на людей, утратившихъ его и омертвъвшихъ во всемъ міръ. О подмосковныхъ ли болотныхъ пняхъ говорить заглавіе «На пенькахъ», или о срубленной Россіи и о снесенной безбожниками міровой культурь? И что это за «Няня изъ Москвы»? Не всерусская ли это Няня? Не воплошеніе ли православной и національной сов'єсти, священно-простонародной традиціи русскаго народа? Не домашняя ли сивиля ла? Не всемірная ли это Няня, смятенно созерцающая міровое смятеніе нашихъ дней?... И «Человъкъ изъ ресторана» - не «человъкъ», не лакей, а глубокая и нъжная душа Человъка. во фракъ рестораннаго слуги...

И такъ — во всемъ. Чѣмъ глубже читатель опуститъ свой «лотъ», тѣмъ лучше; онъ не обманется, — все идетъ со дна изъ предметнаго замысла.

Помыслъ своего сердца Шмелевъ никогда не передаетъ въ обнаженно-разсудочномъ видъ. Онъ мыслитъ не какъ мыслитель, а какъ нѣжно чувствующій художникъ образовъ. Я не знаю ни одного произведенія у Шмелева, кромъ развъ «Путей Небесныхъ», гдъ бы онъ попытался, на погдобіе Л. Н. Толстого («Крейцерова Соната», «Война и міръ»), или на подобіе Достоевскаго (главы о Зосимъ въ «Братьяхъ Карамазо»

выхъ»), выговорить идею своего произведенія въ добавочномъ отвлеченно-умствующемъ разсужденіи, поднести ее читателю какъ бы освобожденною отъ художественнаго облагченія. Нѣтъ, обычно его мышленіе остается всегда художе ственны мъ мышленіемъ: онъ «не выговариваетъ» свою мысль и «не утаиваетъ» ее (Гераклитъ); онъ ее показуетъ въ образахъ и событіяхъ, къ чему и призвано истинное искусство.

Таково чувствованіе, со зерцаніе и мышленіе его художественнаго акта. Имъ обычно соотравьтствуеть волевая сила Шмелева-художника, выражающаяся въ его върности предмету и въ строгомъ символически-насыщенномъ отборъ словъ и образовъ. Это воля — рожденная сердцемъ; это до воли сгустив шаяся и нетенсивно отборъ словъ и образовъ. Это воля не прозизволяющая, не «конструктивна», не сухая, не мертвая. Это какъ бы зарядъ требованія, обращеннаго къ себъ, късвоей эстетической матеріи и късвоей образной ткани. Отсюда эта крыпкая, цълостная спайка, эта строгость къ «тълу» своего искусства, эта власть надъматеріаломъ слова и образа; и чувство этой органической цъльности передается читателю и неръдко потрясаетъ его душу.

Этотъ моментъ слабъе выраженъ въ «Путяхъ Небесныхъ», гдъ воля растворилась въ чувствъ, а чувство прилъпилось къ быту и развязало бытовую намять. Отъ этого и отъ другихъ причинъ, связанныхъ съ «медіумичностью» изображенныхъ здъсь человъческихъ образовъ, корпусъ романа сталъ широкимъ, рыхълымъ и утратилъ идущую отъ предметной медитаціи необходимость и кованную сдержанность. Вообще этотъ долго вынашивавшійся, начатый, но неоконченный большой романъ стоитъ въряду произведеній Шмелева особнякомъ.

За годы своего творческаго подъема Шмелевъ какъ бы осозналь ту «идею», которую онь до такь порь быль «заря» жень» и которая составляла духовный предметь его творчества: путь, ведущій человѣка изъ тьмы — че муку и скорбь къ просвътленію. Эта идея вошла въ его сознаніе и потребовала отъ него наименованія и особаго раскрытія; — онъ назя валь ее «Пути Небесные». Въ то же время въ его душв возникла неотступная потребность въ духовной цѣльно сти: разсудочный интеллигенть руководившій его сознаніемь. захотъль склониться передъ мудростью въры, а мудрость въры потребовала апологіи. И вотъ художникъ сталъ преодолѣвать то раздвоеніе, которое человѣкъ носиль въ себѣ всю жизнь... Въ новомъ романѣ это раздвоеніе предносится ему въ двухъ глав» ныхъ образахъ: умствующаго Виктора Алексъевича и «невинной» простоты — Даріи Ивановны (Дариньки). Такъ возникъ этотъ романь съ осознанной тенденціей: простая вы рующая «мудрость» призвана просвѣтить и обратить разсудоч»

наго интеллигента. Романъ медленно развертывается въ «ж и» тіе» и въ «по ученіе». Житіе преодоліваеть соблазны, а поученіе преодолѣваетъ религіозную слѣпоту. Къ художе с т ву примъшивается проповъдь; творческій акть включаеть въ себя элементь преднам вренности и программы. созерцание осложняется наставлениемъ; и во второй части романа образъ Лариньки рисуется все время чертами умиленія и восторга, которымъ читатель начина: етъ невольно, но упорно сопротивляться. «Мудрость» Дариньки, которая призвана все освѣтить, оправдать и объяснить - оказы вается все менъе убъдительной: такъ напр., ночной крикъ пътуха, вырастающій вдругь въ проблему мірового и историческаго значенія, объясняется тьмъ, что пьтуху, по слову Дариньки, это пъніе въ религіозномъ смыслъ «назначено»... Но что же и кому въ семъ мірѣ н е назначено?... Такая мудрость способна разочаровать даже и довърчиваго читателя. И вотъ обая ніе Дариньки, непрестанно испытываемое другими героями романа, все менъе передается читающей душъ. Сентиментальность становится главнымъ актомъ въ изображеніи, а душа читателя противится и охладъваетъ... Главная опасность «чувствующаго» художества оказывается не преодольной и не устраненной въ «Путяхъ Небесныхъ»; читатель воспринимаетъ нам вреніе а в т о р а, но перестаетъ художественно «принимать» его образы и созерцать его предметъ...

Характеристика художественнаго акта Шмелева была бы не полна, если бы я не указаль еще на то искусство преодолѣвать чрезмѣрную силу чувства ю м о р о м ъ, которое необходи мо Шмелеву и присуще ему.

Этоть юморь радко изсякаеть у Шмелева. Онь сватится и свътить подчась даже въ самыхъ послъднихъ страданіяхъ, въ безвыходныхъ, отчаянныхъ, смертныхъ положеніяхъ. Но это не юморъ авторскихъ описаній, какъ бываетъ у Лъскова, или авторскаго резонированія, какъ обычно бываетъ у Салтыкова-Шедрина. Вообще у Шмелева текстъ сообщеній, идущій отъ автора, обычно совстви строгъ и простъ: онъ даетъ только самое необходимое, ибо онъ всегда экономитъ поле свободнаго вниманія въ душь читателя. Юморъ у Шмелева идетъ какъ бы изъ самихъ вещей, положеній, лицъ и поступковъ, въ которыхъ скрыта нъкая живая съть космическихъ недоразум в ній, космической безпомощности и космическихъ противор в чій. Эти недоразумьнія, безпомощности и противоръчія показываются авторомъ объективно: юморъ или вработанъ въ самую художественную ткань разсказа, или исходить отъ дъйствующихъ лицъ.

Юморъ Шмелева безконечно разнообразенъ: иногда острый, сдержанно горькій;  $^1$ ) иногда нещадный, отчаянный, какъ юморъ висъльника;  $^2$ ) иногда — нъжный, тонкій, запрятанный въ самую

<sup>1) «</sup>Солнце Мертвыхъ», «На Пенькахъ».

глубину ситуаціи: какъ будто у лирически-эпическаго повѣствователя чуть чуть вздрагиваетъ уголокъ рта или глазъ сверкаетъ лучомъ затаенной улыбки. 1) Озаренная и пронзенная лучами этого юмора, свертывается и обезвреживается пошлость повседневнаго быта, и изъ за нея выступаетъ то человѣческое быт і е, ясновидцемъ и пѣвцомъ котораго призванъ быть всякій настоящій художникъ.

Таково въ основныхъ чертахъ строеніе художественнаго акта у Шмелева.

6.

Естественно, что этимъ художественнымъ актомъ опредѣ ляются составъ и характеръ о́бразовъ, созданныхъ Шмелевымъ, согласно основному закону духа, въ силу коего міръ отзывается человѣку тѣми голосами, которыми взываетъ самъ человѣкъ.

Именно поэтому образы Шмелева сіяютъ жизнью чувства. И природа, и люди.

Въ природѣ для него нѣтъ мертваго, безразличнаго, «нѣмо» го» и «глухого». Все говоритъ и поетъ; и ему самому, и его читате лю — и трава, и роса, и земля; надо только научиться внимать имъ. «Если слушать въ тихой ночной деревнѣ, многое можно услыхать». <sup>2</sup>) И когда человѣкъ смотритъ на міръ тихою любовью, то все какъ будто «сговаривается» «радовать его». <sup>8</sup>) Всѣ вещи живутъ: и метла, которая по ночамъ на свою судьбу «жалится», и ворота, и самоваръ, и тараканы. «Каждое сучество понимаетъ»... <sup>4</sup>) И можетъ быть даже лошади и коровы могутъ молиться...; <sup>5</sup>) а березы, цвѣты и травы навѣрное поклоняются Господу. <sup>6</sup>) Когда человѣкъ грѣшитъ, то онъ согрѣшаетъ и землѣ — какъ душою, такъ и тѣломъ. <sup>7</sup>) И воздухъ «пахнетъ радостъю»; <sup>8</sup>) и помнятся всю жизнь, разъ узрѣнныя, — «радостым» ягодки земляники, «на солнцѣ, — душистые огоньки, живые». <sup>9</sup>) А въ океанѣ слышится «великая тайна, — тоска бездумынаго бытія». <sup>10</sup>)

Такъ вся природа полна тайны и смысла. «Да, вѣдь, чую: воистину, Храмъ Божій! Хвалите Его, небеса и воды! Хвалите, великія рыбы и вси бездны, огонь и градъ, снѣгъ и туманъ... горы и всѣ холмы... и вси кедры, и всякій скотъ, и свиньи, и

¹) «Исторія Любовная», «Няня изъ Москвы», «Лѣто Господне», «Бого≠ молье».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Розстани». 123.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Тамъ же. 65.

<sup>4)</sup> См. прелестный набросокъ «Миша». 127. Сборникъ «Родное».

<sup>5)</sup> Тамъ же. 127. Срв. «Лъто Господне». 90.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) «Лъто Господне». 104.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Тамъ же. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) «Богомолье». 33.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Тамъ же. 68.

<sup>10) «</sup>Океанъ». 47. Сборникъ «Въѣздъ въ Парижъ».

черви ползучіе!»...¹) И самому человѣку подобаетъ пѣть хвалу «на всѣ четыре стороны, — и на далекую бѣлую зиму, и на мутныя волны моря, и на грязный камень, и на дали».²) Ибо онъ «видитъ» Бога «сердцемъ»;³) и въ сердцѣ у него поютъ «всѣ голоса» бытія.⁴) И природа говоритъ ему о себѣ не холодной красивостью, не ужасомъ пустоты и не темной свирѣпостью.

Таковы и люди въ созданіяхъ Шмелева. Это люди и у в с т в а. А такъ какъ чувство цвѣтетъ всею своею польнотою въ людяхъ цѣльныхъ и простыхъ, въ людяхъ непосредственной наивности, то «герои» Шмелева чаще всего — люди простые, не расщепленные рефлексіей и не убитые интеллигентской «культурой». А если выдвигаются интеллигентные и культурные люди, то они или настолько темпераментны и страстны, что рефлексія разсудка не сломила и не разъѣла ихъ чувства, 5) или же настолько потрясены посланнымъ имъ страданіемъ, что возвращаются изъ царства рефлексіи къ непосредственной и страстной жизни своего чувствилища. 6) Но обычно это — люди остраго, тонкаго и непосредственнаго чувства, п р о с т е ц ы с е р д ц а, изображаемые въ состояніи взволнованномъ, огорченномъ или умиленномъ.

Въ сущности это особая «порода душъ», близкая Достоевскому, Лъскову и Ремизову. Это люди, живущіе какъ бы съ открытымъ или обнаженнымъ сердцемъ, воспринимающіе бысть ро и остро чужую грубость, чужой холодь и фальшь и содрогающіеся отъ всей этой «кривды». Шмелевъ учуяль эту «поро» ду» давно. Таковъ у него «человѣкъ» изъ ресторана, съ его лю: бящей, тонко и нъжно чувствующей душой, съ большимъ чувствомъ собственнаго достоинства, съ постоянною потребностью въ ласковомъ душевномъ пониманіи и со склонностью къ философскому разсужденію. Весь романъ состоить изъ его разсказа или дневника, изъ его живого повъствованія о собственныхъ переживаніяхь и впечатлівніяхь. Это есть и сповіз дь ра ненаго сердца: «Много прошелъ я горемъ своимъ, и перегоръло сердце. Но кому какое вниманіе? Никому. Больно тому, который плачеть и который можеть проникать и пония мать. А такихъ людей я почти не видалъ». 7) На него обруши» ваются бъды и огорченія; онъ мужественно несеть въ себъ свое горе и муку, и сердце его не ожесточается, а все болье обращается къ Богу, вынашивая жизненную и религіозную мудрость. «И вотъ когда я былъ въ такомъ удручении и проклялъ всю свою судьбу и все, прокляль въ молчаніи и въ тишинъ, въ холодную ствну смотрвмши, прокляль свою жизнь безъ просвета, тогда открылось мнъ, какъ сіяніе въ жизни... И пришло это сіяніе черезъ муку и скорбь»...<sup>8</sup>)

<sup>2</sup>) Тамъ же. 37.

<sup>1) «</sup>Свѣть Разума». 20.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) «Голосъ Зари». 6. <sup>4</sup>) Тамъ же. 9.

Б) Герой «Марева»; Вася Ковровъ въ «Няня изъ Москвы».
 Докторъ въ «Солнце Мертвыхъ»; профессоръ въ «На Пенькахъ»; Викъторъ Алексвевичъ въ «Пути Небесные».

<sup>7) «</sup>Человъкъ изъ ресторана». 132.

<sup>8)</sup> Тамъ же. 164.

Эти слова характеризують главное русло творчества Шмелева. Шмелевъ даетъ обычно исповъдь обнаженнаго и раненаго сердца, выстрадывающаго себъ свъть и постижение. Можеть быть именно потому онъ такъ часто излагаеть всю повъсть отъ перя ваго лица, отъ нѣкоего «я», представляющаго или главнаго героя. или взволнованнаго свидътеля событій. 1) Страдая самъ, Шмелевъ пишетъ о страданіи чувствительной души, - не сострадая ей и не прося своихъ читателей о со-страданіи, но страдая въ тъхъ самыхъ людяхъ, о которыхъ онъ повъствуетъ, или, върнъе, которыхъ онъ показываетъ. Онъ цъльно и до конца объективируется въ своихъ страдающихъ герояхъ; онъ пишетъ не о нихъ (какъ почти всегда дълаетъ Тургеневъ), но и зъ нихъ (подобно Достоевскому), растворяясь въ этой живой человъческой мукъ и въ этомъ живомъ горъніи духа. Онъ страдаетъ нихъ, а ими, въ нихъ и черезънихъ весь свой народъ, за все человъче ство.

Въ извъстномъ смыслъ можно было бы сказать, что «герои» Шмелева примитивны, ибо они или совсъмъ не тронуты или мало затронуты «образованіемъ» и «умственной культурой». Но это совсъмъ не означаетъ, что внутренняя жизнь этихъ примитивовъ упрощена, груба или низменна. Это совсъмъ не тъ примитивы, которыхъ мы видимъ въ мастерскихъ зарисовкахъ Бунина; это не примитивы обнаженнаго инстинкта, темныхъ страстей, или прямо злые и буйные звъри, не въдаюрщіе духа. Нътъ сомнънія, Шмелевъ знаетъ и ихъ; но не они образуютъ главный и характерный кадръ его художественныхъ образовъ.

Знаетъ Шмелевъ и этихъ всероссійскихъ шатуновъ, то больныхъ, то погоръвшихъ, то «лытающихъ отъ дъла»: «Богъ ихъ знаеть, — слъпые ли, такъ ли, непристроившійся, загулявшій на» родъ... Стояли прямые, смотръли въ темную пустоту деревяня ными лицами... Силачи-парни въ драныхъ картузахъ, съ буй ными лицами, съ налитыми глазами, пропойные, съ пустыми корзинами и взглядами исподлобья . . . «Бабушка Арина, подай хлѣбца проходящему!» 2) Знаетъ Шмелевъ и городское отребье, вкусившее фразерства, чреватое революціонными подвигами, ничь тожное, злобное и преступное. Вотъ онъ — «сопливый маль» чишка дворника», 3) превратившійся въ комиссара-чекиста: «ре» вольверь, галифэ, тѣ же болячки подъ носомъ, та же вытянутая въ хоботокъ губа съ рыжеватыми усиками, выдутые безцвътные глаза, ужасный лицевой уголь идіота, голова сучкомъ, шепеля вый . . . - и неимовърными духами . . . ! И англійскій проборъ еще! 4) и сколько такихъ — человъческихъ «обрывковъ» . . . <sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Такъ отъ перваго лица написаны : «Человѣкъ изъ ресторана», «Солнце Мертвыхъ», «Исторія Любовная», «Няня изъ Москвы, «Сила», «Про одну старуху», «Марево», «Въ ударномъ порядкѣ», «Свѣчка», «На Пенькахъ», «Чулесяный билетъ».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Розстани». 82.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>) «На Пенькахъ». 78.

<sup>4)</sup> Тамъ же. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Тамъ же.

«Рой завистливой, ущемленной и наглой бездари»... «И ото всъхъ пахнетъ кровью, пусть и не ими пролитой, но они на ней гнойно пухнутъ, какъ поганочные грибы на убойныхъ сваля кахъ»...¹) Словомъ Шмелевъ видить и темноту, и низость, и звърскую природу деревенскаго «примитива» и городского «по»

лупримитива» 2)

Но онъ видитъ въ человъческомъ примитивъ и нъчто иное: онъ знаетъ его духовность, та скрытыя благія и живыя силы души, безъ которыхъ немыслимо существование чело» въка на земль, съ отмираніемъ которыхъ вся жизнь распадается въ прахъ или разлагается въ гніющее болото. Шмелевъ знаетъ, что самый первобытный человькъ имьеть свою, особую духов» даръ взирать къ Богу изъ темно: ты, силу различать добро и зло, и противостоять злу до конца. Таковь его «Жельз» ный Ладъ», образъ врядъ ли не единственный по своей сила и законченности. Севастопольскій солдать «звѣриной красоты», освышій въ льсу и предавшійся въ эпоху государственнаго порядка стихіи ненасытнаго блуда и неуловимо-безнаказаннаго преступленія, — онъ становится въ эпоху общаго революціонна го соблазна и распада сущей опорой правопорядка, живымъ призывомъ къ «строгому начальству». «Лъсовикъ... въ съдыхъ космахъ, похожій на Бога-Саваова»... в) Сразу — отъ Бога и отъ звъря, патріархъ и льшій, духъ и инстинкть, праведникь принимающій муку и клеймо за погибающую правду, и гръшникъ, способный и корыстно и безкорыстно убить человъка: воплошеніе русскаго національнаго инстинкта самосохраненія, первобытный носитель всероссійской государственности, «корень здіш» ній», <sup>4</sup>) доброволець простонароднаго ес» тественнаго права. 5) Bесь — изъ темноты;  $^6$ ) и весь переродившійся къ свѣту.

Иначе совершаетъ этотъ путь отъ революціоннаго озлобле: нія къ сіянію в'єры Семенъ Колючій, пьяный слесарь, распропагандированный своими радикальными «господами» и выселившій ихъ послъ революціи изъ дома во флигель. «Высокій, жилистый, въ вънцъ изъ съдыхъ кудрей надъ высокимъ открытымъ лбомъ, онъ напоминалъ мыслителя, и только черныя руки въ ссадинахъ и замазанная блуза кочегара говорили о его рабочемъ положеніи». Онъ два года «горълъ злобой бъсовской» и дошелъ до револю» ціоннаго убійства, пока «въ смятеніи» и раскаяніи не быль прощенъ и не обратился. Тогда онъ поняль, что ему «отравили ис» точники», и «прокляль скудость гордыни ума», обновился и пошель на проповъдь Евангелія. Онь увидъль, что «про нашу

1) «На Пенькахъ». 85. 86.

4) Тамъ же. 143.

<sup>2)</sup> Срв. особенно: «Степное Чудо». Сказки; «Няня изъ Москвы»; «Солн» це Мертвыхь»; «Два Ивана»; «Гунны»; «Музыкальное Утро».

3) «Жельзный Дьдъ» 146.

б) «Есть въ немъ сила какого то порядка, послѣдняго какого то права, чего ужъ нельзя отдать. Последние человеческие устои». Тамъ же 145. «За ме»

б) Шмелевъ такъ и показываетъ его въ сумеркахъ. Тамъ же. 145 — 146.

Россію въ Евангеліи писать надо и читать въ церкви», что въ Европъ-«геенна» и что надо въ «любви и нестяжаніи» готовить «новую землю». И какъ бы подтверждая его исповѣдь и проповѣдь, его «во» сторженную, пъвучую ръчь» и блескъ его глазъ, природа готовится явить эту новую землю: «И блескомъ, голубымъ и золотымъ блес» комъ первыхъ осеннихъ дней, дрожало и на землѣ, и въ небѣ. Бере» зовая роща за нами золотилась. За ней, въ бѣлыхъ стволахъ, сіяло, голубѣло. Липы и клены за прудами краснѣлись — горѣли золотомъ, и густымъ, и жидкимъ, и бълые голуби, еще уцълъвшіе отъ ружья, взлътали сверканіями надъ ними». 1)

Эти благія и свътлыя силы какъ бы пробуждаются отъ сна въ первобытномъ человъкъ. Онъ и ранъе жили въ немъ, но заглогшія, засыпанныя муссоромъ жизни, залитыя болотными водами страсти, томившіяся въ недоумѣніяхъ и недоразумѣніяхъ первобытной тьмы. Таковь этоть скучающій вь революціи «преображенець», готовый молиться Николаю Угоднику и трепетать отъ блаженства при сонномъ видѣніи Государя. 2) Таковы эти два «махновца» отзывающіеся смутной, тяжкой, безобразной полудобротой на «сиротъ» и на «музыку». 3) Таковъ этотъ дикій «самородъ искусства», чемпіонъ борьбы и «продукть славы» «Куды-Пре», съ его простецкою добротою, нервно-изнемогающій отъ комиссарскаго «визга» и духовно-воскресающій отъ пр**ед**≠ смертной молитвы. 4) И этоть върный татаринъ Османъ, которому до «святости» не хватаетъ только православной въры; <sup>5</sup>) и этоть спасающій оть разстрыла старичекь-кондукторь; <sup>6</sup>) и вся эта, мятущаяся въ смуть, и сквозь растерянность, сквозь ожесточеніе и погибель сверкаю щая искрами совѣ сти и доброты всероссійская первобыт ная толпа. 7)

Можеть случиться такъ, что эта первобытная духовность во всей ея въковой давности и сознательной неусвоенности поколеблется отъ соблазновъ и окажется оттъсненной злыми страстями. Но и тогда она не исчезнеть, а будеть искать и найдеть вы себь новые пути, о которых ы Шмелевь умьеть говорить, какъ истинный ясновидецъ народной души.

Посль разстрыла помыщиковь, державшихь великолыный племенной скоть, маленькая безпомощная старушка, брощенная сыномъ и больющая о внучатахъ, получаеть отъ Леньки-комися сара изъ «побъднаго комитета» огромную породистую корову и гонить ее домой, въ Волокуши: «съ вербочкой со святой бы» жить - крестится, платокъ съвхалъ... Бъжитъ - ногъ подъ собой не чуетъ . . . А корова идетъ строго, шагъ у нея мърный, бочища... старуха и близко подойти опасается. То съ краю забъжить, то съ головы оглянеть. Морда страшенная, ноздря въ

<sup>1) «</sup>Блаженные». 99—104. Сборникъ «Свътъ Разума».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Сказка. «Преображенскій солдать» въ сборникъ «Степное чудо».

<sup>3) «</sup>Музыкальное утро». Сборникъ «Свѣтъ разума».
4) «Сила». Сборникъ «Свѣтъ разума».
5) «Няня изъ Москвы». Глава XXXV.
6) «Свѣчка». Сборникъ «Про одну старуху». 7) «Про одну старуху». «Солнце мертвыхъ».

кулакъ, подгрудокъ до земи, ну и вымя... котелъ артельный !... а глаза... — во-какіе, строгіе, глядѣть страшно, будто чего сказать могутъ! Тогда еще ей, старухѣ то, будто чего то въ сердцѣ толконуло... Подогнала къ Волокушамъ,—мѣсто глухое, елки... ка-акъ она затруби-итъ! — по лѣсу то какъ громомъ прокатизло! Глазища на старуху уставила, прямо — въ нее мычитъ, жаромъ дышитъ, ноздрями перебираетъ — сопитъ — страшно старухѣ стало». И началась съ коровою мука: никакъ не загнать ее. «Намоленой воды пужается» и «чего то ее не допущаетъ». Сама «гробовая». «И такое воспаленіе, въ глазахъ то, — ну, кровь живая!... И слезы... И глаза у ней «не коровьи»...¹)

И вотъ образъ этой дивной и страшной коровы постепень но разрастается въ народныхъ намекахъ и догадкахъ въ олицетвореніе совъсти, въ какое то подобіе карающей Эринніи. Изъ зависти и страха, и глубже еще — изъ чувства общаго гръха, вырастаетъ легенда о грозномъ животномъ и изъ этой легенды говоритъ потрясенная и угрожающая всенародная совъсть, укоръ всенароднаго правосознанія, поколебавшагося и оттъсненнаго злыми страстями и нынъ вступающая го на путъ «соборнаго» ми вот ворчества... Въсмутъ и въ страданіи, вызванномъ ею, оживаютъ древніе, подедонные слои первобытной духовности: «не повъришь, что у человъка въ душъ быть можетъ: и на добро, и на зло. А то в се за кры то бы ло. Бо-ольшое превращеніе... на край взошли! »2)

Эти двѣ стихіи — первобытной темноты и наивной духовности должны вступить въ борьбу другь съ другомъ; и борьба эта, начинающаяся чуть ли не съ дѣтскаго возраста, ведетъ человѣка черезъ страданія и паденія, — можетъ быть къ катастрофѣ, а можетъ быть и къ просвѣтленію, очищенію, покою и радости...

## 7.

Среди разныхъ видовъ тварнаго страданія, отъ элементарь но-тълеснаго (боли, голода, холода) до самаго утонченно духовъ наго (одиночество, униженная безпомощность, покаянное терзавніе, чувство богопокинутости), — самое общечеловъческое и савмое непроглядное, таинственное и къ пропастямъ ведущее — есть мука «любви». О ней то и написано произведеніе Шмелева, озаглавленное имъ «Исторія любовная. Романъ моего пріятеля».

Если условно раздѣлить произведенія Шмелева по преоблагающему въ нихъ свѣту и тону — на темныя («Это было», «Солнце мертвыхъ», «Про одну старуху», «На пенькахъ) и свѣтолыя («Неупиваемая чаша», «Блаженные», «Лѣто Господне», «Богомолье» и «Няня изъ Москвы»), — то «Исторія любовная»

<sup>2</sup>) Тамъ же. Стр. 7 — 8.

<sup>1) «</sup>Про одну старуху». Стр. 13 — 18.

окажется какъ бы на грани, на водораздълъ объихъ этихъ группъ. Стихія страданія не достигла здъсь очищенія и просвътленія; напротивъ, она развертывается здъсь во всемъ объемъ и захватъ; но она и не сосредоточивается въ такой силъ и законченной безпросвътности, какъ въ «Это было» или въ «Солнцъ мертвыхъ». «Исторія любовная» есть процессъ б о ръб ы съ намъчающимся въ концъ исходомъ. Это борьба духа и его платонической мечты о чистотъ — съ обставшей его темной стихіей, съ ея соблазнами, провалами, искушеніями, съ ея всег побъждающимъ весеннимъ заболъваніемъ.

Главнымъ средоточіемъ этой борьбы является душа самого повѣствователя, Тони, пятнадцатилѣтняго, нетронутаго мальчика, отъ лица котораго и ведется весь разсказъ въ первомъ лицѣ. Эта литературная форма «воспоминаній» или «исповѣди» выбрана Шмелевымъ въ художественномъ отношеніи — безошибочно: она даетъ ему возможность показать весь процессъ борьбы между юношескимъ «эросомъ» и юношескимъ «этосомъ» — изнутри, въ порядкѣ в н у т р е н н я г о о п ы т а. ¹) Шмелевъ разсказываетъ не о Тонѣ и не п р о него; онъ не показываетъ его внѣшнему наблюдателю, со стороны, какъ бывало описывали въ эпоху Тургенева; — онъ какъ бы погружаетъ читателя въ жизненно-душевный потокъ героя и ведетъ его черезъ всѣ его внутреннія томленія, соблазны, порывы и мечты. Читатель видитъ бѣду героя изнутри и Шмелевъ достигаетъ настоящей художественной наглядности.

Зато возникаетъ другая опасность, именно, что читатель отдастъ все свое вниманіе не самому Тонѣ и происходящей въ немъ борьбѣ, а тѣмъ другимъ, внѣшне-описываемымъ людямъ и событіямъ, о которыхъ вспоминаетъ «мой пріятель». Оказываетъ ся, что внѣшне-опытно описываемые образы — Паши, Гришки, кучера, Женьки, Серафимы, Кариха и другихъ — воспринимаются легче и выдвигаются на первый планъ, и притомъ потому, что они «даются» глазу и уху, т. е. чувственному воображеню, тогда какъ главный герой, Тоня, показываетъ себя все время только изнутри, какъ «пропускающую» душевную среду. И вслѣдствіе этого читатель, если онъ живетъ преимущественно внѣшнимъ опытомъ, рискуетъ не замѣтить г л а в н о е м ѣс с т о» р о м а н а, главное не только по душевному процессу, но и по предметному содержанію всего произведенія.

Въ порядкъ чувственнаго опыта это главное «мъсто» показано минимально; духовно-опытно— въ немъ все: къ нему сводятся всъ событія, въ немъ скрещиваются всъ нити, въ его предълахъ совершается основное; все показывается изъ него, обо всемъ разсказывается для него; его состояніе означаетъ побъду и пораженіе. Тонина душа— есть главное поле борьбы между темною стихіею пола и свътлою стихіею «идеала», духовности

<sup>1)</sup> Этой возможностью не воспользовался Бунинъ ни въ «Митиной люб» ви», ни въ «Дѣлѣ Корнета Елагина». Ему повидимому помѣшало въ этомъ внѣшне-опытная установка его художественнаго акта.

и чистоты. Именно здѣсь живетъ платоническая мечта; именно здѣсь она переживаетъ свое страшное разочарованіе, ведущее къ катастрофѣ. Душа Тони и есть та главная «цѣнность», изъ за которой происходитъ борьба; — та носительница благого начагла, которая идетъ черезъ смуту и страданіе, къ кризису, очищенію и прозрѣнію. И это обнаруживается съ особою силою въ концѣ романа, когда высшая точка подъема пройдена, кризисъ назърѣлъ, катастрофа настигла главнаго героя,—и всѣ остальныя дѣйствующія лица вдругь исчезаютъ, улетучиваются, какъ дымъ, оказываются тѣмъ, чѣмъ они и были съ самаго начала, т. е. образными содержаніями Тониной души, какъ бы «поводами» или матеріаломъ для ея переживаній, источникомъ ея душевныхъ «ранъ» и «вихрей». Ибо съ самого начала все сводилось къ самому Тонѣ.

Его настигаеть опьянение русской весны, несущее ему и всьмъ вокругъ него - сразу несчастье и блаженство, томленіе и упоеніе, недугь Ярилы, навсегда незабываемый и всегда трудно переносимый... Это солнце, повергающее въ особое и странное изнеможеніе: это всеобщее таяніе снъговъ и таинственное журчаніе подъ ними; это благоуханіе зимы и весны одновременно; этоть буй въ растеніяхъ и животныхъ; это ликованіе штицъ; этоть всеобщій разварь и ошаленіе, сь желаніемь то смізяться, то рыдать!... Начинается какое то поголовное заболѣваніе, которое показано у Шмелева съ великой зоркостью и нешадностью. Начиная отъ кошечки Мики съ голубымъ бантомъ, которую того и гляди растерзають страшные коты на заборь, и кончая дворовыми и сосъдями, - всъ становятся одновременно н осителями и жертвами этого нервнаго напряже: нія и душевнаго томленія. Вся челядь на дворѣ, во главѣ съ Гришкой, «плетуномъ» и ерникомъ; тетя Маша; сосъдъ Карихъ, претендующій на званіе завиднаго жениха и пробуждающій пламя весны въ пътухъ – побоями: гимназистъ Женька, который вдругъ становится какимъ то разслабленнымъ и наглымъ; «прелест» ная», хотя издали едва видная Серафима, въ которую всѣ сразу влюблены; и мать ея, принимающая отвратительнаго «Рожу»; и «молодая», напротивъ, черезъ улицу; и старикъ пастухъ, и все, что есть на горизонть — все больеть, и томится, и думаеть только объ одномъ, о томъ, что всѣ называютъ «любовью».

Эта «любовь» приходить, какъ нѣкая зараза и овладѣваетъ человѣкомъ, чтобы измучить его. И отъ ея дуновенія человѣкъ становится какъ бы «испорченнымъ», развязнымъ, предріимчивымъ, циничнымъ, полубольнымъ и въ высшемъ смыслѣ слова п о ш л ы м ъ: ибо въ немъ слабѣютъ и гаснутъ Божіи лучи и разгорается тлѣющій первобытный и непокорный огонь инстинкта. При такой обстановкѣ въ Тонѣ, только что упоенно прочитавшемъ «Первую любовь» Тургенева, просыпается безпредметная влюбленность, — влюбленность въ неуловимую мечту, неизвѣстно въ кого... и конечно въ ту, которая первая встунитъ въ этотъ ищущій лучъ. Въ ребенкѣ пробуждается эросъ взрослаго человѣка. Шестиклассникъ, барахтающійся въ гимназическихъ экзаменахъ, воспринимающій міръ сквозь трафареты

учебниковь и преподавательскихь объясненій, слышавшій что то о «гетерахъ» и о «воздержаніи» Юлія Цезаря – брошенъ въ омуть полой, весенней воды и захлебывается въ ней. Душа его все время переходить отъ вдохновенія къ чувству грѣха, отъ предчувствій къ отвращенію, отъ блаженства къ отчаянію. Строго говоря, онъ влюбленъ въ героиню Тургенева «Зинаиду»; онъ созерцаетъ ее наивно-дътскимъ «идеальнымъ» пареніемъ, а вокругъ себя нахолить для ея воплощенія бытовой «матеріаль» — самаго м'ящан» скаго измъренія. Ему некуда «помъстить» этоть идеальный образъ: и вотъ онъ пытается «осуществить» его сразу въ двухъ живыхъ обликахъ — близкой, доступной Паши и далекой, недоступной Серафимы. Горничная Паша, славный и веселый ребенокъ, несетъ ему, несмотря на взаимность, потокъ разочарованій: она ниже его, она говорить и думаеть, какь неграмотная горничная и рѣшительно не «сливается» съ его «платоническимъ» «идеаломъ». Серафима какъ будто болье соотвытствуеть этой идеальной потребности. Она видна только издали, смутно, въ однихъ обще-женскихъ, безлично весеннихъ контурахъ. Она даже не столько «видна», сколько «слышна» - доносится только ея «ласкающій», «нѣжный» голось; онь то и рѣшаеть все, а воображение довершаеть все остальное. Это только поводъ «вопло» тить» свою смутную «мечту», - по детски, по романамъ, майнридовски - фантазирующимъ воображениемъ, съ «героической» рисовкой, съ аффектаціей еще не родившейся мужественности, съ дътской восторженностью и гимназическимъ горизонтомъ.

«Платоническая любовь гимназиста» — сколько внутрення го юмора въ этой вѣковѣчной ситуаціи, сколько сентименталь ности, безпочвенности, окрыленной безкрылости, наивной взрос лости, дерзанія и разочарованія; и въ то же время — сколько дѣтской чистоты, невыплаканныхъ слезъ, трепета и отчаянія . . . И все это въ мутной волнѣ — уличной, дворовой, заборной и гимназической пошлости.

Этотъ мальчикъ чуетъ Пушкина и умѣетъ молиться, благодарить Бога за то, что «такъ хорошо на свѣтѣ», за открывыеся ему «новое», за то, «что пришла весна, что солнечное такое утро и на окошкъ стоятъ подснѣжники». ¹) Онъ умѣетъ молиться и о чистотѣ своей души; и пытается заклясть молитвою свою муть. «Тайна любви—въ созерцаніи и благоговѣніи»; ²) а «она» — «сіяетъ незапятнанной чистотой и красотой»... ³) Онъ даже Пушкину молится; ⁴) и отчетливо противопоставляетъ «пошлость» — «восторгу поэта». 5) И въ то же время онъ чувыствуетъ, что въ немъ поднимается темный соблазнъ тайны, манищей и мутящей; и не знаетъ, что съ ней дѣлать... А отъ своей «незнакомки» онъ видитъ издали только бѣлую кофточку, капризныя розовыя губы и . . . «п о р а ж а ю щ і е г л аза, с к р ы в а ю щ і е ся за с и н е в а т ы мъ п е н с н э,

<sup>1) «</sup>Исторія любовная». 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же. 124. <sup>8</sup>) Тамъ же. 190.

<sup>4)</sup> Tamb жe. 190

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Тамъ же. 56.

отъ солнца»...¹) И ему довольно двухъ словъ, подслу» шанныхъ издали, чтобы рѣшить, что она «святая и чистая»... что она «и свѣчки ставить!» ²)

Въ этомъ внутреннемъ расщепленіи, въ этой внутренней распръ – главное образное содержаніе романа. Эту распрю Шмелевъ показываетъ сквозь два луча: одинъ лучъ предчув ствія, другой лучъ ю мора. Въ душѣ у Тони живетъ предчувствіе значительности, прекрасности и невиновности міра; предчувствіе того, что «идеаль» не праздная мечта, а живая реальность; предчувствіе того, что эту реальность возможно обрѣ, сти, что ее можно узръть, что мы призваны жить ею. Это лучь -Божій, которому предстоить засіять и озарить душу лишь послъ катастрофы; но онъ не исчезаетъ въ описаніяхъ Тони ни на мигъ. Это лучъ въ его собственной душъ. – Другой лучь — юмора, лучь человъческой мудрости, скорбносерьезно улыбающейся надъ своимъ собственнымъ воплошениемъ. то неуклюжимъ, то убогимъ, то противоръчивымъ, то безсмыс» леннымъ, то глупымъ, то бездарнымъ, то пошлымъ... Это лучь автора, или, точные повыствователя, показывающій за каждымъ мигомъ пошлости — непошлую, ибо вотъ уже постигшую свою пошлость, душу. Отъ этого всв вещи становятся умнъе себя, мудръе себя самихъ, чище, выше, значительнъе. Юморъ, это великое очистительное средство, углубляющее, духовно-обновляющее, - ведущее къ прозорливости, утъщенію, преодольнію, совершаеть здысь подлинныя чудеса. И каждая страничка, почти каждая фраза у Шмелева пронизана, прожжена очистительнымъ лучомъ этого юмора.

Этими двумя лучами художественно строится и держится романъ. Именно ими преодолъвается обыденность и пошлость среды. Именно ими освъщается скрытое за ними предмет ное содержаніе.

По ходу романа атмосфера всезахватывающаго эроса все сгущается и создаеть три драматически-трагическихь столкновения. Въ двухъ изъ нихъ челов в къ пытается одогл в ть гр в хъ и терпитъ крушеніе. Въ трегтыемъ— гр в хъ показываетъ челов в ку свое обманное лицо и челов в къ изнемогаетъ почти до смерти.

Два первыхъ взрыва — двѣ ночи подрядъ — Тоня черезъ силу выноситъ. Сынъ пастуха, сосѣдъ, скромный и застѣнчивый, совсѣмъ не созданный для брака Костикъ, застаетъ свою жену, «молодую», со своимъ отцомъ, убиваетъ ихъ, сонныхъ, колумомъ, и мотивируетъ свой поступокъ тѣмъ, что онъ «убилъ грѣхъ» . . . На слѣдующую ночь бѣшеный быкъ, вырвавшійся изъ стойла, — живой символъ безудержнаго инстинкта, — запарываетъ на смерть кучера Степана, вышедшаго на борьбу съ нимъ изъ любви къ Пашѣ. Это двѣ попытки одолѣть грѣхъ, — слѣпымъ отвращеніемъ и слѣпою храбростью. Два крушенія:

<sup>2</sup>) Тамъ же. 126.

<sup>1) «</sup>Исторія любовная». 100.

кровавое преступление и ненужная смерть. Приближается раз-

Третій конфликть заканчивается катастрофой. При перя вомъ же свиданіи съ Серафимой, преодольвая мучительную застънчивость, истаивая отъ блаженства, ревности и стыда, и совершенно не понимая, что «грѣшная» женщина ведеть съ нимъ гръшную игру, Тоня доходить до полуобморочнаго состоянія и въ страшный мигъ дурноты открываетъ ея тайное уродство безжизненный стеклянный глазь въ кровяныхъ въкахъ, скрывавшійся досель за темнымь пенснэ. И «вь этомь мертвомь сте» клянномь взгляд'в» ему вдругь открывается «ч т о т о, ужас» но стыдное и отвратительно грязное, связанное съ гръхомъ и смертью?»... Мальчику, измученному волненіями, это потрясеніе оказывается не по силамь; онь забольваеть воспаленіемь мозга, отъ котораго спасается чудомъ.

Это кризисъ: сразу – нервно-эротическій и идеально-ду ховный. Онъ составляеть высшій преділь муки и борьбы.

«Любовь» приходить къ намъ, какъ космическій недугь, какъ Рокъ 1) или какъ Грѣхъ и застаетъ насъ безпомошными и слъпыми. Она несетъ намъ потокъ томленія, униженія и страданій; и «радости», которыя она намъ сулить, слишкомъ часто оказываются иллюзіями. Сама по себѣ она слѣпа и безднъ не видить. И самый духь слъпнеть оть нея: онь какь бы соглашается не видъть реальности и видъть не реальное. Люди забывають все, что ихъ раздъляеть и какъ безумные готовы цъловать самыя преграды любви: «я обнималь заборъ», который она только что поц'аловала, «шарилъ по немъ дадонями, ц'аловалъ доски, щели, гнилушки, ямки. Въ ротъ мнъ лезли труха и плъ сень. Но я цъловаль и плъсень, и гнилушки» . . . <sup>2</sup>)

Такая «любовь» разливается въ насъ, какъ нѣкая міровая зараза, охватывающая всякую тварь и подчиняющая ее себь. Она влечеть насъ къ таинственнымъ проваламъ въ родовую глубину; и провалы эти полны темноты и страха. Мы ли это «лю» бимъ» или она «любитъ» нами и черезъ насъ? Мы не знаемъ этого и въ смятеніи видимъ, какъ безпомощны и слабы мы передъ нею. Стыдъ и ликованіе, чувство грѣха и блаженство мѣ шаются въ душъ, взывающей: «Боже, какое счастье! Только не покарай меня!... Я такъ несчастенъ и одинокъ!... 3) Личность человъка раздваивается: одинъ пріемлетъ и «рокъ», и «гръхъ», да еще «съ усмѣшкой»; <sup>4</sup>) другой страдаетъ духомъ, знаетъ свою невиновность и безпомощно спрашиваетъ «за что»? 1 5) И, не понимая, «за что?!» взываеть вь отчаяніи: «ньть... лучше бы всьмь умереть на свътъ»... <sup>6</sup>) И только смутно начинаетъ постигать, что это страданіе приходить «не такь, просто», а — «за что то, за грѣхъ, за неправду, за ложь, за прелюбодѣяніе, за корысть,

<sup>1) «</sup>Исторія любовная». 282. срв. 242 — 243.

<sup>2)</sup> Тамъ же. 172.
3) Тамъ же. 182.
4) Тамъ же. 282.
5) Тамъ же. 282 — 283.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Тамъ же. 283. срв. 281. 326.

за... все!» «И вотъ, Богоматерь знаетъ. И я знаю... Но и всѣ же знаютъ! Но почему же — все т а к ъ? И всегда бугдетъ—т а к ъ?... Рокъ?... Но тогда—для чего же Рокъ?»... ¹) И откуда эта стихія? И для чего она со всѣми ея «страхами и мглами»? ²) И что же намъ дѣлать съ ней?....

Отвътъ дается у Шмелева въ видъ художественно чуть-на» мъченнаго образа, — Степана-Новаго, кучера. Громадный, краси» вый, — «святой юродъ», что поетъ одно только духовное и несетъ въ себъ свътъ и ласку христіанскаго, негръщащаго міропріятія и Бого-благословенія... Онъ знаетъ, что горе посылается «въ очищеніе»; что «Господъ огонь посылаетъ — опалить тъло» и что очистившаяся дуща «пътъ будетъ Господу красоту его»; и что все это надо принимать съ радостью.

Значитъ все, — и страданія, и мглу, и страхи «обнаженной бездны»...

## 8.

Такъ, русскій върующій простецъ умъетъ цъльно и върно приниматъ міръ и рокъ его, отдаваясь въяніямъ Духа въ своей душъ. И когда онъ дълаетъ это, то возникаютъ образы великой трогательности, образы истиннаго духовнаго свъта и благоуханія.

Шмелевъ далъ нъсколько такихъ образовъ. Таковъ старичокъ-иконописецъ Арефій («Неупиваемая Чаша»), таковы Семень и Миша («Блаженные»), таковь Степань-Новый («Исторія любовная»), такова «старинная» няня, Дарья Степановна . Синицына («Няня изъ Москвы») и таковъ старый плотникъ Михиилъ Панкратычъ Горкинъ («Лѣто Господне» и «Богомолье»). Всь эти образы останутся навсегда въ русской литературь и въ русскомъ національномъ самосознаніи, наряду съ Платономъ Каратаевымъ (Л. Н. Толстой. «Война и Миръ»), наряду съ Макаромъ Ивановичемъ (Достоевскій. «Подростокъ»), наряду съ «праведниками» Лѣскова . . . <sup>3</sup>) Отсюда уже ясно, что каждый изъ образовъ Шмелева имѣетъ свою литературную «генеалогію», и каждый изъ нихъ коренится въ духв русскаго православія. Всв эти образы взяты изъ самаго подлиннаго, что имѣетъ Россія и что она дала міру: изъ того, что составляетъ ея безсознатель» ную, въками выношенную духовную субстанцію; и говорить о нихъ следуетъ не отрывая ихъ отъ этой субстанціи.

Шмелевъ никогда не заимствуетъ канву для своей фабулы у внъшняго порядка событій. Онъ не нуждается въ этомъ. Фарбула его произведеній развертывается самостоятельно изъ самостоятельно

<sup>1) «</sup>Исторія любовная». 282. 2) Тютчевъ. «День и ночь».

<sup>3)</sup> Я имъю въ виду не столько образы интеллигентныхъ праведниковъ, данныхъ Лъсковымъ (Туберозовъ, весь «Кадетскій монастырь», «Инженеры безсребренники» и др.), сколько неинтеллигентныхъ (Рыжковъ въ «Одноду» мъ», Пизонскій и карликъ Николай Абанасьевичъ въ «Соборянахъ» и въ «Котинъ Доильцъ», «Несмертельный Голованъ», «Пугало» и др.).

го предметнаго содержанія. Но въ книгѣ «Лѣто Господне. Праздики» онъ строитъ свою фабулу какъ бы на внѣшней, эмпирической послѣдовательности временъ, а въ сущности идетъ вослѣдъ за календарнымъ годомъ русскаго Православія.

Годовое вращение, этоть столь привычный для насъ и столь значительный въ нашей жизни ритмъ жизни, – имъетъ въ Россіи свою внутреннюю, сразу климатически-бытовую и религіозно-обрядовую связь. И воть, въ русской литературъ впервые изображается этоть сложный организмь, въ которомь движение матеріальнаго солнца и движеніе духовнорелигіознаго солнца срастаются и сплетаются въ единый жизненный ходъ. Два солнца ходять по русскому небу: солнце планетное, дававшее намъ бурную весну, каленое льто, прошальную красавицу-осень и строго-грозную, но прекрасную и благодатную бълую зиму; – и другое солнце, духовно-православное, дававшее намъ весною праздникъ свътлаго, очистительнаго Христова Воскресенія, льтомъ и осенью – праздники жизненнаго и природнаго благословенія, зимою, въ стужу - обътованное Рождество и духовноболрящее Крещеніе. И вотъ Шмелевъ показываетъ намъ и всему остальному міру, какъ ложилась эта череда дву-солнечнаго вращенія на русскій народно-простонародный быть и какъ русская душа, въками строя Россію, наполняла эти сроки Года Господня своимъ трудомъ и своей молитвой. Вотъ откуда это зая главіе «Лѣто Господне», обозначающее не столько художественный предметь, сколько заимствованный у двухь Божіихъ Солнцъ строй и ритмъ образной смфны.

Ходъ времени есть удивительное установленіе Творца. Равномърно, спокойно и легко раскрываетъ намъ время свои нѣдра, свободно и благостно предоставляя намъ свой объемъ и свою длительность для заполненія. Сколько здѣсь терпѣнія и тершимости къ нашему произволу! Шмелевъ и передаетъ прежде всего эту благостную природу русскаго года, его мѣрность, его легкое спокойствіе, сочетающееся со строгимъ характеромъ временъ и переходовъ. То, къ чему русскіе привыкаютъ въ Россіи, какъ къ своему воздуху, какъ къ легкому дыханію своихъ душъ,—становится здѣсь живымъ и осязательнымъ потокомъ образовъ, зарисованныхъ сразу э п и ч е с к и и л и р и ч е с к и. Это Россія. Это сама Россія. Это вѣковѣчный ритмъ ея молитвы и труда.

Во всѣхъ очеркахъ — одна среда. Но каждый очеркъ наполненъ по своему живымъ бытовымъ матеріаломъ — подчасъ
трудовымъ кипѣніемъ, подчасъ бытовой суетой, подчасъ развлеченіемъ — играми, подчасъ созерцаніемъ; — но почти все и
почти всегда остается окрашеннымъ въ предмолитвень
ные или послѣмолитвенные тона. Каждый очеркъ
замкнутъ въ себѣ; — это какъ бы религіозно-бытовые «стансы»
русскаго бытія, изъ коихъ каждый въ своихъ предѣлахъ, подобно острову, устойчивъ и самостоятеленъ. И всѣ связаны во едино нѣкимъ непрерывнымъ обстояніемъ — ж и з н ь ю р у сс к о й національной религіозности, этими

вздохами русской души, этимъ религіозно-бытовымъ пѣніемъ ея, однороднымъ, вѣрнымъ себѣ и мѣрно слѣдующимъ за двусоле нечнымъ вращеніемъ Лѣта Господня...

Это разсказъ о томъ, какъ русскій, христіански озаренный простець, строилъ свои будни, покоряясь солнцу планетному и молитвенно осмысливая свою жизнь солнцемъ Православія. Какъ годъ его жизни дѣлался православі ны мъ годомъ и въ то же время трудовы мъ-хозяйственны мъ годомъ, протекавшимъ передъ лицомъ Божіимъ. Это разсказъ о томъ, въ какихъ, праздниками озаренныхъ, будняхъ русскій народъ прожилъ тысячу лѣтъ и построилъ свою Россію; — разсказъ, написанный въ формѣ лирической поэмы, эпически спокойной и религіозно-созерцательной, тономъ поющаго описання и любовной, наивной непосредственности.

Можеть быть, это — воспоминанія и потому они написа: ны отъ перваго лица и просто повѣствують о томъ, что «тогда» — «тамъ» — было. Это «тогда» и «тамъ» умиляютъ и волнуютъ душу самого разсказчика. Это волнение сдерживается имъ, цъломудренно и художественно. Но именно вследствие этого лирическій трепеть пронизываеть каждую фразу; онь даеть всему повъствованію возвышенное пареніе, легкость, воздушность, какъ бы нѣкую сладостную призрачность, характеръ милаго, родного видънія, воскресшаго и вживъ предстоящаго нашему оку. И все свътится изнутри – молитвою. А въ центральные, существенные миги — сдержанное волнение вдругъ прорывается и с= повъданіемъ чувства, быть отпадаеть или раздвия гается и сердце непосредственно и благодарно воспринимаетъ живую субстанцію Россіи. Міръ полонъ благодатнаго присутствія Божія; и русская душа знала это и принимала это верою и чувствомъ. И темъ строила Россію.

Показывая эти глубокіе слои русской простонародно-православной духовности, и утверждая ихъ бытіе, какъ подлинное и судьбоносное, Шмелевь создаеть художественное произведеніе національнаго и метафи зическаго значенія. Онъ какъ будто говорить за русскій народъ и отъ его лица: мы знаемъ, чѣмъ мы были и будемъ живы; мы знаемъ источники нашей національной духов» ной силы; мы имъ върны и оторваться отъ нихъ не можемъ; всь трудности нашей природы, всь испытанія нашей исторіи, всв неимовърныя задачи нашей сравнительно первобытной, но мощной государственности - мы снесли и пронесли благодаря тому, что ставили свою душу въ трепетную близость къ Богу, получая отъ этой молитвенной близости: живую совъсть, мудрое терпъніе, тихое трудолюбіе, умъніе прощать и повиноваться... И еще глубже и священные: душу, открытую для каждаго выянія Божьяго духа; душу, по датски доварчивую, искреннюю, добрую и смиренно-покаянную; даръ – въровать сердцемъ, и освящать лучами этой вѣры весь свой укладъ, и быть, и трудъ, и при» роду, и самую смерть... Таковь быль духь Руси. Духь Православной Руси. Она крыпко, непоколебимо вырила вы то, что близость къ Богу даетъ не только правоту, ведущую
на вершинахъ своихъ къ святости, но и
силу, жизненную силу, истало быть побыду
надъ своими страстями, надъ природой и надъ врагами... О,
зрылище страшное и поучительное! Русскій народъ утратиль все
это сразу, въ часъ соблазна и потемнынія; — и близость къ Богу, и власть надъ страстями, и силу національнаго сопротивлення, и органическое единомысліе съ природой... И какъ утрачено все это сразу, вмысть, — такъ вмысть и возстановится...

Вотъ тотъ духовный горизонтъ, вотъ та историческая проблема и рама, въ которыхъ создавалась и создалась книга Шмелева. Вотъ смыслъ ея появленія; ея сокровенный философскій и національный замыселъ.

Когда читаешь эту книгу, — и въ первый разъ, и во второй, и въ третій (а ее непремѣнно надо и м ѣ т ь и постояню возвращаться къ ней, утѣшаться, очищаться, л ѣ ч и т ь с я е ю), то не помнишь, что «это — книга», а видишь самую Русь, народную Русь, православную Русь, московскую, замоскварѣцюкую, во всей ея темпераментной широтѣ, во всемъ ея истовомъ спокойствіи, въ этомъ чудесномъ сочетаніи наивной серьезности, строгаго добродушія и лукаваго юмора . . . Нѣтъ, мало сказать— «видишь»: живешь въ ней, съ нею, ею; чуешь ея душу, внемюлешь вздохамъ этой души, участвуешь въ празднованіи ея праздыниковъ, молишься съ нею, путаешься, радуешься и плачешь . . .

Великій мастеръ слова и образа, Шмелевъ создаетъ здѣсь въ величайшей простотъ утонченную и незабвенную ткань русскаго быта, въ словахъ точныхъ, насыщенныхъ и изобразитель. ныхъ: вотъ «таратанье мартовской капели»; вотъ въ солнечномъ лучѣ «суетятся золотинки», «хряпкаютъ топоры», покупаются «арбузы съ подтрескомъ», видна «черная каша галокъ въ небѣ». И такъ зарисовано все: отъ разливаннаго постнаго рынка, до запаховъ и молитвъ Яблочнаго Спаса, отъ «розговинъ» до крещенскаго купанья въ проруби. Все узрѣно и показано насыщеня нымъ видъніемъ, сердечнымъ трепетомъ; все взято любовно, ньжнымъ, упоеннымъ и упоительнымъ проникновеніемъ; здъсь все лучится отъ сдержанныхъ, не проливаемыхъ слезъ умия ленной и благодарной памяти. Россія и православный строй ея души показаны здъсь силою ясновия дящей любви. Эта сила воображенія возрастаеть и утончается еще отъ того, что все берется и дается изъ дътской души, вседовърчиво разверстой, трепетно отзывчивой и радостно наслаждающейся. Съ абсолютной впечатлительностью и точностью она подслушиваеть звуки и запахи, ароматы и вкусы. Она ловитъ земные лучи и видитъ въ нихъ – неземные; любовно чуетъ мальйшія колебанія въ настроеніи у другихъ людей; ликуетъ отъ прикосновенія къ святости; ужасается отъ грѣха и неустанно вопрошаетъ все вещественное о скрытомъ въ немъ таинственномъ и высшемъ смыслѣ. Шмелевъ показываетъ

намъ православную Русь – сквозь искренность, чи стоту и нъжность младенчества.

И вотъ эта сила любви и эта нъжность младенчества блаженно впитывають въ себя стихію православія. Не въ порядкъ богословія, и не въ порядкъ богослуженія; ибо объ эти стороны требують не-младенческаго разума. А въ порядкъ не посредственнаго жизнеосвященія.

Православіе всегда искало раскрыть сердце человъка навстрвчу Христу и ввести въяніе Духа Святаго во всв уголки душевной и бытовой жизни: пробудить въ людяхъ голодъ по священному; озарить жизнь незримо присутствующей благодатью; научить человѣка любить Бога и въ большихъ и въ ма> лыхъ дълахъ. И вотъ, съ тъхъ поръ, какъ существуетъ русская литература, впервые художникъ показалъ эту чудесную встр в чу — міроосвящающаго православія съ раз: верстой и отзывчиво-нѣжной дѣтской ду шой. Впервые создана лирическая поэма объ встръчъ, состаивающейся не только въ таинствъ и въ богослуженіи, но и въ быту. Ибо быть насквозь пронизань токами православнаго созерцанія: и младенческое сердце, не постигаю щее ученія, не разумьющее церковнаго ритуала, пропитывается излученіями православной въры, наслаждается воспріятіемъ священнаго въ жизни; и потомъ, повернувшись къ людямъ и къ природѣ, радостно видить, какъ навстрвчу ему все радостно лучится луча» ми скрытой божественности. А мы, читатели, видимъ, какъ лирическая поэма объ этой чудной встрычь разрастается, зах ватываетъ весь бытъ взрослаго народа и превращается въ эпи ческую поэму о Россіи и объ основахъ ея духовнаго бытія... Такъ Шмелевъ показываетъ намъ русскую православную душу въ моментъ ея пробужденія къ Богу, въ періодъ ея перваго младенческаго воспріятія Божества: онъ показываетъ намъ православную Русь – изъ сердечя ной глубины върующаго ребенка.

Что же воспринимаетъ эта дътская душа?

Прежде всего — нъкое обновление. «Новое все теперь, другое». «Душа начнется». 1) «Другое все! — такое необык» новенное, святое». 2) «И будеть теперь другое, совсымь другое, и навсегда». <sup>3</sup>) Открывается жизнь по новому; обнаруживается новый мірь, полный божественной значительности, священности, святости. 4) Все, что соприкасается съ божественнымъ, съ бого» служеніемъ, съ очищеніемъ души, съ благословеніемъ, съ молит» вой, — все испытывается, какъ освященное. И малюткъ самому «хочется стать святымъ, навертываются даже слезы». 5) Все освящается черезъ молитву: и домъ, и дворъ, и животныя, и яблоки, и самый воздухъ. Во всемъ раскрывается чисто

<sup>5</sup>) Тамъ же. 62.

<sup>1) «</sup>Лѣто Господне». 3. 2) Тамъ же. 5. 64. <sup>8</sup>) Тамъ же. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Тамъ же. 4. 62. 64. 67. 87. 97. 130. I52 и др.

та и тайна. По новому сіяеть «дворъ обмоленый» и «всю» ду стелятся п $^{1}$ тыя молитвы, — только не слышно ихъ».  $^{1}$ ) И ото всего этого исчезаетъ страшность жизни: «мнъ теперь ниче» го не страшно... потому что вездѣ Христосъ»; 2) «и все во мнъ связывается съ Христомъ»...<sup>8</sup>) и все это «для Него»...<sup>4</sup>) Исчезаетъ страшное и начинается радость: «Радостное до слезъ бъется въ моей душѣ» <sup>5</sup>) и душа поетъ первую пѣснь озаренности и прощенности, благодарности и любви. «Благовъ щеніе... и каждый должень обрадовать кого-то, а то праздникъ не въ праздникъ будетъ», 6) – и вотъ летятъ Божьи итички на Божью свободу. И лошадь, старую Кривую, тоже надо «снѣжкомъ порадовать»; 7) а людей согрѣшившихъ – простить, недовольныхъ примирить, трудящихся обласкать, наградить. Ласка любви льется отовсюду на дътскую душу; и отвътной любовью и лаской отвъчаеть дътская душа. Сквозь золотой лучъ сердца - весь міръ видится праздничнымъ, радостнымъ и золотымъ. 8) Какъ же не радостнымъ, когда идетъ самъ «Гос» подь, во Святой Троиць, по всей земль»... Неужели «и къ намъ» зайдетъ Господь?!... «Молчи, этого никто не можетъ знать!» 9) Пройдеть онь по земл'я и благословить, — «и будеть лѣто благопріятное». 10)

Такъ отверзаются духовныя очи ребенка – и онъ видитъ Бога; и міръ онъ видитъ по новому; а себя и свой народъ онъ начинаеть разумъть священно. И все это проникаеть родовое, національное ощущеніе пробуждаеть въ немъ древнюю глубину общена родной памяти.

Блаженно дътство, исполненное такихъ воспріятій, постиженій и радостей! Живъ, и никогда не умретъ народъ, создавшій такое и умьющій такъ пробуждать къ жизни своихъ дътей! Этотъ народъ самъ отдалъ себя искони въ Божію руку, свидътельствуя о томъ молитвами, и храмами, и звономъ своихъ колоколовъ. Рождество Христово: «Въ Кремлѣ ударятъ, — древній звонъ, степенный, съ глухотцой. A то — тугое серебро, какъ бархатъ звонный. И все запъло, тысяча церквей играетъ ... Не Пасха, перезвону нътъ, а стелетъ звономъ, кроетъ серебромъ, какъ пѣніе, безъ конца-начала . . .—гулъ и гулъ.» 11)

Вотъ чемъ строилась и держалась Россія. Вотъ какъ жили въ ней русскіе люди — «всѣ мы, птицы Божьи». 12) Жили и

<sup>1) «</sup>Лъто Господне». 91-92.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же. 60.

в) Тамъ же. 63. 4) Тамъ же. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Срв. тамъ же 3. 5. 7. 23. 40. 61. 64. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Тамъ же. 40. <sup>7</sup>) Тамъ же. 30.

<sup>8)</sup> Срв. тамъ же 79. 9) Тамъ же. 102.

<sup>10)</sup> Тамъ же. 105.

<sup>11)</sup> Тамъ же. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Тамъ же 136.

омывались духовно — святой водой: «крещенская — богоявлен» ская, смой нечистоту, душу освяти, тѣлеса очисти, во имя Отра и Сына и Святаго Духа»...¹)

О, младенческое сердце нашей Россіи, нынѣ соблазненное и страдающее, но не погубленное и непогубимое во вѣкъ! О, сіяніе родного солнца! О, благодать родныхъ молитвъ! И все это не «было», и не «прошло». Это есть и пребудетъ. Это на вѣки такъ. Это сама духовная ткань вѣрую щей Россіи. Это — духъ нашего народа. Это — мы сами. Это — древнее, отстойное и мудрое вино нашей русскости. Долго отстаивалось оно. Вѣками. И кто его никогда не пилъ, не мысъли себя знающимъ Россію.

И вотъ этотъ духъ, — этотъ опытъ жизни и труда, это видѣніе природы и Бога, этотъ ароматъ настроеній и молитвъ,— Шмелевъ олицетворяетъ въ образѣ плотника, Михаила Панкрагтыча Горкина, мудраго простеца, бережно хранящаго эту традирію и любовно передававшаго ее самому автору.

Съ нимъ то вмъстъ они совершили и «Богомолье».

## 9.

Въ этой второй книгъ, такъ и озаглавленной «Богомолье», Шмелевъ продолжаетъ свое дъло бытописателя «Святой Руси»; Руси, — народа простого и душевно открытаго, благодушнаго и увътливаго, прошедшаго съ молитвой и върой великій и претрудный путь историческихъ страданій и осмыся лившаго свою земную жизнь, какъ служеніе Богу и Христу.

Это не преувеличеніе: «Святая Русь»... Прошли, канули безвозвратно въ исторію темные годы религіозной слѣпоты и глухоты, когда эти чудесныя слова выговаривались съ ирониче ской, кривой усмъшкой ... Русская интеллигенція учится и научится произносить ихъ иначе, - съ глубокимъ чувствомъ, цѣльно и искренно: и сердцемъ, и разумомъ, и устами и волею. А тъмъ. кто еще не прозрълъ и не научился, «Богомолье» Шмелева дасть это внутреннее прозрѣніе и видѣніе; не видѣніе—приз» ракъ, не иллюзію, а подлинную реальность во всей ея очевидности. Онъвыговариваетъ здъсь нъкую великую правду о Россіи. Онъ высказываетъ и показываетъ ее съ тою законченною художественною простотою, съ тою ненарочитостью, непреднамъренностью (desinvolto), съ тою ръдкостною безъискусствен» ностью, которая дается только художественному акту предальной искренности. Сила этой искренности такова, что разстояніе отъ художника до его образовъ и разстояніе отъ его образовъ до читателя — преодольвается и снимается совсьмъ: в с е угасаеть, в с е забывается, всв условности «авторства», «литера» ратурности», «чтенія»; реально только богомолье горсть людей, въдомыхъ вдаль, къ Преподобному, и путь, веду-

<sup>1) «</sup>Лѣто Господне». 165.

щій и приводящій ихъ къ Нему. Какая художественная и ду ховная радость — забыть себя и найти ихъ! Какъ легко эта радость дается! Какая творческая сила, ка кое зрѣлое мастерство скрыто за этой легкостью!

Легчайшимъ дуновеніемъ входить это искусство въ душу, такъ, какъ даются нашимъ глазамъ цвѣты, цвѣтущіе въ необъятныхъ лугахъ нашей Россіи, или какъ русская дѣвичья душа мечтаетъ и поетъ, собирая эти луговые цвѣты... Здѣсь и сяк у с с т в о поднимается до той е с т е с т в е н н ояс т и и н е з а м ѣ т н о с т и, на которой всегда живетъ п р и р о д а. И въ этой естественности и незамѣтности оно вливается въ душу читателя, чтобы показать ей въ художестя венныхъ образахъ в е л и к у ю о с н о в у Р о с с і и — «С в я т у ю Р у с ь»...

Въ этомъ повъствовании все просто, какъ сама Россія, какъ русская душа, какъ русскій быть. Просто, и въ то же время, насыщено, или какъ бы проникнуто изнутри сіяющимъ свътомъ: свътлыя, прозрачно лучащіяся слова, слова совершенной изобразительности; легкій, свѣтло-ласковый, все время кротко, облегя ченно, почти блаженно вздыхающій стиль и ритмъ, вливающій въ душу цълительное успокоеніе; образы солнечнаго льта, озаренной природы (какія утра! какой полуденный припекъ! какая гроза! какіе закаты!...); и свътлыя, легкія д ѣтски чистыя, и оть этой своей дѣтской чистоты жаж» дущія еще приблизиться къ праведности и преклониться передъ святостью Божьяго Угодника, чтобы пріобщиться ей и хоть разъ въ жизни коснуться безгрѣшности... Здъсь все пронизано благодатнымъ, врачующимъ свътомъ: и слово, и образы, и та послъдняя предметная глубина, ради которой проивто это повъствованіе. А пропъто оно для того, чтобы показать и утвердить быт і е Святой Руси, ибо книга эта, такъ же, какъ и книга о «Лѣтѣ Господнемъ», есть твореніе не только художественное, но и и с п о в \$ д ническое.

Это исповъдание есть порождение любви, столь дътски-искренней и столь религіозно-беззавътной, что она можетъ только п в т ь, пвть свътлыми образами, и пвніемъ этимъ приводить въ состояніе умиленности всякую душу читаю, щую, - и окаменъвшую, и застывшую, и ожесточенную, и гордую, и злую. Любовь, сказанная такъ, убъждаетъ и побъж даеть простымь вовлеченіемь въ кругъ своего блаженства. Она нето, что «предлагаетъ» радостно любить, а наливаеть душу радост ною любовью до краевъ; ипереполненная душа, сама не замъчая, начинаетъ пъть и радоваться. Искусство совершаетъ свое великое дъло, — магическое и благодатное, умудряющее и исцѣляющее: душа чувствуетъ себя прощенной и прощающей, примиренной и очистившейся. Въ ней самой просыпается то, что воспъла любовь художника, – ж а ж д а праведности; и сквозь эту ожившую жажду чистоя ты и праведности душа начинаеть «созерцать Рос» с і ю, — видъть ея пространственные и душевные просторы, постигать строеніе и движеніе русскаго духа, осязать исторію Россіи, ея укладь, ея быть, ея пути и судьбы. Сила живой любви къ Россіи открыла Шмелеву то, что онь здъсь утверждаеть и показываеть:—что русской душ в присуща жажа да праведности, и что историческіе пути и судьбы Россіи осмысливаются воистину только черезъ и дею «богомолья»...

Сказать — «русской душѣ присуща жажда праведности», — не значить оправдать и одобрить все то, что когда-нибудь и гдь-нибудь совершиль или совершить человъкъ, носящій русское имя. Не обо всѣхъ «русскихъ» и не обо всѣхъ ихъ дѣлахъ идетъ здѣсь рѣчь... Но тотъ, кто способенъ у в и д ѣ т ь р у с с к о с т ь р у с с к а г о ч е л о в ѣ к а, и дѣйствительно увидить ее, и станетъ ее описывать, тотъ непремѣнно отмѣтитъ, что въ самую сущность русскости входитъ м е чта о с о в е р ш е н с т в ѣ, жажда приблизиться къ нему, помыслъ о «спасеніи души», вздохъ о Божіемъ, взысканіе Грагда, готовность преклониться передъ праведникомъ, склонность—рано или поздно, или многократно, или хотя бы передъ смертью только, — у й т и в ъ н ѣ к о е Б о г о м о л ь е.

Богомолье! Воть чудесное слово для обозначенія русскаго духа... Какъ же не ходить намъ по нашимъ откры тымъ, легкимъ, разметавшимся пространствамъ, когда они сами, съ дътства, такъ вотъ и зовуть насъ — оставить привычное и уйти въ необычайное, смѣнить ветхое на обнов ленное, оторваться отъ каменѣющаго быта и попытаться прорваться къйному, късвътлому и чистому бы= тію; — отойти странникомъ въ новую страну, гд в новому увидъть Бога, ивъземномъ, и вънебесахъ, и, вернувшись въ свое жилище, обновить, освятить и его этимъ новымъ видъніемъ?... Намъ нельзя не странствовать по Россіи: не потому, что мы «кочевники», и что оседлость намъ «не дается»; а потому, что сама Россія требуеть, чтобы мы обозрѣли ее, и ея чудеса, и красоты, и черезъ это постигли ея един= ство, ея единый ликъ, ея органическую цъльность; 1) и болъе того: чтобы мы научились, созерцая ее, видъть Бога — и въ ея природъ, и въ ея исторіи, и въ осъвшихъ гивздахъ ея праведности (отъ Кіевской Лавры до Китежа, отъ Соловковъ до горъ Кавказа). Объ этомъ то богомоліи вздыя халъ Пушкинъ:

«Далекій, вождельнный брегь! Туда бъ, сказавъ прости ущелью, Подняться къ вольной вышинь; Туда бъ, въ заоблачную келью, Въ сосъдство Бога скрыться мнь!»...

 $<sup>^{1})</sup>$  Срв. у Гоголя статью: «Нужно профздиться по Россіи». Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями. Глава XX.

И самая смерть не предносилась ли ему въ образѣ бъгства отъ суеты въ блаженную обитель:

«Давно завидная мечтается мнѣ доля, Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побѣгъ Въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нѣгъ»...?

И не онъ ли сказалъ объ этихъ осъвшихъ гнъздахъ руся ской религіозности и праведности: «Мы обязаны монахамъ намей исторією, слъдственно и просвъщеніемъ»?...

Ла, богомолье искони было на Руси началомъ просвъщенія и духовнаго очищенія. Не только потому, что древніе православные монастыри были живыми очагами и праведности, и образованности; но и потому, что русскій человінь, уходя нь святымъ мъстамъ черезъ лъса и степи, «уходилъ» ко святы мъ м 16 стамъ своего личнаго духа, пробираясь черезъ чащу своихъ страстей и черезъ пустоту своей, религіоз> но еще не воздѣланной, души... Однажды приходилъ мигъ, когда онъ постигаль, что быть засасываеть, какъ болото; или, по выраженію Шмелева, говорящаго устами Горкина, что «всіххъ дъловъ не передълаешь», что «дъловъ то пуды, а она (смерть)т у д ы»... Въ этотъ мигъ душа его просыпалась, какъ бы откликаясь на неслышный зовъ. Онъ по стигаль, что надо хотя бы на время оторваться, сложить съ себя все и уйти въ богомолье, къ богомолію. Онъ дълалъ усиліе, вырывался изъ тисковъ обыденной полуслъпоты и шель вдаль, добывать себъ трудами, лишеніями и молитвами доступь къ святости и къ Богу.

Богомолье! Оно выражаеть самое естество Россіи — и пространственное, и духовное... Это — ея способъ быть, искать, обрѣтать и совершенствоваться. Это ея путь къ Богу. И въ этомъ открывается ея святость.

Люди уходили какъ бы въ религіозное наученіе. Легкіе, сермяжно - лапотные, беззаботные, забвенные, съ открытой для всяческаго совершенства душою; по новому, благодатно видящіе солнце, и цвѣты, и овраги, и строгій боръ; по новому внимающіе и всякому слову сердечному, вѣрующіе всему чистому, «чующіе святое сердцемъ» (Шмелевъ), — они шли по всей Руси, и не было имъ «пути далекаго» (Некрасовъ). Они учились рели гіозно созерцать, молиться и постигать тайну праведности! они вживались сердцемъ, воображеніемъ и волею въ душевный укладъ и обликъ чтимаго святого, въ обитель коего вела ихъ дорога. Они становились «какъ дѣти»; а «таковыхъ есть Царствіе Божіе» (Марка X. 14).

Русь именуется «святою», не потому, что въ другихъ страгнахъ нѣтъ святости; это не гордыня наша и не самопревознесеніе; оставимъ другіе народы грѣшить, терять, искать и спасаться по своему. Рѣчь о Руси, а не о другихъ народахъ; не будемъ на нихъ оглядываться!

Русь именуется «святою» и не потому, что въ ней «нѣтъ» грѣха и порока; или что въ ней «всѣ» люди — святые ... Нѣтъ.

Но потому, что въ ней живетъ глубокая, никогда не исто» щающаяся, а, по грѣховности людской, и не утоляющаяся жа жеда праведности, мечта приблизиться къ ней, душевно преклониться передъ ней, художественно отожедествить ся съ ней, стать хотя бы слабымъ отблескомъ ея... — и для этого оставить земное и обыденное, царство заеботы и мелочей, и уйти въ богомолье.

И въ этой жаждѣ праведности чело вѣкъ правъ, и святъ, при всей своей обыденной грѣховности.

Только немногіе, совсьмъ немногіе люди на земль могуть стать праведными, до глубины переродиться, целостно преобразиться. Остальные могуть лишь отдаленно приближаться къ этому. И когда мы говоримъ о «Святой Руси», то не для того, чтобы закрыть себь глаза на эти предълы человъческаго естества, и наивно и горделиво идеализировать свой народъ; но для того, чтобы утвердить, вмъсть со Шмелевымъ, что рядомъ съ Русью (и даже въ той же самой душь!) окаянною всегда стояла и Святая Русь, молитвенно домогавшая: ся ко Господу и достигавшая Его лицезрвнія, — то въ свершеніи совершенныхъ дѣлъ, то въ слезномъ покаяніи, то въ «томленіи духовной жажды» (Пушкинъ), то въ молитвенномъ богомоліи. И Россія жила, росла и цвъла потому, что Святая Русь вела несвятую Русь, -обуздывала и учила окаянную Русь, воспитывая въ людяхъ тъ качества и доблести, которыя были необходимы для созданія великой, имперской Рос-

И такъ шло до тѣхъ поръ, пока о каянная Н е́р у с ь, не развязала наши несвятыя силы, наши грѣшныя, буръныя страсти, и не отстранила временно, — да, конечно, времень но, — Святую Русь отъ ученія и водительства. А когда Святая Русь была мученически отстранена отъ водительства ¹) и окаянъная Нерусь водворилась у руля, — тогда Святая Русь ушла въновое, таинственное богомолье душевныхъ и лѣсныхъ пещеръ, вослѣдъ за уведшимъ ее Сергіемъ Преподобнымъ: тамъ она пребываетъ и донынѣ.

Этоть образь человька, вскормленнаго Святою Русью, показань у Шмелева съ истиннымъ художественнымъ мастерствомъ. Его надо принять въ себя; надо непосредственно пріобщиться ему. И для этого надо обратиться къ нему съ величайшимъ художественнымъ довъріемъ, — по дътски открыть ему свою душу, чтобы до глубины внять этой лирической поэмъ. Это пъснь о томъ, какъ русскія дъти къ Богу ходили и какъ Господь ихъ

<sup>1)</sup> Я говорю не о «сословіяхъ», и не о «классахъ», и отнюдь не о національномъ «большинствѣ», а о д у х ѣ религіозномъ и нравственномъ, патріотическомъ и государственномъ; безъ этого духа, исторически взращеннаго на Руси православіемъ, Россіи не было бы совсѣмъ.

обласкаль и утышиль; какъ Онь открывался имь во всемъ: и въ этомъ «загорѣвшемся» отъ утренней зари «прути» къ надъ скворешней» и въ «радостныхъ ягодкахъ» душистой земляники; и въ жертвенныхъ порывахъ дарящаго сердца, и въ примиреніи посл'є дорожной ссоры; и въ страданіяхъ кал'єки; и въ водномъ наказаніи «шатающихъ вѣру» «охальниковъ»; и въ чудныхъ, съ виду «случайныхъ», людскихъ встръчахъ; и въ тия хости прозорливаго старца, батюшки Варнавы; и въ розовой лаврской колокольнь, глядящей изь голубого неба вблизь и вдаль...

Какъ близко Божіе къ человѣку, когда душа его от кры та и внемлетъ! Какая тишина нисходитъ въ душу при мысли о томъ, что «все туть исхожено Преподобнымъ, огля» жено; на всъхъ то лужкахъ стоялъ, для обители мъсто избиралъ . . . » <sup>1</sup>)

И вотъ, душа незамътно становится по дътски прозрачной и радостной. Глубокими върующими глазами смотритъ она на все и чуеть несказанную благодатность міра; и чує еть подлинную осъненность и окрыленность русской души въ часъ молитвы и богосозерцанія. И дівствительно, здісь показана великая духовная красота, прикрытая, а отъ многихъ и совсъмъ скрытая русскимъ простонароднымъ рубищемъ. За простотою, за скудостью, за наивностью русскаго богомольца показана — и душевная чистота молящагося, и благоуханная прелесть его молитвы, и неизреченная благость Того, Кто отзыя вается на эту молитву; показань русскій человіжь вь его обращеніи къ Богу, — въ великой художественной прозрачности, съ великимъ чувствомъ мѣры, съ любовнымъ юморомъ, обезсили» вающимъ ядъ окружающей бытовой пошлости...

Живымъ носителемъ этого духа и является Горкинъ. <sup>2</sup>)

Какъ бы случайно и въ то же время по древней евангельской, а въ то же время великорусской и радонежской традиціи. - онъ плотникъ, тонкій и искусный мастерь по дереву, «филенщикъ», и какъ настоящій съверянинъ, говорить на «о». Онъ уже отслужиль «свое» и теперь живеть, подобно нянь, на поков - довъреннымъ, своимъ человъкомъ въ семьв, помощникомъ, совътникомъ, хранителемъ священныхъ традицій, воспринятыхъ отъ старообрядной «прабабуши Устиньи»; 3) блюстителемъ «души». У него съденькая бородка, совсъмъ серебряная и лицо розовое, какъ у херувима, — «отъ чистоты». 4) «Онъ очень худой, косточки даже слышно, когда обнимемся», 5) «какъ мученикъ»; 6) но на «ердань» онъ окунается вмѣстѣ съ другими ревнителями въ ледяную воду. «Я знаю, что онъ святой. Такіе — угодники бываютъ»;  $^{7}$ ) и даже «сіяніе отъ него идетъ».  $^{8}$ )

<sup>1) «</sup>Богомолье». 101.

<sup>\*) «</sup>Богомолье». 101.

\*) Этоть духь по своему воплощають и живописець Арефій, и СтепаньНовый, и Няня изъ Москвы, и дьяконъ («Свѣть Разума»).

\*) «Лѣто Господне». 95 и др.

\*) Тамъ же. 4. «Богомолье». 35.

\*) «Лѣто Господне». 94.

\*) «Лѣто Господне». 168.

\*) Тамъ же. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Тамъ же. 4.

Въ вопросахъ уклада и обряда — онъ знатокъ и авторитетъ: его всь уважають: «старый человькь, священный»...<sup>1</sup>) Но самъ о себѣ онъ придерживается смиренно-покаяннаго понима нія. «Кто онъ будеть? — думаю я о немъ, — святомученикъ или преподобный, когда помреть? — Мнѣ кажется, что онъ непремънно будетъ преподобный, какъ Сергій Преподобный: очень они похожи. — Ты будешь преподобный, когда помрешь? спрашиваю я Горкина. - Да ты сдурълъ! - вскрикиваетъ онъ и крестится, и въ лицѣ у него испугъ. – Меня, можетъ, и къ раю то не подпустять... О, Господи... Ахъ ты, глупый. глупый. чего сказалъ. У меня гръховъ» . . . <sup>2</sup>)

И въ этихъ гръхахъ своихъ онъ всю жизнь кается. И главный грахъ его, за который его «и въ суда судили, и въ мона» стыръ» онъ «два мъсяца на покаяніи былъ», и за который онъ всегда кары ждеть, быль въ томь, что онь, пріучая мальчика Гришу къ плотничнымъ работамъ, чтобы онъ на стройкъ «высо» ты не боядся», построже ободридь его итти по «подмостью», не робъя; а у Гриши закружилась голова, онъ упалъ со второго яруса, сломаль себ'в ногу, расшибь грудь и черезь годь умерь отъ чахотки. И судъ Горкина простилъ, и родные Гриши простили, и онъ имъ съ тѣхъ поръ помогаетъ. А «все что то то» мится» въ немъ, будто онъ его «самъ убилъ», – и покаяннымъ шопотомъ разсказываеть онъ ночью свой грвхъ малюткь, провъряя свою совъсть чутьемъ его души и чая себъ разръщенія... 3)

Въ жизни онъ – «сама правда». 4) И то, что излучается изъ него есть или молитвенное созерцаніе, или ботливая доброта, или духовное веселіе. Христосуясь со всеми, онъ вскрикиваетъ «радостно-звонко» «Хри» стось Воскресе», - «и чинно, и трижды» цѣлуетъ. 5) Онъ вѣруетъ цально, свято, непоколебимо: в в руетъ знаніемъ и знаетъ сердцемъ. Онъ знаетъ, что Владычица у молящагося «всю душу видить»; <sup>6</sup>) что «для святого нъть пустяковь, они до все» го снисходять», <sup>7</sup>) а что «намь хоть знать то про нихъ, и то радость великая»...; 8) что отъ горя человъческаго — гръхъ от» ворачиваться . . . <sup>9</sup>) И старенькимъ, дребезжащимъ, такимъ пріятнымъ голоскомъ поетъ «страшно побъдную» молитву: «Кто Богъ велій, яко Богъ нашъ» ... 10) Онъ знаетъ, что у Бога все чисто «какъ те досточка строгана» и что всѣ мы всежизненно нуждаемся въ очищеніи . . . <sup>11</sup>) И тихо, истово и подготовитель но помышляеть о смерти. <sup>12</sup>)

<sup>1) «</sup>Лѣто Господне». 97. 98.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Тамъ же. 73 — 74.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>) «Богомолье» 81 — 82.

<sup>4) «</sup>Лъто Господне». 81. <sup>5</sup>) Тамъ же. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) «Богомолье». 40.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Тамъ же. 46. <sup>8</sup>) Тамъ же. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Тамъ же. 60.

<sup>10) «</sup>Лъто Господне». 95. 11) «Богомолье». 62. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) «Лъто Господне». 15. 17. 18. 21. 62. 63.

Это не человъкъ великихъ дѣлъ, но человъкъ молитвы и пѣнія. Ему даны не великія дѣла, а малыя; за то свѣтлыя и чистыя. Старецъ Варнава, выслушавъ его на исповѣди, «поулыбался такъ хорошо»... и сказалъ «ласково такъ»: «ахъ, ты, голубь мой сизокрылый!... Почаще радовать приходи»...¹) Эта радость, возникаю щая изъ очистительнаго страданія, и есть ключъ къ жизненной мудрости, къ мудрости творящей и строющей, благодарной и побѣждающей. Она открывается младенцамъ и людямъ съ чистымъ сердцемъ; и путь къ ней знала православная Русь.

На великій, скорбный и страшный вопрось, «кто мы, русскіе, въ исторіи человічества?» — русскіе прозорливцы не разъуже давали отвіть и Богу, и своему народу, и чужимъ людямъ. На этоть вопрось отвічаеть ныні И. С. Шмелевь. И отвіть его сразу древень, какъ сама Россія, и юнъ, какъ дітская душа или какъ раннее Божіе утро. И въ этой древности — историческая правда его художественнаго отвіта; а въ этой юности — религіозная и художественно-лирическая прелесть его поэмы.

Именно такова и была живая субстанція простонародной Россіи.

## 10.

Образы Шмелева ведуть отъ страданія черезь очи щеніе къ духовной радости. Въ этомъ духовный путь его художества. Черезъ это открывается и его художе ственный Предметъ.

Для того, чтобы художественно увидѣть этотъ предметъ, надо открыть свою душу его искусству, не опасаясь того, что воспринимающая душа начнетъ трепетать и содрогаться. Все, что это искусство намъ покажетъ, надо принять съ полнымъ довѣріемъ, — эти пластическіе, точно и ярко намѣченные внѣши ніе образы; эти нѣжно озаренныя дали міра и пространства души; эти страстныя вспышки и потоки страданія, — все это пріобщитъ насъ къ нѣкой реальной т а й н ѣ, которая войъдетъ въ нашу душу навсегда, какъ умудряющій ее даръ, какъ философическая основа міросозерцанія.

Страданіе неизбъжно для человъка. Страдаетъ все живое, — и въ первомъ трепетъ просыпающейся влюбленности, <sup>2</sup>) и въ тихомъ угасаніи исполнившейся и уходящей жизни, <sup>в</sup>) и въ созерцаніи небеснаго лика, скрытаго за земнымъ обличіемъ, <sup>4</sup>) и въ семейныхъ или общественныхъ распадахъ, <sup>5</sup>)

<sup>1) «</sup>Богомолье». 144.

<sup>2) «</sup>Исторія Любовная».

в) «Розстани»

<sup>4) «</sup>Неупиваемая Чаша»

<sup>5) «</sup>Распадъ». «Человъкъ изъ ресторана».

и въ безплодномъ съ виду кипѣніи земныхъ страстей, 1) и въ поритическихъ катастрофахъ. 2) Вотъ почему все, что пишетъ и показываетъ Шмелевъ, пронизано нѣкой глубокой, со дна идурей с к о р б ь ю, которая иногда какъ бы отходитъ вдаль, иногда же развертывается въ захватывающее и потрясающее с т р а д а н і е. И даже тогда, когда Шмелевъ начинаетъ изорбражать блаженное счастье дѣтства, — а онъ умѣетъ изображать его такъ, что читатель самъ не замѣчаетъ, какъ у него на сердривъ накипаютъ сладостныя слезы умиленія и благодарности, — то и оно окрашено въ скорбное и подчасъ устрашающее предрувствіе того, с к о л ь м і ръ ужасенъ, сколь онъ буйно неистовъ въ своихъ темныхъ влеченіяхъ, страстяхъ, срывахъ и провалахъ; и тогда читателю открывается нѣкое послѣднее изрмъреніе скорби, владѣющей міромъ и отмѣчающей все человѣчерское на землъ.

Быть значить страдать — воть эта тайна и эта проблема. Но тогда — сто́ить ли жить? Какъ можно примириться съ такой жизнью и съ ея пониманіемъ? И гдѣ же исколь?...

Разрѣшить эту проблему можно только жизнью и притомъ своею собственною жизнью... Надо войти въ этотъ потокъ, принять всв последствія и одолеть ихъ силою любви, веры и разума. И искусство Шмелева показываеть намъ, какъ люди это осущест» вляють и куда это ихъ ведеть. Оно показываеть намъ не просто страдающихъ и мятущихся людей, но людей выстрадывающихъ себѣ прозръніе и мудрость. Въ Шмелевъ-художникъ скрытъ мыслитель. Но мышленіе его остается всегда подземнымъ и художествен: нымъ: оно идетъ изъ чувства и облекается въ образы. Это они, его герои, произносять эти глубокопрочувствованные афоризмы, полные крыпкой и умной соли. Художникь-мыслитель какь бы выдаеть поддонный смысль описываемаго событія, и чуеть, какъ зарождает» ся мысль въ его геров, какъ страданіе родить въ его душь некую глубокую и върную, міросозерцающую мудрость, заложенную въ событіи. Эти афоризмы выбрасываются изъ души, какъ бы воплемъ потрясеннаго сердца, именно въ тотъ мигъ, когда глубина поднимается кверху силою чувства и когда разстояніе между душевными пластами сокращается въ мгновенномъ озарея ніи. Шмелевъ показываетъ людей, страдающихъ въ мірѣ и глубоко чующихъ этотъ міръ, — міръ, лежащій въ страстяхъ. накапливающій ихъ въ себь и разряжающій ихъ въ формь страстныхъ взрывовъ. И намъ, захваченнымъ нынъ однимъ изъ этихъ историческихъ взрывовъ, Шмелевъ указуетъ самые истоки и самую ткань нашей судьбы.

«Что страхъ человъческій! Душу не разстръляешь...» 3)

«Ну, а гдѣ правда то настоящая, въ какихъ государствахъ, я васъ спрошу?! Не въ законѣ правда, а въ человѣкѣ». 4)

<sup>1) «</sup>Пути Небесные».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Солнце Мертвыхъ». «Про одну старуху». «На пенькахъ». «Няня изъ Москвы».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) «Свѣтъ Разума». 28. <sup>4</sup>) «Про одну старуху». 9.

«Еще остались праведники. Я знаю ихъ. Ихъ немного. Ихъ совсѣмъ мало. Они не поклонились соблазну, не тронули чу жой нитки – и быотся въ петлъ. Животворящій духъ въ нихъ и не поддаются они всесокрушающему камню». 1)

«Въ смуть политической – гнусъ наверху, какъ пъна, а

праведники побиваются камнями». 2)

«Добрые то люди имъють внутри себя силу отъ Господа». <sup>8</sup>)

«Добрые то всѣ родные» . . . 4)

«Всѣ мы птицы небесныя, созданія Творца! И Господь питаетъ насъ». <sup>5</sup>)

«Одной рукой да глазомъ не сдѣлаешь, тутъ душой

радоваться надо»...<sup>6</sup>)

«А Свъть то Разума хранить надо? Хоть въ помойкъ и непотребствъ живемъ, а тъмъ паче надо Его хранить»...<sup>7</sup>)

«Я никакъ не могу уснуть. Коснулся души Господь – и

убогія стыны тысны». 8)

«Высшій Разумъ — Господь въ сердцахъ человъческихъ. И не въ единомъ, а купно со всѣми». 9)

«Всѣ муки приняла, всю правду нашла» . . . 10)

«И пришло это сіяніе черезъ муку и скорбь» . . . <sup>11</sup>)

«Культура — трепетное исканіе въ восторгахъ вѣры, куль» тура — продвижение къ Божеству!» 12)

«Пережитымъ страданіемъ утвердимъ величайшую изъ всьхъ цѣнностей человѣчества-образъ Бога Живаго въ каждомъ»... 18)

Страдающій человѣкъ очищается; онъ близится къ Богу; онъ входить во всеединую ткань Божьяго міра; и входя въ эту ткань, пріобщается покою и мужеству, видьнію и праведности, свъту и радости. Въ этомъ смыслъ общечеловъче скаго, мірового страданія.

Художественный предметь Шмелева — есть скорбь и самъ онъ — поэтъ міровой скорби... Не потому, что онъ ее воспъваетъ, байронически рисуясь передъ самимъ собою и мрачно взирая въ пустоту; но потому, что онъ самъ испыталъ и извъдалъ эту скорбь до дна, - и за себя самого, и вмъстъ со своимъ народомъ, – и потомъ увидълъ и показалъ ее въ живыхъ трагическихъ и лирическихъ образахъ, и пропълъ увиденное въ четкихъ и прекрасныхъ звукахъ русскаго (сразу - простонародно-наивнаго и литературносовершеннаго) языка.

<sup>1) «</sup>Солнце мертвыхъ». 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Блаженные». 100.

в) «Человѣкъ изъ ресторана». 169.

<sup>4) «</sup>Няня изъ Москвы». 166. 5) «Лѣто Господне». 136.

<sup>6) «</sup>Богомолье». 165.

<sup>7) «</sup>Свѣтъ Разума». 28.

<sup>8) «</sup>Солнце мертвыхъ». 148. 9) «Свътъ Разума». 32. 10) «Няня изъ Москвы». 246.

<sup>11) «</sup>Человъкъ изъ ресторана». 164.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) «На пенькахъ». 133.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Тамъ же. 133.

Въ міровой скорби есть двѣ стороны: во-первыхъ— с траданіе самого міра и человѣка; во-вторыхъ страданіе о мірѣ и о его страданіи.

Человъкъ страдаетъ прежде всего и чаще всего, какъ у ч а с т н и къ мірового естества, какъ порожденіе міра или дътище природы, непосредственно входящее въ ихъ составъ, какъ существо, вплетенное въ нихъ отъ рожденія до смерти. Томится, вздыхаетъ и стонетъ вся тварь земная, отъ своего перваго дъянія — появленія на свътъ изъ утробы матери, и до своего послъдняго, завершающаго отхода. Мы сами живемъ на положеніи этой твари и такъ привыкаемъ ко всъмъ ея состояніямъ, что забываемъ нашу участь и встръчаемъ каждую новую вспышку томленія, боли или страданія — удивленно, какъ нъчто неожиданное, не причитающееся намъ, незаслуженное нами.

И задолго до того, какъ мы поймемъ эту участь смертной твари, непрерывно зовущую къ состраданію и помощи, мы начинаемъ смутно прозрѣвать всеобщ ность этого обстоянія. Это прозрѣніе приходить къ намъ не въ видѣ обобщающей мысли, не въ формѣ познаннаго закона, — а въ видѣ неяснаго ощущенія этого страданія вокругъ насъ. Неописуемыми путями, неопредѣлимыми органами души — мы начинаемъ чувствовать, что томится и страдаетъ вся тварь земная. Рано или поздно, — и чѣмъ душа нѣжнѣе, чѣмъ она художественно-отзывчивѣе, тѣмъ ранѣе, — приходитъ это чувъство совмѣстности и взаимности въ страдаемъ одновременно; взаимности — ибо всѣ мы томимся и страдаемъ одновременно; взаимности — ибо всѣ мы причиняемъ другъ другу эту боль, а иногда, — то вольно, то невольно, — доводимъ ее до нестерпимости.

Это прозрѣніе бываеть иногда облегчающимъ и благодать нымъ, ибо оно выводить насъ изъ этого молчаливо-безпомощь наго томленія въ застойномъ озерѣ жизни, изъ этого пребыванія въ темныхъ водахъ, и ставить насъ хоть на мигъ в н ѣ его, н а дъ нимъ, открывая намъ возможность не пребывать въ немъ, а выйти изъ него, увидѣть его и постигнуть его, — ремигіозно, философски или художественно. И лишь послѣ этого намъ открывается путь къ высшей стадіи міровой скорби — къ страданію о мірѣ.

Растеніе и животное страдають въ мірѣ, но не могуть вмѣстить въ себя страданія о мірѣ и за міръ. А человѣкъ страдаеть не только въ мірѣ, но имѣеть еще высыщую способность страдать о томъ, что міръ страдаетъ, т.е. осознать и понять, что все живое томится, вздыхаеть и стонетъ, принять къ сердцу эти стоны и вздохи и возскорбѣть о скорби міра. Какътолько человѣкъ осуществляеть это, онъ приближается духомъкъ Богу.

Господь страдаетъ первоначально не въ мірѣ, а о мірѣ, отпавшемъ и томящемся въ злыхъ страстяхъ. Но затѣмъ Онъ опускается въ міръ и снисходитъ до страданія въ самомъ мірѣ, принимая обликъ человѣка и пріем»

ля человъческое бремя, съ тъмъ, чтобы научить человъчество, страдающее въ міръ, какъ ему быть, и показать ему, что одно изъ высшихъ заданій человъка состоитъ именно въ томъ, чтобы подняться къ божественное сближеніе Бога и человъка, ибо страдающій о міръ Богъ нисходитъ до страданія въ самомъ міръ, а страдающій въ міръ человъкъ восходитъ къ міровой скорби.

Но для человъка недостаточно знать, что онъ страдаеть вмъсть со всьмъ живымъ, съ растеніями, животными и другими людьми. Человѣкъ призванъ еще къ тому, чтобы «сострадать» этому страданію. — не только въ смыслѣ сочувствія и жалости, но особенно въ смыслъ с о з н а т е л ь н а г о, скорбнаго принятія этихъ страданій на себя. Человъкъ призванъ принять ихъ не только и не столько во-слѣдъ за страдающими, но, главное, - впереди ихъ, глубже ихъ, острве ихъ, и за себя, и за нихъ, и за весь міръ, сътъмъ, чтобы искать выхода изъ нихъ, одольнія, побъды, за себя, и за другихъ, для нихъ, для всвхъ! Человъкъ призванъ страдать во главъ ихъ и, страдая, искать черезъ страданія путь къ Bory.

Этимъ и выражается основной смыслъ творчества и искусства Шмелева. Шмелевъ, подобно Достоевскому, есть ясновидецъ человъческаго страданія. Онъ знаетъ его на всъхъ ступеняхъ и во всъхъ состояніяхъ человъческой души — отъ желъзнаго, дикообразнаго дъда, до утонченно умствующей души ученаго, отъ дътскаго вопроса, до окаянной ожесточенности. Онъ принимаетъ его, чтобы художественно избольть его и пронести его къ осмысленію и освобожденію. Онъ какъ бы прорываетъ выходъ изъ тьмы къ свъту, изъ мятущагося злосчастія къ Гослоду. И не разъ уже онъ касался той точки, гдъ страдающій человъкъ чувствуетъ, что Божья милость и благость начинаютъ сіять ему, зарывшемуся въ своемъ страданіи и ожесточеніи. Онъ уже знаетъ исходъ и върное ръшеніе. И тотъ, кто ищетъ ихъ,— пусть обратится непосредственно къ его созданіямъ.

Тогда онъ увидитъ и постигнетъ художественность этихъ созданій. Онъ пойметъ, что Шмелевъ всегда остается во власти своего предмета: это какъ бы самъ страстно страдающій міръ человъческой души находитъ себъ въ немъ и черезъ него эти незабываемые образы и эти трепетно-поющія слова, ведущія человъка отъ страданія къ очищенію, просвътленію и радости.

## ПОСЛЬСЛОВІЕ.



## ПОСЛЬСЛОВІЕ.

Тоть, кто жиль и созерцаль въ наше время, тоть знаеть, что наша эпоха есть время тьмы и скорби — возставшей тьмы и овладввшей человвчествомъскорби. Тьма никогда не исчезала въ мірѣ; она какъ бы входить въ самый составь его, уже въ силу одного того, что міръ, вопреки наивнымъ или слѣпымъ пантеистамъ, не совпадаветь съ Божествомъ. Божество есть чистый Свѣтъ и цѣлостный Свѣтъ и цѣлостный Свѣтъ, а міръ состоить изъ тьмы и свѣта; и потому онъ призванъ къ борьбѣ за свѣтъ и за просвѣтлевніе. Вотъ почему тьма всегда была и всегда будетъ въ мірѣ, повкуда міръ будетъ существовать.

Но какъ дни бываютъ солнечные и сумрачные: или какъ въ круговращеніи земли бываетъ день и ночь, такъ и въ исторіи бывають сумрачныя эпохи и ночныя времена. И воть нашему покольнію выпало на долю жить въ ночное время. когда «обнажается бездна», съ ея «страхами и мглами», и когда отпадають преграды межь нами и ею (Тютчевь). Въ наши дни бездна человъческой души дъйствительно раскрылась, какъ можеть быть никогда еще дотоль; тьма, сгущавшаяся въ ней, покинула свое лоно, гдв ее досель удерживали ввра, любовь, совысть, стыдъ и правосознаніе и залила жизнь души, чтобы погасить въ ней всякій свѣтъ: и сіяніе вѣры, и пламя любви, и молнію совѣсти, и искру стыда. И жизнь нашего покольнія проходила-у однихъ въ страхъ передъ этой тьмой и въ подчинени ей, а у другихъ въ борьбъ съ этимъ мракомъ и въ утвержденіи въры въ Бога и върности духу. Но сила этой духовной тьмы въ наше время удвоилась отъ того, что она осознала свое естество, выговорила его открыто, развернула свои ц ѣ л и, сосредоточила свою в о л ю и на» чала борьбу за неограниченную власть надъ личной душой и надъ всъмъ объемомъ человъческаго міра.

Если отдать себѣ въ этомъ отчетъ, то станетъ понятнымъ, почему крупнѣйшіе художники нашего времени и нашего нарога первые заговорили объ этой тьмѣ и стали повѣствовать о той скорби, которая овладѣла людьми въ наше время. Это время еще не изжито. Тьма еще не осуществила свою судьбу и не ушла назадъ въ ту бездну, изъ которой возстала; и можетъ быть ей предстоитъ выдвинуть новые соблазны и отпраздновать новые видимые «успѣхи». Но русское искусство, начавшее въ

лицѣ Достоевскаго изображеніе ея путей и ея соблазновъ, и закрѣпившее въ лицѣ скульптора Голубкиной въ образахъ незабываемой силы — слѣпую одержимость, медіумичность, безсмысленность и хаотическую упоенность надвигающагося на міръ духовнаго мрака, — выдвинетъ тогда новыхъ ясновидцевъ и изобразителей этого ожесточенія и этой слѣпоты. А наше поколѣніе уже выдвинуло въ первые ряды этого изображенія — въ области литературы — И. А. Бунина, А. М. Ремизова и И. С. Шмелева.

Каждый изъ этихъ писателей силенъ и своеобразенъ по своему; каждый изъ нихъ требуетъ особеннаго художественнаго воспріятія и трактованія. Н'єть сомн'єнія, что русская литературная критика дастъ впоследствій каждому изъ нихъ особыхъ изследователей и пенителей. И если краткость жизненнаго времени не позволила мнв лично - посвятить каждому изъ нихъ особую книгу, то я утфшаюсь тфмъ, что совершиль все изслъ довательски - необходимое, для осуществленія художественной «встръчи» 1) съ каждымъ изъ нихъ въ отдъльности. Въ самомъ дѣлѣ, они всю жизнь шли отдѣльно и самостоятельно. Но переживаемая Россіей и всъмъ міромъ «ночная эпоха» объединила ихъ единствомъ предмета и единствомъ національнаго опыта. Они явились изобразителя, возставшей тьмы и разливающейся скорби. И это дало мит основание и право написать о нихъ единую книгу и придать этой книгь единое, предметное заглавіе.

При этомъ я устранилъ изъ ея изслѣдуемаго содержанія мой личный духовный опытъ и мое субъективное созерцаніе. Я сдѣ лалъ все, что въ моихъ силахъ, для того, чтобы усвоить духов ный опытъ и художественное созерцаніе каждаго изъ нихъ во всемъ его своеобразіи; — чтобы погасить с в о е видѣніе и созерцать такъ, какъ созерцаетъ самъ ведущій и показы вающій художникъ; — чтобы увидѣть е го образы и постигнуть скрытое за ними предметное содержаніе.

И воть я увидъль тьму и скорбь міра, мракъ и страданіе человъческаго естества, бездну и муку души. Я убъдился въ томъ, что каждый изъ нихъ самъ пріобщается тому мраку и той мукъ, которые выговариваются въ его изображеніяхъ, и самъ содрагается отъ своихъ видъній. Иначе и не могло быть, ибо, — знаетъ это большой художникъ, или не знаетъ, онъ всегда становится какъ бы «медіумомъ» своего предмета, его «орудіемъ» и «мастеромъ».

И. А. Бунинъ есть замѣчательный мастерь — натура листъ первобытнаго и до - духовнаго человѣ ческаго инстинкта. И именно вслѣд ствіе этого въ его видѣніяхъ почти нѣтъ свѣта; а когда этотъ свѣтъ все-таки загорается, — изрѣдка, какъ бы случайно, — то сила до-духовной, натурально-безбожной тьмы оказывается столь реально-пережитой и изображенной, что художникъ самъ

<sup>1)</sup> См. Введеніе.

не въритъ въ загорающіеся огни, встръчаетъ ихъ какъ бы удивленной и скептической улыбкой и передаетъ ихъ только въ бъглыхъ хотя и мастерскихъ «зарисовкахъ». Бунинъ знаетъ тьму,
но не въритъ въ свътъ; и не показываетъ путей, ведущихъ къ
нему; и не ведетъ къ свъту. Онъ знаетъ муку человъческую, и
знаетъ ея роковую связь съ з ем ны мъ на слажде нчествомъ; но не въритъ въ божествен ную радость; и не показываетъ путей, ведущихъ къ ней; и не ведетъ къ Богу. А то, что онъ называетъ «богомъ», есть начало
страшное, темное и стихійное. Символъ его творчества есть
страстный и скорбный демонъ, жаждущій
наслажденія и не знающій путей къ Богу.

А. М. Ремизовъ знаетъ темное начало въ человъкъ столь же подлинно и страшно, какъ и Бунинъ, хотя и въ другомъ видь. Онъ увидьль не чувственную страсть души, а ожесто ченную злобу неудачливаго инстинкта; увидълъ и содрогнулся страхомъ; и содрогнувшись, сталъ искать свъта и утъщенія; и нашель свъть въ состраданіи, а утышение — въ фантастическихъ играхъ персонифицированными обрывками мрака. Состраданіе привело его въ лоно христіанской любви и въ этомъ глубина его творчества; но она открыла ему любовь, не какъ мужественное начало духовной скорби и борющейся воли, а какъ женственное начало безвольной жалобы, покорности, терпънія и жалости, и въ этомъ проблематичность его творчества. Ремизовъ видитъ свъть и воспринимаеть его дътски-чистымь сердцемь; но этоть свътъ не побъждаетъ страха и не одолъваетъ тъму. Ремизовъ пріемлеть муку человіческую и вірить въ ея высшій смысль; но онъ не претворяетъ ее въ творческую скорбь и, предаваясь ей, не побъждаеть ее. Символь его творчества есть трепе: щущій и рыдающій праведникъ.

И. С. Шмелевъ встрътился съ мракомъ не сразу. Онъ съ самаго начала искалъ свъта; и свътъ давался ему щедро и обильно, радостно согрѣвая душу ребенка и утѣшительно излучаясь взрослому сквозь глубину русскаго національнаго быта. Мракъ тревожиль его только въ предчувствіяхъ и раскрылся ему по настоящему лишь тогда, когда покинулъ свое древнее лоно и началъ гасить и сіяніе въры, и молнію совъсти, и искру стыда. Тогда поэтъ быль настигнутъ «ночью» міра (Тютчевъ) и даль ей накрыть себя съ головою. Тогда въ его душѣ по новому оза» рились, загорълись и засіяли глубины русскаго національнаго, простонароднаго и всенароднаго духа. Русскій духъ отвѣтилъ въ немъ на возстаніе тьмы — негодованіемъ, духовно-художесть веннымъ обличениемъ, національнымъ самоутверждениемъ и міровою скорбью. Шмелевъ позналъ тьму и назвалъ ее по имени, заклиная ее. И черезъ мракъ онъ по новому увиделъ светъ и сталь искать путей къ нему, добиваясь той мудрости, которая осмысливаеть земной путь человька, какъ «путь небесный». Такъ открылось ему и его читателю, что обличающая лю: бовь больше жалости, что добрая воля сильные желаній и страстей, что скорбь выше муки и что духъ больше души. Въ человѣкѣ есть силы, преодолѣвающія и страсть, и страхъ, и злобу, ибо любовь больше страха и сильнѣе тьмы. И символомъ его творчества сталъ человѣкъ, восхорящій черезъ чистилище скорби къ морлитвенному просвѣтленію.

Этимъ и разрѣшается духовная проблема тьмы и скорби. И мы можемъ съ вѣрою ждать и предвидѣть, что Россія пойрдеть въ дальнѣйшемъ именно по этому пути.

Декабрь 1945 г.